

АРТИКУЛЪ

Израильский литературный журнал

АРТЖУРЬ



№ 2

Общественный фонд культурных связей
"Израиль - Россия"

Тель-Авив
2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Ирина Сумарокова. Купальщица.....	3
Яков Шехтер. Ведьма на Иордане.....	52

ПОЭЗИЯ

Хава Пинхас-Козн. Из книги Ахи, ха-Цимаон (перевод с иврита Романа Кацмана).....	130
Ирина Маулер. Счастье.....	132
Денис Соболев. Из книги “Острова”.....	137
Ингвар Донсков. По холмам любовной дрожи.....	145
Вадим Жук. Я пью за военные астры.....	149
Сергей Попов. Страшно сказать.....	154
Андрей Грицман. Мой вагон.....	160
Константин Кикоин. Мореплавающие.....	164

ДРАМАТУРГИЯ

Алексей Слаповский. Две пьесы.....	171
---	-----

НОН-ФИКШН

Елена Константинова. Судьба Бабеля была предрешена (беседа с Еленой Погорельской).....	199
Эдуард Бормашенко. Путешествие из Тель-Авива в Москву.....	214
Илья Корман. Голос наставника.....	219
Павел Амнуэль. Мозаика памяти.....	231
Майя Гельфанд. Боренька запомнит.....	245
Леонид Луцкий. Позади у нее длинный хвост.....	248
Александр Генис. Брайтон-Бич, или Гости.....	251
Михаил Юдсон. Домашняя душа.....	258
Давид Шехтер. Потерянные евреи Дальнего Востока.....	262
Галина Подольская. К земле потомков Авраама.....	269

СТИХИ И СТРУНЫ	250
-----------------------------	-----

На первой странице – фрагмент обложки книги Якова Шехтера “Ведьма на Иордане”.

ПРОЗА

Ирина Сумарокова

КУПАЛЬЩИЦА

Посвящается памяти замечательного украинского художника Михаила Андрееенко-Нечитайло

Это продолжалось шестьдесят два года. Да. Именно столько. Впервые он увидел ЕЁ, когда ему было тринадцать, а обрёл только вчера, за два дня до своего семидесятипятилетия. Вот ОНА. Здесь. У него дома. В кабинете. Напротив антикварной кушетки из карельской берёзы, над компьютерным столом, богато инкрустированным уральскими минералами. Всё, что там раньше висело – какая-то особо ценная чеканка, два лакированных корейских пейзажа, вышивка «Розы» в рамке красного дерева – он велел снять. Не важно, что ОНА занимает всего семьдесят на семьдесят сантиметров. Мал золотник, да дорог. Во всех отношениях.

Он смотрел на НЕЁ, но не разглядывал. Он всё разглядел ещё восемнадцатого сентября сорок седьмого года, когда пришёл к Славке спросить, что задали по физике. Он до сих пор удивляется, как его угораздило не записать домашнее задание. Разгильдяем он и в детстве не был.

С кушетки ЕЁ хорошо видно. Когда он начнёт умирать, ОНА будет перед глазами. Если, конечно, удастся умереть в кабинете на этой кушетке. Но он постарается. Конечно, удобнее было бы умирать в спальне на большой кровати с многослойным анатомическим матрасом, в котором есть всё, чтобы телу было комфортно: овечья шерсть, конский волос, чистый хлопок и даже кокосовая койра. Однако видеть в последний момент ЕЁ куда важнее, чем предсмертные удобства. А сейчас пора выпить тёплого: надо прогреть организм.

Он снял с малахитовой подставки мобильник, нажал на кнопку с цифрой один. Сработал номер Гали – медсестры и, по совместительству, горничной, уборщицы и кухарки. Внизу в гостиной затренькало. Значит, она там. Валяется на диване. Не для того сын велел обтянуть диван крокодиловой кожей авторской выделки, чтобы на нём нежилась обслуга.

– Иду! – крикнула Галя.

Протопав по лестнице, как медведь, она ввалилась в комнату. Колыхнула грудями, остановилась и выпятила зад. «Бюстгальтер не носит и большим задом своим гордится»? – подумал он и поморщился: за редким исключением он предпочитал сухопарых женщин.

– Вот и я, Владимир Алексеевич! – она подобострастно улыбалась. – Желаете чайку?

– Да.

– С медком, с лимончиком?

– Да.

– И таблеточки примем?

– Да.

– А потом измерим температуру и кровяное давление?

– Да.

Она опять колыхнула грудями и вышла.

Мысль вернулась к тому дню. Он помнил его. Во всех подробностях.

...Фигурный звонок блестел, как золото. Такого звонка в те годы ни у кого не было.

Угрюмая домработница спросила:

– Тебе кого?

– Я к Славке. За уроками.

Славка выскочил в прихожую:

– А, привет! Разувайся. На тапки.

Переобувшись в тапки, он вслед за Славкой вошёл в комнату.

Такого богатства он никогда не видел! В углу стояла синяя с золотом ваза ростом с человека; на потолке вспыхивала цветными искрами люстра из хрусталя. Возле окна в красивом, как для царя, кресле сидел Славкин отец в пижаме и курил папиросу. Напротив, у стены возле трюмо – но не простого и обшарпанного, как у них с матерью, а в рамках с русалками, сидела на скамеечке с львиными лапками Славкина мать в длинном золотом халате, как у артисток в кинофильмах, и выщипывала брови.

– Одноклассник? – непонятно кого из них спросила она.

Ответил Славка:

– Да, мам, это Вовка Шарыгин. За уроками пришёл.

– Аа...

Он хотел получше разглядеть русалок, их круглые, как теннисные мячики, сиськи и чешуйки на хвостах, которые были точно как у карпа, которого мать в позапрошлом году принесла на его день рождения из магазина «Живая рыба», но тут увидел ЕЁ...

ОНА была голая, но его глаза не позтому к ней приклеились, тем более что тело у НЕЁ не дорисовали. Чёрные волосы были тоже не дорисованы, а всё-таки понятно, что они густые и причёсаны пучком, как будто ОНА учительница, но только учительницы – физичка, химичка, да и все другие – мымыры, а ОНА красавица. Что ОНА красавица – он не сомневался, хотя её лицо увидеть не мог, потому что ОНА была повёрнута спиной. На всём теле у НЕЁ был загар, цветом, как мандарины. Правда, на середине спины художник почему-то сделал ей два длиненьких, как наклеенных, голубых пятна.

...ОНА стоит на зелёном камне, а камень лежит на песке точно такого же цвета, как ЕЁ загар. Дальше нарисован залив. Вода там по краям совсем светлая, а в серёдке – ярко-синяя.

Почему-то он сразу подумал, что это именно залив, а не озеро или пруд. Залив нарисовали совсем маленький: ей бы хватило гребков пять, чтобы доплыть до другого берега. А там – вход в тоннель. Да, наверное, в тоннель. Сам вход покрашен чёрной краской, а снаружи обложен серыми камнями. Непонятно только, зачем тоннель провели прямо к воде. Куда из него ехать, в воду, что ли?

Славка сказал, пихнув его локтем в бок:

– Пошли в мою комнату.

Он пробурчал:

– Ага, пошли.

Но не шёл.

– Ты за уроками пришёл, или на голую тётку зырить? – косясь на родителей, шипел Славка, которому не терпелось похвалиться компасом.

На компас он среагировал слабо, но если б не ОНА, то, конечно, пропал бы от зависти.

– Это трофей. Отец мне его на день рождения подарил. Он привёз с войны до фига трофеев: патефон с пластинками, две

шёлковые комбинации, шёлковые чулки – три пары, две вазы, люстру, кресло, женский халат, калейдоскоп и ещё полевой бинокль, – тараторил Славка. – Если буду учиться на «четыре» и «пять», папка мне его тоже подарит на день рождения. В смысле, на следующий.

Сразились в шашки. Славка выиграл и хотел сыграть ещё, но он не стал, потому что хотелось побыстрее увидеть ЕЁ. Соврал, что мать заругается, хотя мать должна была прийти с работы только через четыре часа.

Около картины он замедлил шаг и, скосив глаза, поглядел на НЕЁ украдкой, как в чужую тетрадь.

Теперь ОНА не показалась недорисованной. Он подумал: «Нормально нарисована. Только ОНА не такая, как все».

...Да, за эти шестьдесят два года он ничего не забыл. Он даже помнит, как Славкин отец ленивым движением вытащил изо рта папиросу, ткнул ею по направлению к картине, зевнул, пошлёпывая себя по губам свободной от папиросы рукой, и сказал:

– Она висела в особняке у немца, у профессора. На дверях ещё табличка прибитая была, медная такая, аккуратная: «Профессор Абелард или Алебард – теперь не вспомню, а фамилию запомнил: фон Бистрам. Наши всё балагурили: «Бистрам драпал быстро». А жена, говорят, у него была русская. Это ж какой надо быть прошмандовкой отпетой, чтобы русской женщине с немчурой сойтись, пусть он хоть профессор, хоть кто...

– Чего ты зря женщину осуждаешь, – вмешалась Славкина мать. – Они ж, небось, поженились, когда ещё войны не было.

– Может, ты и права. Речь-то не о ней. В общем, драпануть-то они драпанули, а имущество вывезти не успели. Эту картинку никто из наших не взял. Решили, мол, ерунда какая-то недоделанная. А я подумал: «Раз висела у такого культурного немца, значит, вещь ценная». Там, кстати, на изнанке дата стоит: тысяча девятьсот двадцать пятый, и надпись не по-русски, но и не по-немецки. Немецкий-то я сколько-то понимаю. В Германии было, конечно, не до надписей на картинках, а здесь на досуге мне стало интересно: чего там написано? Я пошёл к одной старушке из нашего подъезда, бывшей учительнице французского языка. Она надпись и перевела: «Купальщица П.П. Андриевский». Надпись-то оказалась на французском, а фамилия – русская. Странно вообще...

– Странно вообще... – передразнила Славкина мать, и её накрашенные глаза сузились. – Что хорошего в этой мазне? И Славку ни к чему смотреть на такое неприличие.

– У тебя кругом всего трюмо голые русалки вьются, и ты не переживаешь, что Славка на их буфера любитесь, – сказал отец.

– Моё трюмо – родительское наследство. А эту гадость – уедешь в командировку – выброшу!

– Я тогда тебя выброшу!

Славкин отец улыбался, но злобно, как мачеха из кинофильма «Золушка».

– Папка любит мамку дразнить, – объяснил Славка, когда они вышли в прихожую.

Нельзя сказать, что он со Славкой дружил (он никогда ни с кем не дружил), но теперь после школы они вместе шатались по Нескучному саду, жевали вар, искали на аллеях деньги, собирали жёлуди (Славка делал из них и из спичек человечков). Потом шли к Славке сразиться в шашки. Когда родителей дома не было, играли в большой комнате. Славка сидел, как барин, в отцовском кресле, а он ставил себе стул напротив «Купальщицы».

В один из таких дней он впервые вошёл – вернее, запрыгнул – в картину.

Этот как-то само получилось. В квартире было сильно натоплено (до батарей не дотронуться), и ногам в тапках и полушерстяных носках стало жарко, а снять носки он стеснялся, потому что когда вчера ложился спать, не помыл ноги. Пока Славка пыхтел над очередным ходом, он смотрел на картину, и ему страшно захотелось поболтать голыми ногами в этой, наверное, холодненькой, воде. Он представил себе, что снимает тапки и свои толстые кусачие носки, закатывает до колен лыжные шаровары, в которых и гулял, и в школу ходил, разбегается и прыгает в залив.

...Вода доходит ему как раз до закатанных шаровар. Ногам хорошо, прохладно, хотя вода вроде как не мокрая. Но он не удивляется: это ж картина, значит, вода – по сути, высохшая краска.

...ОНА стояла совсем близко. Ему жуть как хотелось увидеть её лицо. Надеясь, что она обернётся, он дотронулся до её спины, до того места, где у человека правая лопатка, хотя лопатку художник ей не нарисовал.

Его дёрнуло, как током. Он вскрикнул.

– Ты чего?

Славкин голос вернул его в комнату.

– Пока ты думал, как пролезть в дамки, я заснул, и мне сон при-
нился, – соврал он.

– Про что? Чего тебе снилось? – приставал Славка.

– Не помню.

– А чего ты орал?

– Не помню, отстань.

С тех пор каждый раз, когда они играли в большой комнате, он запрыгивал в картину, а перед этим мысленно разувался, даже, если ногам не было жарко: он стеснялся лезть в картину в тапках или даже в носках. Ноги он теперь всегда мыл на ночь и утром тоже.

...Он мечтал увидеть её лицо. Несколько раз он пытался обойти ЕЁ, но с какой бы стороны не заходил, ОНА всегда оказывалась по-
вёрнутой к нему спиной. И всё-таки он почему-то был уверен, что ОНА к нему когда-нибудь повернётся, и тогда он станет счастливее всех, даже Славкиных родителей, у которых есть всё: и обстановка, как у царей, и домработница, и даже ОНА.

...«Купальщицу» Славкина мать всё-таки выжила из дома.

– Купальщицу отдали, – доложил Славка.

– Кому?

Он с трудом выдавил из себя вопрос, потому что горло перехватило.

– Соседке, училке старой. Помнишь, папка рассказывал, что она надпись перевела? Она тогда восхищалась, как чокнутая, этой картинкой. Мать ей и отдала. Отец сначала ругался, а потом махнул рукой: женщинам, говорит, ничего не докажешь...

Он спросил:

– Она из какой квартиры?

– Кто?

– Старуха.

– Из девяносто четвёртой. А что?

– Так просто.

...Ей было, наверно, столько, сколько ему сейчас. Звали её так, что язык сломаеться: Корделия Вениаминовна. Он больше месяца набирался храбрости, чтобы позвонить к ней в дверь: учительница ведь... Подходить – подходил, а на кнопку нажать боялся. К тому ж, было непонятно, в какую кнопку звонить, фамилию-то он не знал.

Наконец, решился. Нажал наугад самую нижнюю, а это и была её кнопка.

Таких страхолюдных старух, да ещё с клюкой, он раньше никогда не видел: настоящая Баба-Яга!

– Здравствуй, мальчик, – сказала старуха. – Что ты хочешь? Говори, не стесняйся.

Он сразу успокоился и вдруг отбарабанил целую речь:

– Здравствуйте. Я Шарыгин Вовка. Я учусь в одном классе со Славкой Бирюковым из восемьдесят шестой квартиры. Мы в школе проходим немецкий, а я хочу выучить ещё французский, но моей мамке нечем вам заплатить. Она простая рабочая, а отец погиб ещё до войны. Он лётчиком был. Но я вместо денег могу помогать по хозяйству.

... Два года он бегал за продуктами и в аптеку, выносил помойку, убирался в её комнате и в местах общего пользования. Но это бы ничего. Одно только портило жизнь: проклятый французский. Каждый урок продолжался не меньше трёх часов. Особенно он ненавидел французские пословицы, поговорки и афоризмы, которыми она его постоянно мучила. Но он всё терпел, потому что над столом, за которым они занимались, была ОНА.

Если старуха задавала упражнение или перевести отрывок, а сама садилась читать, он сразу запрыгивал в картину. Однажды, когда он стоял на берегу залива и глядел на вход в тоннель, ему пришло в голову, что оттуда может выскочить поезд. А вдруг этот поезд по инерции промчится через залив и задавит ЕЁ? А если из тоннеля выйдут бандиты? Он бросился в воду, переплыл залив и заглянул в тоннель. Там было темно и тихо. Он решил, что будет стоять и прислушиваться. Если услышит поезд или чьи-нибудь шаги – быстро поплывёт назад и загородит ЕЁ своим телом или ещё как-нибудь спасёт.

Когда Корделия Вениаминовна, вставая, заскрипела стулом, и ему надо было возвращаться, ОНА вдруг распрямила руку (правую, которая была закинута за голову) и указательным пальцем показала на небо. Раньше он думал, что неба в картине нет, потому что снаружи, из комнаты, его не было видно. Оказалось, что оно там есть, да ещё яркое, как синька. По небу гонялись друг за дружкой бумажные голуби и выполняли фигуры высшего пилотажа, А потом они так построились, что получилась надпись: **«Спасибо за заботу. Купальщица»**.

...Корделия Вениаминовна заметила, что он часто смотрит на картину, и стала приставать с расспросами:

– Ты любишь живопись, Володя? Или тебе нравится именно эта картина? Я вижу, она тебя привлекает. А чем именно?

– Не знаю, – буркнул он.

Она похлопала его по плечу:

– Вот и хорошо, что не знаешь. Это говорит о том, что ты способен чувствовать особые эманации, которые исходят от шедевра. Откуда в тебе такая редкостная чувствительность – один Бог ведаёт. А картина эта – истинный шедевр. Только гений мог вложить столько чувства и столько поэзии в произведение, исполненное в сухом стиле синтетического кубизма! Художник Андриевский и есть гений в полном смысле этого слова, – она улыбнулась своим беззубым ртом. – Когда-то и я писала маслом и принимала участие в выставках. Но это было очень давно...

Он спросил:

– Зачем тоннель провели к воде?

Она удивилась:

– Тоннель? Где ты увидел тоннель?

– Да вот он. Вход камнями обложен.

– Это не тоннель, Володя. Это грот. Но твоё заблуждение вполне объяснимо. На этой картине грот, действительно, похож на нечто индустриальное. Стиль всегда диктует.

Он не знал, что такое грот, но спросить постеснялся: ещё подумает, что, мол, этот мальчик совсем дурак.

На перемене он пошёл в школьную библиотеку, взял том Большой Советской Энциклопедии со словами на «гро». Оказалось, что грот – это неглубокая пещера с широким входом. Он обрадовался: через пещеры поезда не ходят. И если она непроходная, то и бандиты не пройдут. «Слазая туда и обследую, – решил он, – только надо взять спички, а то там темно». Но потом он подумал, что от спичек картина может сгореть. Лучше взять фонарик. Своего у него не было. Но он видел, как дядя Лёша – сосед Корделии Вениаминовны – доставал фонарик из своего кухонного шкафчика, когда в уборной перегорела лампочка. Этот фонарик он и вытащил потихоньку. Потом, конечно, так же потихоньку вернул на место.

Когда старуха, дав ему задание, села за маленький столик читать свой любимый затрёпанный журнал «Аполлон», он запрыгнул

в картину, переплыл залив (грёб только правой, потому что в поднятой левой держал фонарик) и вошёл в грот.

Фонарик не пригодился. В гроте теперь стало так светло, как будто во всех углах висели прожектора, хотя их там не было. Напротив входа была сплошная стена. Сюда не то что бандит, кошка бы не пролезла. Посередине стоял стеклянный столик, а на нём лежал калейдоскоп – очень большой, сантиметров, наверное, семьдесят или даже восемьдесят. Он весь блестел и отливал то золотом, то серебром. У Славки тоже был калейдоскоп, но раз в десять меньше и сделан был из простой картонки. Чтобы в Славкином калейдоскопе двигались стёклышки, его надо было трясти, а в этом всё двигалось само, и вместо стёклышек в узоры складывались настоящие бабочки, всякие красивые жуки, цветы, звёзды, маленькие курчавые облака и кусочки радуги.

Он бы всю жизнь смотрел в этот калейдоскоп, но Корделия Вениаминовна отложила журнал, зевнула, кашлянула, сказала «Экскузе муа». Пришлось вернуться и засесть за урок.

...После того, как он узнал, что на той стороне залива никакой опасности для Купальщицы нет, он начал беспокоиться насчёт голубых пятен на её спине. Может, это какая-то болезнь? Может, ОНА мучается? А если так – как помочь-то ЕЙ?

– Почему у неё, ну... у Купальщицы... пятна на спине? – спросил он Корделию Вениаминовну.

– Это не пятна, – ответила она. – Это, Володя, рефлексы. Знаешь, что такое рефлексы?

Он молча мотнул головой. Ему всегда – и в детстве, и потом – было неприятно говорить, что он чего-то не знает

– Тогда я тебе объясню, – трясущейся рукой она сняла очки и промокнула слезящиеся глаза стареньким платочком, который любила за то, что он мягонький. – Рефлексы, Володя, – это когда предмет влияет своим цветом на другой предмет. Море, поле, небо тоже дают рефлексы. Так вот: голубые участки на теле купальщицы – это рефлексы от воды. Обычно художники передают их мазками неопределённой формы, а тут – небольшие аккуратно очерченные овалы. Но для синтетического кубизма такое решение в порядке вещей.

– Мне Корделия Вениаминовна сказала, что у вас на спине рефлексы. А то я переживал, думал, вы болеете, – сказал он ЕЙ, когда в этот день запрыгнул в картину.

И ОНА улыбнулась! Самой-то улыбки он, конечно, не видел: ОНА же стоит к нему спиной. Но он увидел, как ОНА вся засияла, и от этого воздух вдруг стал золотистым; камни заблестели, как будто на них плеснули лак, а вода засверкала, как будто в неё высыпали целый мешок блёсток для ёлочного снега. И тут до него дошло: это ж – рефлекс от её улыбки!

...С тех пор, как «Купальщицу» отдали, он перестал шататься со Славкой по Нескучному саду и домой к нему тоже больше не ходил. Сказал, что некогда, потому что помогает старухе по хозяйству за то, что она занимается с ним французским.

– На фиг тебе французский? – удивился Славка.

– Пригодится, – отвечал он. – Если нападут французы, меня возьмут военным переводчиком...

– Ты чего городишь? Франция против нас не воевала. Против нас гитлеровская Германия воевала.

– А Наполеон? Ты чё, забыл, что он на нас напал?

– Дурак, это было при царизме!

– Ну и что? – не сдавался он. – Они сейчас тоже против нас. Франция – страна капитала, а мы – наоборот – страна рабочих и крестьян.

...Через два года Корделия Вениаминовна умерла.

На похороны приехала племянница – важная мадама, преподаватель ВУЗа. С ней приехала дочка, носатая губастая уродина его возраста. От этой девчонки он узнал, что «Купальщица» достанется им с мамой, и они её сдадут в комиссионный магазин на Арбате.

Он спросил:

– Когда пойдёте сдавать?

– В воскресенье утром. Как только получим за неё деньги, мама их отложит, чтобы после того, как я окончу школу, купить для меня приличный гардероб.

– Тебе что, куда одежды вешать? – удивился он.

Уродина улыбнулась ему, как дурачку, и объяснила:

– Речь идёт не о мебели. Слово «гардероб» имеет второе значение: это когда у человека есть вся необходимая одежда плюс выходное платье и лакированные туфельки на танкетке.

Она всё время вертелась около него. Он понимал, что нравится ей, и это его не удивляло. К своим пятнадцати годам он уже привык, что нравится девчонкам, потому что был красивый: высокий, пле-

чистый, с волнистым русым чубом, голубыми глазами и небольшим аккуратным носом. И прыщей у него, как у других пацанов, не было. Однажды, ещё в пятом классе, соседка по подъезду – тоже пятиклассница – поцеловала его в лифте и всего обслюнявила. После этого он не подпускал к себе девчонок.

...В то воскресенье, когда мать ещё отсыпалась, он, даже не поев, а только сунув в рот кусок сахара, помчался на Арбат. Он ещё в субботу сгонял туда на разведку и теперь знал, где там комиссионный.

Ехал зайцем на седьмом троллейбусе от своей остановки «Пятая Советская больница» до кинотеатра «Ударник», а дальше шёл пешком.

К магазину он подошёл за пятнадцать минут до открытия и решил пока постоять в соседнем переулке (сейчас уже не вспомнить, как он называется или назывался: ведь в девяностые было поветрие всё переименовывать). Не хотелось встречаться с родственницами Корделии Вениаминовны. Он их издали поджидал.

Они пришли минут через двадцать. Картину, завёрнутую в скатёрку с кистями, которая раньше лежала на круглом столике для чтения, несла подмышкой племянница. Они весело болтали, видать, смаковали, как будут тратить денежки, когда ЕЁ продадут. На обеих были шикарные цигейковые шубки, пуховые шапочки, пуховые шарфики и пуховые варежки: на девчонке – малиновые, а на её мамаше – голубые. (На похороны они приезжали в драповых пальто и в ушанках). Стало обидно за «Купальщицу», за то, что от неё так рады избавиться, что вырядились, как на праздник.

Ему повезло. Картину повесили так, что её было видно в окно. Правда, мешало стекло, в котором всё подряд отражалось: деревья, дома, прохожие. А прохожие мешали ещё и тем, что то и дело спрашивали, как пройти на Красную площадь, или в ЦУМ, или ещё куда-нибудь. Наверное, поэтому он целых одиннадцать дней не мог попасть в картину.

...Был январь. Да, именно январь, потому что школьников выпустили на зимние каникулы, и он приходил каждый день к открытию магазина (до каникул он тоже приходил сюда каждый день, но не утром, а после уроков). Как всегда, он занял позицию около фонаря напротив комиссионного. Была страшная холодрыга. Полуботинки не спасали, хоть он и пододел полушерстяные носки. Чтобы

ноги совсем не окоченели, он старался шевелить пальцами. Но получалось плохо, потому что ногам было тесно. Мать, бывало, шутила: «У тебя, Вовка, ноги растут шибче моей полочки». Он развязал шнурки, но это не помогло, и тогда совсем разулся. Не на морозе, конечно, а в картине, на тёплых камнях. Когда ноги отогрелись, ОНА вдруг протянула вперёд правую руку и указала на грот. И он туда сразу же поплыл.

В гроте, оказывается, был белый камин из мрамора, как в трофейных кинофильмах. В прошлый раз он его не заметил, наверное, потому, что увлёкся калейдоскопом.

...Ярко горели дрова. Он подошёл и стал греться (ноги-то на камнях отогрелись, а рукам и телу было ещё холодно). Он грелся, смотрел на огонь и вдруг заметил, что языки пламени стали так изгибаться, что из них получились буквы. Из этих букв сложились слова, а из слов – предложение: **Я рада, что ты отогрелся. Купальщица.** Он хотел сказать: «Спасибо», но подошла какая-то тётка и спросила, как пройти к театру Вахтангова. «Не знаю», – соврал он, потому что обозлился на эту тётку, из-за которой не успел поблагодарить ЕЁ. Теперь ОНА, наверное, думает, что он хам.

В тот год мать добилась у начальства, чтобы его взяли вожатым в пионерлагерь на все три смены. Он в прошлом году туда просился, но не было мест. Мать думала, Вовка обрадуется, а он упёрся и не поехал, а все каникулы провёл на Арбате напротив коммиссионного магазина.

В конце августа (кажется, это было двадцать пятого числа, а может и двадцать шестого, теперь уж в точности не вспомнить) одна из трёх продавщиц, Нина Захаровна – толстая старуха с жёлтыми волосами и накрашенными губами (впоследствии, вспоминая её, он понял, что ей было лет тридцать пять, и она была не толстая, а имела нормальную женскую комплекцию), вышла с длинной сигаретой «Фемина» и с коробкой спичек, закурила, но не осталась, как обычно, у дверей магазина, а двинулась напрямиком к нему. Подойдя, затаилась, прищурилась, медленно выпустила дым и спросила:

– Ты зачем сюда ходишь?

И вдруг, как тогда, когда он напрашивался к Корделии Вениаминовне, его вдруг прорвало, и он – парень не из говорливых – чего только не наговорил: и что мать работает на вшивенькой фабричке трикотажных изделий, где делают дешёвые чулки и ещё какую-то

мать; что платят там сдельно, но оборудование старое и всё время ломается, поэтому она получает копейки, а отец с ними не живёт и алиментов не платит; что из-за безденежья ему придётся устраиваться на работу, а доучиваться – в вечерней школе.

– Вот бы к вам в магазин устроиться! – он просительно заглянул Нине Захаровне в глаза. – У вас такое всё красивое! Могу работать курьером – я Москву хорошо знаю. Могу грузчиком: я сильный, жилистый. Могу в магазине убираться: я с детства мыл в коммуналке места общего пользования.

– Чего ж ты тут выстаивал? Почему не зашёл, не поговорил? – участливым тоном спросила Нина Захаровна.

Он опустил голову и тихо, почти шёпотом, проговорил:

– Стеснялся...

– Стесняться надо не тебе, а твоему отцу-паразиту, – выпуская дым, произнесла Нина Захаровна.

Деликатным плевком она загасила окурок, бросила его в урну и скомандовала:

– Пошли.

Покупателей не было. Две другие продавщицы – тоже с жёлтыми волосами и накрашенными губами – стояли посреди торгового зала и разговаривали.

Нина Захаровна подвела его к ним и пересказала его историю. Продавщицы слушали и глядели на него добрыми материнскими глазами. Потом одна из них – кажется, это была Людмила Петровна – спросила:

– Тебя как звать?

– Шарыгин Володя.

– Идём, Шарыгин Володя, в бытовку, попьёшь чайку с бутербродами.

– Я его в уборную сначала провожу, а то он часов пять не сикал, на улице стоял, – сказала Нина Захаровна.

Она всё и устроила – через сестру, которая была замужем за директором комиссионного. Выпивоху-грузчика уволили, а его взяли на освободившуюся вакансию. Последние два класса он проучился в Школе рабочей молодёжи.

Дел в магазине хватало: он перетаскивал из отдела приёмки в торговый зал скульптуры, картины, вазы, коробки с сервизами, люстры; упаковывал покупки, мыл фарфор и фаянс, смахивал пыль с

картин. Кроме того, продавщицы посылали его то в ЦУМ, то в Военторг, то в Детский Мир, где он часами стоял в очередях за английскими туфельками-лодочками, за тёплым мужским бельём, за детскими костюмчиками, плюшевыми медвежатами, жестяными автомобильчиками и другими дефицитами. Если оставалось время, он делал в бытовке домашнее задание, скрючившись над краешком стола, заставленного едой.

Получку он отдавал матери, но не потому, что хотел ей помочь или жалел её. За что жалеть-то? За то, что работает на фабрике? А чего здесь такого? Все бабы трудятся, кроме, конечно, полковничьих жён, таких, как Славкина мать; ну, и генеральши, понятное дело, дома сидят и прислужгой командуют. Деньги он ей отдавал, потому что они ему были не нужны. Он не ради денег вкалывал, как папа Карло, а чтобы с работы не уволили, то есть чтобы не разлучили с НЕЙ. Себе он оставлял только на проезд. Поначалу мать собирала ему с собой поесть, но и от этого он вскоре отказался, потому что продавщицы кормили его бутербродами с икрой, бужениной и швейцарским сыром, после которых материн колбасный сыр и дешёвая колбаса под названием «Отдельная» не лезли в горло.

Всё было бы нормально, если б не одно обстоятельство: по вторникам, четвергам и пятницам, когда были занятия в вечерней школе, надо было уходить с работы на час раньше. Каждый раз он переживал: а вдруг, пока его нет, «Купальщицу» купят? Тогда он её больше никогда не увидит. По этой же причине он нервничал, когда продавщицы его куда-нибудь посылали. Если «Купальщицу» купят при нём – он знал, что делать: влезет к покупателю в душу и будет к нему ходить.

Учился он, как Ульянов-гимназист, потому что надо было обязательно поступить в ВУЗ, чтобы не забрали в армию. Нет, армии он не боялся: сил у него в те времена было много, характер, мозги, руки – это всё тоже имелось. Но за два года, пока он будет в армии, «Купальщицу», скорее всего, купят, и он её больше не увидит.

В те дни, когда не надо было идти в школу, он оставался в магазине позже других, якобы, чтоб всё расставить по местам. До прихода уборщицы оставалось примерно полчаса. В это время никто не мешал войти в картину.

...В гроте появился телевизор. Но не тогдашний чёрно-белый с малюсеньким экранчиком и отдельной круглой линзой, а плоский, величиной в полстены. Таких телевизоров в те годы еще не было.

Передача начиналась, как только он садился в кресло, стоявшее напротив стены с телевизором.

Показывали красивые вещи.

...Медленно поворачивался мраморный мальчик. Вот уже появился и гусь, схвативший его клювом за пятку. Мрамор так и светится! А поэтому и на мальчика приятно смотреть, и на гуся.

...Постепенно укрупняясь, приближалась люстра, вся украшенная фарфоровыми розами, лилиями, георгинами, выюнками, бабочками и даже ангелами.

Однажды, на экране появилось фаянсовое блюдо для фруктов, сделанное в виде трёх переплетённых виноградных листьев. Листья были как настоящие; один даже вроде как засох по краям, другой немножко загнулся, а на третьем сидела улитка. Ему вдруг страшно захотелось увидеть настоящие виноградные листья вместе с ягодами и, вообще, весь виноградник, и всё, что вокруг него: деревья, дома, людей, может горы... Вот бы увидеть и другие места, где он никогда не был! А он нигде не был, кроме Москвы и деревни Беляково Рязанской области, где жила бабушка, материна мать.

Телевизор показывал и картины, в основном, старинные. Он до сих пор помнит ту, где три боярышни в сарафанах, красных сапожках и кокошниках, расшитых самоцветами и золотыми нитками, сидят на расписных лавках и примеряют серьги и бусы. Он с такой радостью смотрел на эту картину, как будто перед ним поставили целую миску пломбира, с изюмом, клубникой и фисташками.

Такой пломбир он ел только один раз. Ему тогда удалили гланды, и врач велел матери купить мороженое и дать сразу после операции. Поликлиника находилась недалеко от Серпуховского универсама, где продавали этот пломбир. Стоил он дороже, чем обыкновенное мороженое, но мать расщедрилась. К сожалению, он не смог как следует распробовать пломбир, потому что в горле ещё не прошла заморозка.

Он знал, что картина с боярышнями называется «В тереме» (К. Е. Маковский. 1896 год), потому что она продавалась у них в комиссионном. И всё остальное, что показывали по телевизору в гроте, было тоже из их комиссионного. Но там он ничего не разглядывал, потому что там это был для него просто товар, вернее, груз, который надо таскать и паковать. Кроме, конечно, «Купальщицы». Когда продавщицы восхищались каким-нибудь «шедевром музей-

ного качества», он поддакивал из подхалимажа, но на самом деле ему было наплевать какого качества – музейного или нет – например, картина неизвестного художника «Леда и лебедь», из-за которой у него всю жизнь побаливает спина, потому что там была литая рама, килограммов на пятьдесят.

Товар в комиссионном не залёживался. Почти всё уходило быстро. Но к «Купальщице» никто даже не приценивался.

А однажды над ней поиздевались.

...Он и сейчас, спустя столько лет, помнит не только сам этот случай, но и ту ненависть – чувство, вообще-то ему не свойственное – которую испытал к ЕЁ обидчику.

Это был артист, притом, знаменитый. Он сразу узнал этого артиста, потому что у матери возле трюмо была пришпилена к обоям открытка с его фото. Явился он не один, а с целой компанией, тоже, наверное, артистов. От них несло водкой и духами. Они громко галдели, хохотали, расхаживали по торговому залу, как у себя дома. Дамочки небрежно вертели в руках фарфоровые и хрустальные вещи. Купить они ничего не купили, но истрепали продавщицам все нервы. Мужики разглядывали картины с обнажёнными женщинами и на весь магазин отпускали похабные шуточки. Когда они добрались до «Купальщицы», артист проблеял своим бабьим голоском:

– Эээнтиресссно, кто сотворил сию уродину?

Старший продавец Ирина Николаевна, которая вся кипела от возмущения, взяла себя в руки и вежливо ответила:

– Эту картину написал художник Пётр Павлович Андриевский. Дата написания – тысяча девятьсот двадцать пятый год.

Но артист продолжал хамить:

– Художник? – он издевательски хихикнул. – Мой шестилетний Николашечка, можно сказать, Репин по сравнению с этим вашим Андрейчуткиным, или как там его... Но уж так и быть: пожертвую вам Николашечкин шэээдэвр, именуемый Точка-точка-два крючочка, ручки-ножки-огуречик вот и вышел чэ-ло-брэчэк. Мой шоф-фэр привезёт.

Компания разразилась хохотом и аплодисментами.

Продавщицы молчали.

Но он, перетаскивая из одного угла в другой мраморную богиню со здоровенными крыльями, вдруг остановился и на весь магазин, отчеканил:

– Это син-те-ти-ческий кубизм. Если не разбираетесь в искусстве – не выступайте!

И добавил по-французски всплывший в памяти афоризм, из тех, которые заставляла его учить Корделия Вениаминовна:

– «L'ignorance est un crépuscule; le mal y rôde». Viktor Marie Hugo.

Не надеясь, что артист понимает по-французски, он перевёл:

– «Невежество – это сумерки; там рыщет зло». Виктор-Мари Гюго.

Поставив богиню, куда было нужно, он убежал в подсобку. Убегая, слышал, как, хохоча, взвизгивали дамочки, и как вся компания потешается над артистом.

Когда они, наконец, убралась, в подсобку втиснулись все три продавщицы. Они чмокали его, хвалили, восхищались его эрудицией.

...«Купальщица» провисела в комиссионном чуть больше года, а потом директор распорядился, чтобы её вернули владельцу, то есть племяннице Корделии Вениаминовны.

– Как неохота ей звонить... – вздыхала Нина Захаровна, – Начнётся: «Ну, пожалуйста, ну очень вас прошу, ну пусть ещё хоть немножко повисит!» А нас-то что уговаривать? Мы-то что можем сделать, если вещь не хотят покупать?

– Всегда одна и та же история...– вздохнула и Людмила Петровна

Ирина Николаевна, решительным тоном заявила:

– Ничего не поделаешь, девочки. Для нас приказ директора – закон.

Но чувствовалось, что и ей не по себе.

План созрел мгновенно и тут же был осуществлён с полным успехом.

Он предложил:

– Хотите, я позвоню? Она моя знакомая. Я с её тётей занимался французским. Я и картину ей могу отвезти.

Продавщицы обрадовались и, конечно, приняли его предложение. В накладной был адрес, поэтому не пришлось объяснять, почему он не знает, где живёт его знакомая.

Племяннице Корделии Вениаминовны он наплёл, что очень благодарен её тёте за то, что она с ним бесплатно занималась, и в память о ней хочет – тоже бесплатно – помогать по хозяйству её

родным, то есть ей. Племянница – её звали не менее заковыристо, чем тётку: Генриетта Леопольдовна – растрогалась, назвала его «юношей с чуткой душой» и заявила, что ещё на похоронах тёти Кору он «произвёл на неё светлое впечатление». Поначалу она категорически отказывалась «эксплуатировать его душевный порыв», но, в конце концов, согласилась, однако при условии, что он будет регулярно у них обедать.

Генриетта Леопольдовна жила с дочерью, которая готовилась поступать в Библиотечный институт, где её мама преподавала зарубежную литературу. Это была та самая – и единственная – её дочь, которую он видел подростком на похоронах Корделии Вениаминовны. За полтора года она, конечно, повзрослела, но как была уродиной, так уродиной и осталась. Звали её тоже по-уродски: Мелисанда. Об её отце никогда не упоминали. Скорее всего, кто-то спяну заделал Генриетте Леопольдовне дочку, потому что трезвый мужик вряд ли полезет на такую скучную тётку с лягушачьим ртом и здоровенным носом. Пышные золотистые волосы не спасали. Генриетта Леопольдовна надеялась, что дочка унаследует эти волосы, из-за которых, собственно, и назвала её «как золотоволосую героиню изысканной пьесы Метерлинка «Пелеас и Мелисанда». Но фигушки! Дочкины волосёнки получились жиденькие, серенькие и секлись на кончиках. Зато она унаследовала мамин лягушачий рот и здоровенный нос

Саму Генриетту Леопольдовну тоже называли не просто так, а в честь корабля. Случай по-своему уникальный: обычно корабли называют в честь людей. А здесь – наоборот. К тому же корабль этот был взят не из жизни, а из книги, из «Вокруг света за восемьдесят дней» Жюль Верна. Генриетта Леопольдовна раз десять рассказывала, почему «папочка настоял на том, чтобы её назвали «так и только так». Свой рассказ она подкрепляла цитатой, которая и вдохновила её папочку: «Когда «Генриетта» не могла одолеть волну, она шла сквозь неё и проходила, хотя палубу заливало водой». Но, как и в случае с Мелисандой, родители промахнулись: «проходить сквозь волну» Генриетта Леопольдовна не умела, даже кандидатскую так и не защитила. А вот насчёт Корделии Вениаминовны получилось правильно: старуха всегда лепила, что думает. Помнится, она как-то сделала ему замечание, что он «непочтительно отозвался о своей маме» (кажется, сказал, что его мать – тёмная, как

тундра). Он от смущения задал дурацкий, дерзкий вопрос: «А вы, что ль, всегда родителей уважали?» «Уважала – всегда, а любила далеко не всегда, – отрезала она, то есть выступила в том же духе, как ответила отцу её тёзка в «Короле Лире»: «Люблю я вашу милость, как долг велит, не больше и не меньше».

В то лето он окончил вечернюю школу, уволился из комиссии и поступил в Библиотечный институт: Генриетта Леопольдовна ему «подстелила немножечко соломки». Мелисанда, естественно, поступила туда же, так что они теперь учились вместе.

Когда он увольнялся, ему устроили торжественные проводы с тортом и шампанским. Было сказано много тёплых слов. Директор подарил ему наручные часы «Слава», а продавщицы сбросились и купили югославский пуловер модного мышинового цвета.

Учился он старательно. По привычке. Литература и все остальные предметы его мало интересовали. Лишь однажды учебный процесс задел его за живое, это когда он читал по программе повесть Гоголя «Портрет». Он занервничал: а вдруг он тоже свихнётся, как этот Чартков? Но посидел, подумал и успокоился. Нет, у него не так. Во-первых, сама картина другая: там – портрет старика с живыми страшными глазами; здесь – девушка, у которой глаза вообще не нарисованы, потому что она повёрнута спиной. Во-вторых, Чарткову из-за этого портрета снятся кошмары, а ему Купальщица всегда поднимает настроение. И потом в рассказе за рамой этого портрета оказались деньги. Он усмехнулся. И, благо Мелисанда с матерью пошли в промтоварный магазин купить «кое-что дамское» (скорее всего, трусы или бюстгальтер), взял из буфетного ящика нож, который от долгого употребления так истончился, что стал, как лезвие для безопасной бритвы. Сняв картину со стены, он осторожно просунул нож между рамой и холстом; сначала внизу, потом вверху, потом справа, потом слева.

И вот слева зашуршало!

Он прижал это дело кончиком ножа и вытащил сильно пожелтевшую бумажку, свёрнутую в несколько раз. Развернул. Оказалось, это письмо.

Почерк был ровный, чёткий, но читалось с трудом, потому что чернила выцвели. Он помучился, но прочитал.

Пётр!

Я решила – и решилась – разорвать то немногое, что ещё уцелело от наших отношений. Уцелело, увы, немногое, а

именно: привычка двух разнополых особей к телесному присутствию друг друга. Но даже эта привычка обрела формы столь рутинные, что унижает нас и, в особенности, меня как женщину, то бишь объект пассивный. Господь, который вручил мне моё «я», более не позволяет мне топтать Им вручённое. Крепись, Пётр. Сразу после Великого Поста я выхожу замуж. Полагаю более для тебя щадящим, чтобы ты узнал об этом от меня, любящего (о, всё ещё любящего!) тебя человека, а не от посторонних, которые насладились бы садистическим удовольствием от твоей реакции (растерянность и прочее). Жених мой – немец, молодой профессор, почти ровесник тебе, человек, во всех отношениях достойный, чему вполне соответствует его имя Абелард, что означает: благородный, надёжный, то есть тип, полностью противоположный твоему. При этом ему не в меньшей степени, чем тебе, присуще широкомыслие. И вот тому пример.

Вчера утром, когда ты, надо полагать, ещё почивал после обычного для твоего обихода ночного кутежа, Абелард и я посетили «La Rotonde». После чашечки кофе с бриошами мы приступили к осмотру выставки.

Абелард пришёл в восторг от твоей «Купальщицы» (ах, от нашей, нашей с тобой «Купальщицы»!), хоть я не скрывала от него, что позировала для этой вещи. И вообще он знает ВСЁ. С глубокой серьёзностью глядя мне в глаза, Абелард сказал нижеследующее: «Это есть шедевр. Через твоя земная плоть живописец показал высокий несмертный дух». Я специально оставила его слова без изменений, ибо в их некоторой неправильности, вполне простительной иностранцу, согласись, есть нечто трогательное и, вместе с тем, явно проявилось широкомыслие.

Однако, речь сейчас о другом. Абелард и я желали бы приобрести «Купальщицу» за разумную цену. Но я вполне отдаю себе отчёт в том, сколь было бы для тебя оскорбительно предложение продать МНЕ «Купальщицу». И потому прошу тебя: подари её! Этот дар стал бы нетленным напоминанием о том периоде любви нашей, что был исполнен высоких чувств и тончённых ощущений.

Ежели ты решишь сделать нам сей дар, то пришли «Купальщицу» на мой столь хорошо известный тебе адрес не позже, нежели через неделю: мы с Абелардом весьма скоро уезжаем в Берлин, где он имеет скромный, но удобный особняк и кафедру в университете.

Прощай, не поминай лихом!

Купальщица.

Внизу кривыми буквами было приписано:

«*Нате, берите*».

...С письмом в руках, забыв снять женские домашние тапки, в которые здесь переобувался, он бросился в картину и закричал:

– Как он мог, сволочь, пропить своё счастье?! Из-за него вы пошли за нелюбимого, за немчуру за этого! Да ещё нагрубил: «Нате, берите»... Гад! Гад!

Купальщица указала в сторону грота, и он прямо в тапках нырнул в залив.

...Телевизора и кресла в гроте теперь не было, но появилась высокая табуретка и стеклянный столик, на котором когда-то лежал калейдоскоп. Только теперь вместо калейдоскопа на столике была хрустальная посуда литра на полтора, доверху наполненная пломбиром с изюмом, клубникой и фисташками, а сверху громоздилась шапка из взбитых сливок, усыпанная тёртым шоколадом и украшенная сверху засахаренной вишенкой. На хрустальной подставке лежала серебряная ложечка.

Никогда – ни до, ни после – он не ел ничего столь вкусного! А ведь в последние годы он мог позволить себе любые деликатесы.

К тому моменту, когда Генриетта Леопольдовна и Мелисанда вернулись домой, он успел съесть весь пломбир, сунуть письмо обратно за раму и повесить картину на место.

– Мама, а Володя без нас лакомялся мороженым и перепачкал губы! – сказала Мелисанда и растянула рот в лягушачьей улыбке.

Он облизнулся: да, губы сладкие...

Соврал:

– Захотелось вдруг мороженого. Купил по дороге. Может, сбегать, купить вам?

– Не надо, Володя, спасибо, мы сейчас будем обедать. По-английски. Как раз семь часов, – Генриетта Леопольдовна тоже улыбнулась, и тоже по-лягушачьи...

Из института он обычно возвращался с Мелисандой. Иногда с ними ехала в электричке и Генриетта Леопольдовна. Дома разогревали приготовленную с утра еду и обедали «по-английски», то есть ужинали. Потом они с Мелисандой убирали посуду и занимались за тем же обеденным столом.

Он всегда сидел напротив стены, где висела «Купальщица», делая вид, что читает или думает, и ему ничто не мешало залезать в картину.

– Видишь, Мелисанда, как Володя сосредоточен, несмотря на громогласные разговоры соседей, – сказала как-то Генриетта Леопольдовна. – А ты вечно жалуешься, что этот шум мешает тебе сосредоточиться.

– Мама, он особенный...

Мелисанда улыбнулась, отчего её губы раздвинулись так, что уголками почти наехали на уши.

Дома он теперь только ночевал. Общался с матерью по утрам, пока они ели. Разговоры были всегда одни и те же: он, в основном, молчал, а она жаловалась, что ей чего-то не начислили, не отладили, как надо, станок, или, что начальник цеха с ней неуважительно разговаривал, хотя у неё трудовой стаж в пять раз больше, чем у него. Он быстро съедал кашу или оладьи, или что там она настряпала, и ехал в институт, а если было воскресенье, уходил к себе за шкаф, ложился на кровать, читал что-нибудь по программе или просто ждал завтрашнего вечера, то есть, когда, наконец, получит возможность войти в картину.

К третьему курсу ему так надоело каждый день мотаться из Филей, где жили Генриетта и Мелисанда, к себе на Большую Калужскую, что он женился на Мелисанде и переехал к ним.

Генриетта Леопольдовна не возражала, хотя у них была всего одна комната, правда, большая: двадцать три квадратных метра. И не только не возражала, а была «душевно рада личному счастью дочери». В качестве свадебного подарка она преподнесла молодым старинную ширму восточной работы, которую купила в комиссионном магазине, где раньше работал зять. По ширме, среди ветвей цветущей вишни, а, может, сливы, летали раскосые феи с веерами.

– Правда, дивная вещь? – восхищалась Мелисанда. – Только мама, с её изысканным вкусом, могла заметить это чудо среди нагромождения антикварной пошлости.

Он промолчал, хотя сам никогда бы не купил вещь в таком состоянии: и ветки с цветами, и феи с их веерами сильно облиняли. Это б ещё ничего, но древожорка настолько изрешетила деревянный каркас, что от малейшего движения ширма тряслась, а один раз даже упала, притом – в самый неподходящий момент. Хорошо ещё, что она упала на кровать и накрыла их собой.

...Два с половиной года, что они прожили с Мелисандой, были самыми счастливыми в их жизни. Мелисанда упивалась неземной любовью к своему «королевичу» и не замечала довольно прохладного отношения с его стороны. А он был счастлив, потому что пока был на ней женат, считал картину «Купальщица» своей законной собственностью, поскольку являлся членом семьи её владелицы. В этот период его вхождения в картину были особенно радостными. После случая с письмом ОНА стала с ним здороваться, то есть распрямляла правую руку и махала ему. Когда это случилось в первый раз, на его обычно хмуром лице возникла улыбка, которая сразу исчезла, когда к нему привалилась Мелисанда и громко зашептала прямо в ухо: «Королевич мой ненаглядный! С какой глубокой нежностью ты мне улыбаешься!»

Тем временем умер Сталин. Теперь в их коммуналке каждый вечер шла грызня на политические темы. Крепкая старуха Артемьевна, работавшая в гастрономе уборщицей, истово, с матерной бранью, заступалась за Сталина, а доходяга-алкаш Захарыч – тоже матом – Сталина костерил. Соседи попримичнее возмущались их руганью, но и они нет-нет, да ввязывались в дискуссию. Даже Генриетта Леопольдовна при всей своей интеллигентности однажды высказала перед «этими простыми людьми» своё мнение по данному вопросу. Она словно лекцию им читала, потряхивая хлебным ножом, как указкой, и её преподавательский голос, ровный и громкий, перекрывал даже визгливый мат Артемьевны:

– Достоевский писал: никакая великая идея не стоит слезинки ребёнка, а Сталин заставил народ пролить моря слёз и океаны крови! Василий Захарович абсолютно прав в своём гневе, хотя обшценная, иными словами, нецензурная лексика, которую он употребляет, доказывая свою правоту, недопустима, тем более в местах общего пользования.

Ни Мелисанда, ни сам он в таких дебатах никогда не участвовали: им было не до этого: они писали дипломные работы.

Развелись они сразу после защиты. Но дело было не в защите. И не в их отношениях. Конечно, кое-какие шероховатости случались – не без того – но даже не между ним и Мелисандой, а между ним и тёщей, которая стремилась сделать из него «благородного человека в полном смысле этого слова». Серьёзная стычка произошла между ними из-за похорон Нины Захаровны. Пышная здоровячка, кровь с молоком, Нина Захаровна скоропостижно умерла на работе от разрыва сердца (тогда еще не было в ходу слово «инфаркт»). Зато теперь, в двадцать первом веке, если он умрёт от этого дела, то врачи будут констатировать инфаркт миокарда, хотя «разрыв сердца» звучит человечнее...

А было так.

Позвонила Ирина Николаевна, сообщила о печальном событии и о том, когда состоится кремация. Ни его, ни Мелисанды дома не было. Трубку взяла Генриетта Леопольдовна. Всклипывая, Ирина Николаевна ей поведала, как много добра сделала покойница для Володи.

В крематорий он не поехал, а на вопрос Генриетты Леопольдовны «Почему?!» ответил, что должен выспаться, чтобы на следующий день пойти к дипломному руководителю со свежей головой.

И вот тогда тёща впервые повысила на него голос. Она выкрикивала упреки, обзывала его циничным, жестоким, неблагодарным, неблагородным и даже «преступно равнодушным».

Он огрызнулся:

– Вы-то чем лучше? Вы хоть раз сходили к своей тёте на могилу? А она, между прочим, оставила вам всё своё имущество!

Вмешалась Мелисанда. Она расплакалась и уговорила их друг перед другом извиниться. Конфликт был погашен.

Но причиной развода стала отнюдь не критика тёщи, а, напротив, её чересчур большая заботливость.

Эту роковую для брака дочери заботливость Генриетта Леопольдовна проявила во время «торжественной семейной трапезы с шампанским и крабовым салатом».

Трапезу устроили в честь того, что «наш дорогой Володя получил диплом о высшем образовании» (Мелисанда должна была защищаться через неделю). После первого тоста «За успехи на благородном поприще просвещения» Генриетта Леопольдовна заявила, что когда Володя «вступит в должность, ему будет жизненно необ-

ходим достойный костюм и, разумеется, достойная обувь». Поскольку *таким* денег в доме нет, она приняла решение продать «Купальщицу», тем более что есть покупатель. Упомянув о покупателе, она явно смутилась, откашлялась, промокнула губы маленьким платочком с кружевными краями, который всегда чуть-чуть высовывался из её рукава, и добавила:

– Мы когда-то вместе учились с его сыном. В университете...

Он пытался её убедить, что, раз уж речь зашла о деньгах, то продавать шедевр гениального художника Андриевского сейчас невыгодно, ведь в будущем «Купальщица» будет стоить целое состояние. Но на этот довод тёща ничего не ответила, а только пожала плечами, окутанными старинной шалью с дырочками от моли.

Тогда он попробовал подействовать на неё в плане этики и принялся доказывать, что в Детской библиотеке, куда его распределили, сотрудники получают копейки и наверняка одеты бедно. Неэтично ходить туда в «достойном костюме». Но этот аргумент только подхлестнул Генриетту Леопольдовну:

– Наконец ты стал рассуждать, как благородный человек! – с торжеством в голосе заявила она. – Значит, наша семья всё-таки оказала на тебя благотворное влияние. И не уговаривай меня! Вопрос исчерпан.

Мелисанда поддержала мать:

– Правильно, мама, ему необходимо приодеться. А без этого посредственного этюдика мы как-нибудь переберёмся.

Где ей было понять, что без этого «этюдика» она ему ни для чего не нужна!

В этот вечер он изменил ей в первый и в последний раз. Произошло это неожиданно для него самого.

После «обеда в английском духе» он поехал к матери поменять в кране прокладку. Ни она, ни обе соседки-старухи этого делать не умели. Матери дома не было: она уже ушла в ночную смену. Он отпер дверь своим ключом, прошёл на кухню, достал инструменты. В дверь позвонили. Он открыл. Вошла женщина лет тридцати. Ей нужна была сода. От изжоги. Пока он искал соду, она рассказала, что приехала к двоюродной сестре Мане из соседней квартиры, что сама она живёт в Ульяновске, работает на Патронном заводе, а в Москву её направила областная больница на обследование органов брюшной полости.

Соду он нашёл, но женщина не уходила, а продолжала что-то рассказывать (подробностей теперь не вспомнить), даже, кажется, что-то спела. Соседки, как нарочно, сидели по своим комнатам и на кухню не вылезали.

Отдалась она на паласе (он не посмел завалиться с ней на материну кровать с четырьмя взбитыми подушками, крахмальным кружевным подзором и жаккардовым покрывалом).

Пока он с ней возился, всё время думал о Мелисанде. Со злорадством. Он уже тогда решил рассказать ей **ВСЁ**. Это было что-то вроде мести за «Купальщицу», которую она обозвала «посредственным этюдиком».

Когда покупатель – старик в плоской соломенной шляпочке, которая еле держалась на его большой башке, – снял «Купальщицу» со стены, он не удержался и застонал. Все на него обернулись, а Генриетта Леопольдовна спросила:

– Что с тобой, Володя?

Он пробурчал:

– Ногу свело...

– Мелисанда, – распорядилась она, – возьми в шкатулке для рукоделия большую иглку, продезинфицируй её над газом и уколи Володю в то место на ноге, где он чувствует самую острую боль.

– Не надо, прошло, – он встал, подошёл к столу и, прикусив губу, смотрел, как заворачивают «Купальщицу».

Пока пили чай, выяснилось, что старик живёт в десяти минутах ходьбы от них, и он навязался проводить его и донести картину.

Старик был когда-то какой-то шишкой в области управления культурой и поэтому имел отдельную двухкомнатную квартиру. Жил он один, но теснотища там была – страшная. Из-за книг. Их было столько, что они не вмещались в три высоченных – до потолка – книжных шкафа и были навалены повсюду: в углах, около стен, под столами, под кроватью и даже под стульями.

– Давайте я сделаю вам полки и расставлю книги, как положено: по темам, а внутри каждой темы – по алфавиту, – сразу же предложил он старику. – Денег за это я с вас не возьму, потому что это будет для меня хорошая практика. Я ведь распределён в библиотеку,

Старик, естественно, согласился.

Вернувшись домой, он, пока Генриетта Леопольдовна бегала по магазинам, присматривая для него «достойный костюм», успел доложить Мелисанде о своей измене, не упустив ни одной подробности. Мелисанда рыдала, выкрикивала: «Подло! Мерзко! Как ты мог?!» и прочее тому подобное.

Он спокойно предложил:

– Хочешь, разведёмся?

Она выкрикнула в запале:

– Да! Хочу! Не желаю жить под одной крышей с предателем!

– Я тогда подам заявление?

– Подавай!

Он подал заявление о разводе и переехал обратно к матери.

Мать не скрывала, что очень даже рада. Она ненавидела и невестку, и сватью за то, что «из себя ставят», и ещё, конечно, за то, что невестка – уродина и не рождает ей внуков.

Генриетта Леопольдовна была в отчаянии: она даже предположить не могла, что «наш Володя окажется негодяем».

Когда наступил назначенный для развода день, Мелисанда пошла на попятный. Чтобы она отвязалась, он наврал, будто «та женщина» ждёт от него ребёнка. На самом деле с «той женщиной» они больше ни разу не встречались.

К старику он ездил почти каждый вечер. Полки для книг получились вполне хорошие. Парень он был рукастый, а насчёт материала дела обстояли более чем благополучно. В те годы московские помойки ломались от великолепной мебели, не говоря уж о досках от книжных полок. Многие семьи обрели, наконец, отдельные квартиры. В основном, малогабаритные. Прежняя солидная мебель туда не помещалась. Её отвозили на дачу, а те, кто дачи не имел, ставили к ближайшей помойке старинные шкафы, массивные обеденные столы, буфеты, похожие на готические соборы, и прочую роскошь. Обставлялись функциональными вещами: стенками «для всего», раскладными диван-кроватями, лёгонькими столиками, табуретками с алюминиевыми ножками-трубочками, ну и так далее. Такая функциональная мебель была, к тому же, в моде.

Пока он возился с полками и книгами, старик много чего рассказал ему о художественной литературе, о том, например, что произведения Салтыкова-Щедрина хороши даже не столько содержанием, сколько самой формой; или о том, что прозу Тургенева перео-

ценивают, тогда как блестящий стилист Вонлярлярский – забыт. Ну и так далее. Он делал вид, что слушает, а сам только и ждал, когда, наконец, старик уйдёт в другую комнату разговаривать по телефону, и тотчас же запрыгивал в картину.

...Теперь в гроте располагался обширнейший читальный зал, вмещавший столько полок с книгами, сколько, кажется, ни одна библиотека в мире не могла бы вместить. Но читательское место было только одно: удобное кресло и стол с настольной лампой под абажуром из зелёного стекла, как у старика на письменном столе.

Он шёл вдоль полок, пока неизвестно откуда проникший луч не падал на корешок какой-нибудь из книг. Тогда он брал эту книгу, садился и читал.

Луч высвечивал самые разные книги: «Золотой горшок» Гофмана, «Пьесы» Островского, «Жизнь животных» Брема в трёх томах, «Занимательную минералогию» Ферсмана, «Божественную комедию» Данте, «Маленького лорда Фаунтлероя» Бернет, «Смерть на Ниле» Агаты Кристи, альбом «Сады и парки»...

Когда он читал в гроте – причём, неважно что: хоть немецкую философию, хоть древнегреческую поэзию – у него было такое чувство, будто грудная клетка расширяется и туда вместе с воздухом вливается ещё что-то очень хорошее, очень полезное. Такое он чувствовал только в гроте. А вообще он читать не любил.

...Старик прожил ещё десять лет.

Библиотека давно была приведена в идеальный порядок, а он продолжал туда ходить, кое-что чинил, приносил продукты, лекарства.

За эти десять лет многое изменилось. Расселили коммуналку, где они с матерью жили, и они, как разнополые, получили двушку в Мнёвниках. Из Детской библиотеки он уволился: старик, у которого ещё оставались кое-какие связи, устроил его на должность директора Дворца Культуры Химкомбината. С деньгами там было существенно лучше, чем в библиотеке, но и ответственности было куда больше. Чтобы обеспечить Дворец всем необходимым от электрических лампочек до автотранспорта, приходилось крутиться: отпущенных на эти цели средств систематически не хватало.

Больше он не женился, хотя монахом не был. Связи у него бывали. Обычно довольно долговременные и только с замужними. Так спокойнее. Во всяком случае, замужние не требуют, чтобы любовники на них женились.

Четыре года он встречался с аккомпаниаторшей из Дворца Культуры. Любовь крутили у него в кабинете. Его устраивало, что она чистюля и приходит, только когда её позовёшь. Звал он её, если секретарша Надя уезжала по делам. Кое-чем аккомпаниаторша напоминала Мелисанду. Она постоянно им восхищалась: «У тебя бесподобные глаза! Как звёзды!» Или: «У тебя нос, как у Байрона!» Или: «Мне никогда не надоест любоваться твоей фигурой!» Она тоже обожала романтику. Но, в отличие от Мелисанды, аккомпаниаторша была хорошенькая и не считала, что он ниже её по культурному уровню. (Правда, Мелисанда ему этого никогда не говорила, но он всё равно это чувствовал).

Стоило мужу уехать в командировку или на рыбалку, как она начинала его уговаривать «воспользовался случаем и насладиться на природе романтическими отношениями». Иногда он уступал ей и тогда посылал Надю за сухим вином и какими-нибудь фруктами, вешая ей на уши лапшу насчёт того, что в выходные к нему домой придут нужные люди. Они встречались на Речном вокзале, сидели на прогулочный теплоход и плыли до остановки «Зелёная стоянка». Обратно теплоход отправлялся через полтора часа. Пассажиры оседали на пляже, а они уходили на маленькую полянку, окружённую густыми кустами. Чтобы туда пробраться, надо было знать единственное проходимое место. Они его знали. Аккомпаниаторша расстилала пикейное одеяльце, раскладывала на листах бумаги пирожки с яйцами, рисом и луком, салаттики-винегретики, круточки с ветчинкой или ещё какие-нибудь домашние закусончики, а он доставал из портфеля вино, фрукты и два фужера. Первый раз он взял из дома гранёные стаканы, но она расстроилась: «Владимир! Как ты мог привезти сюда простые стаканы?» Он понимал, что женщине надо в чём-то уступать, и стал брать представительские фужеры из своего кабинета, хотя это было довольно-таки неудобно: в отличие от неразбиваемых стаканов, фужеры были хрупкие, на них приходилось наворачивать несколько слоёв газетной бумаги: лишняя возня, да и в портфель трудно запихивать.

Они пили вино, кушали. За тридцать-тридцать пять минут до посадки аккомпаниаторша быстро всё убирала, встряхивала одеяло, и они, как она выражалась, «занимались глупостями». Пару раз за зиму они «наслаждались романтическими отношениями» на лыжах. Сухое вино, фрукты, пирожки, салаттики-винегретики и прочее упо-

требляли стоя. После еды-питья она лезла целоваться, но «глупостями» не занимались: не на снегу же это делать!

Были и другие связи.

До аккомпаниаторши он встречался с бывшей однокурсницей. Их отношения продолжались месяцев семь... нет... шесть... а может, всё-таки семь, в общем, недолго, но и то он до сих пор удивляется, что терпел её столько времени. Она работала, имела двоих сыновей, родителей, мужа, свёкра со свекровью и, тем не менее, умудрялась несколько раз в неделю прибегать к нему на работу. Её костистые скулы вспыхивали тёмным румянцем, близко посаженные глаза смотрели на него в упор. Она буквально врывается в кабинет, запирает дверь и принималась стаскивать с него костюм. Иногда он позволял, но чаще – нет: бормоча «сейчас нельзя», он отрывал от себя её руки, отпирал дверь и звал Надю. Однако бывшая однокурсница не уходила, а садилась на диван, дожидаясь конца рабочего дня и шла с ним до его дома. В подъезде она затаскивала его на последнюю межэтажную площадку, где всегда было темно, и соблазняла, пристроившись на подоконнике. Он никогда её не провожал: она и без провожаний куда б не делась.

Из-за неё он однажды чуть не лишился должности. Секретарша Надя, которая к нему неровно дышала, доложила в вышестоящую организацию, что директор развратничает на рабочем месте, и его чуть не накрыли с поличным. Спасло то, что кабинет располагался в конце длинного коридора, и он услышал их шаги и голоса, и пока они шли, успел обдёрнуть на ней её узкую юбку, сунуть в ящик письменного стола её трусы и колготки, приготовить радушную улыбку, отпереть дверь и даже гостеприимно её распахнуть. Однокурсницу он им представил, как заведующую районной библиотекой, что было чистой правдой.

Когда смущённые проверяющие ушли, он заявил ей, что им больше нельзя встречаться. Но это не подействовало. Она стала поджидать его у входа во Дворец между колоннами или около подъезда его хрущовки. Избавился он от неё только, когда додумался пригрозить, что доведёт до сведения мужа правду насчёт её аморального поведения.

После настырной однокурсницы тактичная аккомпаниаторша была просто находкой. Но за четыре года она ему здорово приелась. Даже её хорошенькое, беленькое личико и льняные кудряшки

начали его раздражать. Потянуло на кого-нибудь поживее, послаще. А такая женщина всё время находилась рядом, только он почему-то не обращал на неё внимания. Это Надя была, секретарша. Он, конечно, догадывался, что именно она стукнула на него, но был не в претензии. Он понимал: её двигало сильное чувство к нему.

Надя была и живая, и сладкая, и вылитая Бриджит Бардо. И потом, было очень удобно, что от неё больше не надо прятаться (ха-ха).

С аккомпаниаторшей, слава Богу, обошлось без трагедий. У неё, как по заказу, появилось новое романтическое увлечение. Впоследствии на каком-то мероприятии она познакомила его со своим новым кавалером (типичный интеллигент: некрасивый, сутулый, в дешёвых брюках). Её голубенькие глазки светились хорошо знакомым ему светом влюблённости, маленькие губки были сложены в опять-таки знакомую улыбку умиления. Знакомя их, она произнесла звенящим голосом (эти звенящие звуки он тоже прекрасно знал: они предшествовали «полной близости душевной и телесной»):

– Познакомься: мой Лёва. Последний романтик.

Он представил себе, как этот Лёва занимается с ней «глупостями» на пикейном одеяльце. Его покорило. Но тут подошла Надя, украдкой ущипнула за мягкое место, и сразу стало хорошо.

Однако вскоре в Наде обнаружилась неприятная штука: жадность до его денег. Она без конца требовала, чтобы он покупал ей дорогие вещи: то французский тон для лица, то костюм-тройку джерси, а однажды, попыталась заставить его купить ей финскую синтетическую шубу. Но этот номер не прошёл.

Несмотря на её хищные повадки, их связь продолжалась значительно дольше, чем с другими женщинами и, наверное, просуществовала бы ещё дольше, если б ей не пришлось переехать в Хабаровск, куда перевели её мужа-майора.

Как раз в день её отъезда умер старик. Последнее время он чувствовал себя плохо: то на сердце жаловался, то на желудок, то на головные боли.

Его преследовало опасение: а вдруг, если старика не станет, «Купальщицу» заберёт сын, который за все годы ни разу здесь не появился? И он решил намекнуть старику на то, как много для него значит эта картина.

– Знаете, – сказал он, накладывая старику и себе гречневую кашу, – мне очень нравится картина «Купальщица». Представляете, я даже иногда в неё мысленно вхожу. Когда я в ней вроде как нахожусь, мне даже как-то по-особому дышится.

Старик хмыкнул, доел кашу, потом подошёл к полке, где стояли крупноформатные издания по искусству, вынул альбом Шишкина, открыл его, ткнул пальцем в репродукцию «Корабельной рощи» и, усмехнувшись, проговорил:

– Входил бы лучше сюда. Дышал бы сосновым ароматом.

Он был поражён.

– Вам, что, не нравится «Купальщица»?

– Как может нравиться такая... такая... – он закашлялся и махнул рукой.

–А зачем вы её купили?

– Пришлось, – вздохнул старик. – Моральный долг... Я должен был помочь Генриетте Леопольдовне хотя бы материально. А она – дама с чувством собственного достоинства, просто так деньги ей не предложишь. Вот я и купил у неё эту, с позволения сказать, картину.

Через несколько дней старик умер. Но не от своих болячек. Он споткнулся о сбившийся резиновый коврик и, когда падал, ударился виском о край ванны.

Сын присутствовал на похоронах, как почётный гость. А всем занимался он: взял на себя львиную долю расходов, организовал гражданскую панихиду у себя во Дворце Культуры. В общем, всё устроил чин чинарём, несмотря на то, что старик сделал ужасную вещь: завещал «Купальщицу» Гордянскому Художественному музею, потому что откуда-то узнал, что Андриевский был родом из этого городишки. Передать «Купальщицу» музею старик в завещании поручил ему.

Музей находился в небольшом дворце, который до революции принадлежал предводителю Гордянского дворянства. На потолке бального зала от прежних времён сохранились росписи. Там плавали облака, летали крылатые младенцы с музыкальными инструментами, танцевали красавицы в венках из крупных цветов, и мускулистый Аполлон погонял несущуюся по небу четвёрку позолоченных лошадей. Уцелел в бальном зале и старинный паркет из разноцветной древесины, выложенной оригинальными узорами. В простенках между огромными окнами висели портреты царей,

цариц и бывших владельцев дворца. Окна выходили на юг, и в хорошую погоду здесь было очень светло.

Он настаивал, чтобы «Купальщицу» повесили в бальном зале, тем более что над входом было свободное место, но научные сотрудники наотрез отказались, объяснив, что эта картина сюда не вписывается ни хронологически, ни тематически, ни стилистически, и запихнули её в бывший чулан с дощатыми полами грязно-бордового цвета. Точно такие же полы были в деревенской избе его бабушки. В этом закутке при жизни предводителя держали принадлежности для натирания паркета и какие-то принадлежности для уборки бального зала. Теперь там висели небольшие гуаши и акварели на индустриальные темы. Окон в бывшем чулане не было. Если входил посетитель, смотрительница зажигала свет, но от этого становилось не намного светлей, потому что лампочки были слабые: хилый бюджет музея вынуждал экономить электроэнергию. И холодно там было, как, впрочем, и в других залах: топили тоже экономно.

Он не сразу смог войти в картину: раздражала бабулька-смотрительница, которая непрерывно курсировала между бальным залом и чуланом, и под её ногами скрипели половицы. Наконец, убедившись, что посетитель стоит на одном месте, как приклеенный, она ушла в бальный зал, села на свой стул и задремала. И тогда всё получилось: он мысленно скинул парадные югославские ботинки и шагнул в картину.

Там тоже потемнело. Дул пронизывающий ветер. За пределами видимости истошно кричали чайки. Резко пахло морскими водорослями. Купальщица, как всегда стоявшая к нему спиной, сгорбилась и дрожала. «Холодно, холодно, холодно. Страшно, страшно, страшно», – всплыла в памяти цитата из пьесы Чехова «Чайка». И ещё одна, тоже из классики, только он не помнил, откуда именно: «Милая, дорогая, светлая! Я жизни не пожалею, чтобы согреть вас и вывести из тьмы!»

Вторую цитату он произвольно произнёс вслух. И тут же посветлело, прекратился ветер, чайки смолкли, и запели жаворонки. В картине больше не пахло водорослями, а повеяло ароматом цветущего луга. Купальщица перестала дрожать, выпрямилась, расправила плечи и приняла свою обычную позу.

Выходные он теперь старался проводить в Гордянске. Правда, получалось не всегда: по субботам и воскресеньям во Дворце Куль-

туры иногда проводились такие мероприятия, на которых его присутствие было строго обязательно.

До Гордянска электричка тащилась три часа пятнадцать минут, а если со всеми остановками – то ещё дольше. Народу набивалось много, так что зачастую приходилось ехать стоя. И всё-таки он ездил в Гордянск при любой возможности. И не только из-за Купальщицы. Там был прекрасный дешёвый рынок. Он закупал свежайшую телятину и свинину на всю неделю. Там же приобрёл по дешёвке добросовестно простёганное пуховое одеяло с атласным верхом. И – что немаловажно – у него в Гордянске появилась женщина, правда, незамужняя. Он впервые допустил такое отклонение от своих правил. На то были весомые причины. Во-первых, Лариса Борисовна (так её звали) работала в музее, и не кем-нибудь – а главным хранителем. Чтобы сделать ему приятное, она владетельной рукой перевесила «Купальщицу» в бывший кабинет предводителя дворянства с двумя окнами и банкеткой. Картину местного художника «Рабочие Гордянского кирпичного завода на лыжной прогулке», которая раньше висела на этом месте, убрали в запасник, поскольку там, где до этого висела «Купальщица», она не поместилась, а больше её некуда было вешать. В бывший чулан, на место «Купальщицы» определили другую картину автора «Лыжной прогулки» – «Гордянские градирни», которая подошла и по габаритам, и по теме.

Приезжая в Гордянск, он останавливался у Ларисы Борисовны. Она жила одна в отдельной квартире в доме со всеми удобствами, всегда была ему рада, кормила его вкусно, сытно и, разумеется, бесплатно. Конечно, кое-какие продукты и небольшие презенты он ей привозил – не без этого – но всё равно выходила существенная экономия: питание и проживание в единственной местной гостинице, где он останавливался до того, как сошёлся с Ларисой Борисовной, обходилось намного дороже. И вообще она была во всех отношениях не женщина, а клад: внешность приятная (полная, но складная фигура, белая чистая кожа, натуральные светлые волосы и неплохие черты лица), характер покладистый, настроение всегда ровное. И никогда никаких претензий. Но, на всякий случай, он ей соврал, что женат, а у неё хватило ума не спрашивать, почему жена соглашается проводить выходные без мужа.

Когда перевеска «Купальщицы» закончилась, и рабочие ушли из зала, он, удобно устроившись на банкетке, без всяких усилий вошёл в картину и, улыбаясь, произнёс:

– Ну, здравствуй, заря моя вечерняя, любовь неугасимая!

Он теперь всегда здоровался с НЕЙ цитатой из хорошей песни или из классики.

...Следующие восемь лет прошли спокойно. Он жил с матерью, которая давно рассталась с мечтой стать бабушкой и перестала его этим донимать. Она в свои шестьдесят с гаком лет продолжала трудиться на фабрике, а он всё так же директорствовал во Дворце Культуры. Когда обстоятельства не препятствовали – ездил в Горький. Ларисе Борисовне и другим работникам музея он объяснял своё пристрастие к картине Андриевского тем, что она когда-то была их семейной реликвией и, глядя на неё, он мысленно возвращается в счастливое детство.

Накануне своего дня рождения (ему на следующий день исполнилось тридцать девять лет), как следует выпавшись на великолепной перине Ларисы Борисовны и вкусно с нею позавтракав, он, как всегда, пошёл в музей. Войдя в картину, поздоровался с Купальщицей цитатой из рассказа Куприна «Суламифь», который артистка из Ленинграда читала на вечере во Дворце Культуры:

– О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давида.

Всё вокруг засияло. Наверное, ОНА улыбнулась. И так это его обрадовало, что он подумал: «Хоть бы ничего в моей жизни не менялось».

И, видно, сглазил себя.

На следующий день – это было воскресенье двадцать пятого ноября тысяча девятьсот семьдесят третьего года – они с Ларисой Борисовной отмечали день его рождения. Отмечали во время завтрака, потому что в двенадцать ему надо было выходить, чтобы успеть на московскую электричку (все более поздние отменили по техническим причинам). Она вручила ему подарок: модный длинный шарф, который сама связала из мохера цвета блёклой зелени. Они чокнулись шампанским, выпили, закусили его любимым тортом с глазурованными фруктами, который Лариса Борисовна умудрилась где-то достать, а потом он сообщил ей, что примерно через год подойдёт его очередь на «Волгу», так что к своему сорокалетию он

сюда приедет на собственной машине, и в дальнейшем, имея «Волгу», перестанет зависеть от железной дороги, и у них будет больше времени на общение. Лариса Борисовна предложила за это дело выпить, но не успел он наполнить фужеры, как в дверь позвонили.

Это была старушка, смотрительница зала. Она прибежала сообщить, что ночью обокрали музей. Похищены все иконы в богатых окладах, оба кокошника с золотым шитьём и речным жемчугом; зингеровская швейная машинка, утюг девятнадцатого века, картина «Персики и сливы», картина «Закат в горах» и картина «Купальщица».

В музее не скрывали удивления по поводу того, что воры польстились на «Купальщицу»: по единодушному мнению научных сотрудников эта картина представляет интерес лишь для узких специалистов. Все склонялись к мнению, что грабители впотьмах схватили её по ошибке.

...Он подумал: может, действительно «Купальщицу» украл ошибочно и потом где-нибудь выбросили? Говорят, такое бывает.

На всякий случай он сходил на городскую свалку и обещал директору хорошее вознаграждение, если тот обнаружит картину, на которой нарисована женщина, повернутая спиной, два камня – зелёный и синий, голубая вода и что-то вроде входа в тоннель.

Он съездил в Москву, взял недельный отпуск за свой счёт, вернулся в Гордянск и всю неделю рылся в помойках. Но тщетно: «Купальщицу» не подбросили. На свалке её тоже не обнаружили. Не дало результатов и уголовное расследование. Через два месяца следственные действия прекратили, и дело об ограблении музея перешло в разряд висяков. Этого следовало ожидать: кто ж будет лезть из кожи ради какой-то «Купальщицы» какого-то Андриевского? Это ведь не «Джоконда» и не «Княжна Тараканова». Да и остальные украденные экспонаты тоже великими шедеврами не являлись. Так что дело было не резонансное. И следствие соответственное.

В Гордянск он больше не ездил. Ларисе Борисовне позвонил и сказал, что жена узнала об их связи и поставила ультиматум: или он прекратит поездки, или она пожалуется в его партийную организацию, а также в партийную организацию его пассии. Лариса Борисовна, не на шутку испугавшись за свою карьеру, ответила, что вполне его понимает.

Вскоре он заболел. Довольно серьёзно прихватило сердце. Планы приобрести машину лопнули, так как врачи категорически запретили садиться за руль. Очередной отпуск пришлось провести в сердечно-сосудистом санатории. Там он познакомился с Лилией Фёдоровной, приятной замужней дамой (в санатории она находилась без мужа), но вступать с ней в связь побоялся из-за проблем с сердцем. Лилия Фёдоровна хорошо разбиралась в живописи. В санатории было много картин. Они висели повсюду: в холлах, в коридорах, в столовой и даже в процедурных кабинетах. По большей части это были натюрморты: букеты в вазах, фрукты в корзинах или фрукты вперемешку с цветами. Несколько картин изображали грибы. Картины с грибами особенно нравились пациентам санатория. Перед такими картинами всегда стояли люди и делились воспоминаниями о собственном опыте грибной охоты.

Когда в ожидании процедур или открытия столовой они прохаживались по коридорам, Лилия Фёдоровна останавливалась перед какой-нибудь картиной и объясняла, в чём её плюсы и минусы.

Как-то во время ужина он рассказал ей про «Купальщицу». Насчёт того, что входил в эту картину он умолчал. Не хотелось услышать что-нибудь, вроде совета покойного старика забраться в «Корабельную рощу» и нюхать там хвою.

– Я очень люблю эту картину, – допивая компот, проговорил он.
– Меня огорчает, что я её никогда больше не увижу.

И Лидия Фёдоровна дала ему дельный совет.

– Я вот что вам скажу, Владимир Алексеевич: у музея обязательно должны быть негативы всех единиц хранения. У них, наверняка, есть и негатив «Купальщицы». За небольшую плату они напечатают вам фотографию, а по фотографии можно будет заказать копию картины. Я конечно понимаю, что никакая, даже очень высококачественная копия, подлинника не заменит, но всё-таки это, как говорится, лучше чем ничего. Если есть приличный местный копиист – его работа обойдётся вам на порядок дешевле, чем в Москве.

На следующий день он выписался из санатория – хотя оставалась ещё неделя – и поехал в Гордянск.

Лариса Борисовна обрадовалась его приезду, хотя у неё был теперь новый кавалер – какой-то приглашённый из Питера реставратор. Она распорядилась, чтобы фотографию отпечатали срочно и

бесплатно: негатив «Купальщицы» в музее действительно имелся. Она же познакомила его с художником, который неплохо копировал, а, главное, много раз видел «Купальщицу», потому что работал в музее разнорабочим: живопись не кормила.

Копия «Купальщицы» получилась очень похоже.

Приехав в Москву, он повесил копию у себя в комнате, и тут вдруг мать как взбесилась. Она кричала, ругалась матом (раньше за ней такого не водилось), требовала, чтобы он убрал это безобразие туда-то и туда-то и не позорил мать перед сёстрами, соседями и подругами.

Он отбивался, как мог:

– Твои сёстры за всю жизнь приезжали к нам один-единственный раз, когда умер дядя Коля. А соседки дальше кухни не проходят. Да и твоих подруг с фабрики я здесь что-то не встречал. И даже если они сюда забредут, в моей-то комнате что им делать?

Но мать не унималась. Он разозлился и наговорил ей чёрт-те чего. От этого скандала у неё так скакнуло давление, что пришлось вызвать неотложку, и она загремела в больницу. Условия ей там создали на самом высоком уровне – как-никак у него были для этого все возможности – но у неё случился инсульт, а через пять дней ша-рахнуло ещё раз, и она умерла.

Он, конечно, переживал: мать есть мать, и потом он считал себя отчасти виноватым в её болезни и, соответственно, в смерти.

После похорон он крутился без сна до пяти утра, потому что страшно хотелось повесить копию «Купальщицы», но совесть не позволяла. А в пять – не выдержал, пошёл на кухню, достал из ящика с инструментами молоток и гвозди, вернулся в комнату, вытащил картину из-под гардероба, куда спрятал её от разбушевавшейся матери, повесил напротив своей кровати и лёг.

Войти в копию он, как ни старался, не смог. Было такое ощущение, будто на его пути в картину выросла невидимая стена.

Промучившись всё утро, весь день и весь вечер (дело было в воскресенье), он снял копию и прикинул к стене фотографию. Попробовал войти в неё. И опять ничего не получилось. В конце концов, он прекратил безрезультатные попытки и убрал копию и фотоснимок в нижний ящик комода, где лежали документы, и куда они с матерью складывали квитанции за коммунальные платежи.

Начался самый плохой период его жизни, который продлился тридцать пять лет. Да. Именно столько: с сорока лет до семидесяти

пяти – с тысяча девятьсот семьдесят четвёртого по две тысячи девятый.

Внешне всё выглядело вполне благополучно. До самой пенсии он работал там же и в той же должности. Даже неразбериха, связанная с перестройкой, практически не задела Дворец Культуры Химкомбината, который каким-то чудом уцелел со всеми кружками, коллективами художественной самодеятельности, выставочной и всей остальной деятельностью. У него, как и прежде, были длительные связи с приличными женщинами. Чувствовал он себя неплохо. Даже сердце как будто пришло в норму. А что толку, если он всё равно не ощущал себя живым? С подъёма до отбоя он всё делал на автопилоте. Казалось бы, ничего не изменилось. Кроме одного: до ограбления музея он всегда знал, что ему есть чего ждать, что пройдёт день, два, неделя, путь даже месяц, и он войдёт в картину, где его обязательно ждёт что-то приятное, а, главное, где стоит – пусть спиной к нему – ОНА.

...В тысяча девятьсот девяносто третьем году, в день, когда громили Белый Дом и с московских крыш стреляли снайперы, в его жизни произошло весьма знаменательное событие.

Секретарша доложила, что пришёл какой-то мужчина, на вид – новый русский.

Он сказал:

– Пригласи.

Посетитель, невысокий наголо бритый крепыш, был разодет во всё дорогостоящее, на шее – толстая золотая цепочка; на безымянных пальцах – по крупному перстню: один – с чёрным камнем, другой – с бриллиантом. Плечо шикарного пиджака придавливал ремень спортивной сумки фирмы «Риббок». Он шёл к столу с таким видом, словно ногам тяжело ватно передвигать столь весомую персону. Словом, форменный бандит.

Стало не по себе. Он судорожно соображал, кому мог перебежать дорожку. Но когда вошедший приблизился, он увидел, что в его маленьких, неприятных глазках стоят слёзы, а одна даже выкатилась наружу.

– Здорово, батя! – прохрипел посетитель и притиснул его к груди, твёрдой, как бетонный блок.

Когда дыхание восстановилось, он спросил:

– Почему вы считаете, что я ваш отец?

Вместо ответа последовал вопрос:

– Коньячные рюмки найдутся?

– Есть фужеры... – промямлил он.

– Сойдёт, – посетитель вытащил из спортивной сумки бутылку «Хеннесси», большую плитку Бабаевского шоколада, разломал её на четыре части и, наполнив фужеры, сказал короткий тост:

– За нас.

Выпили.

После второго тоста – за воссоединение семьи – последовал рассказ, вполне убедительно доказывающий, что этот навороченный качок действительно его сын. От женщины из Ульяновска. Той самой, с которой он в пятьдесят пятом году изменил Мелисанде. Мать в детстве ему рассказывала, что его отец был москвич, работник культуры, что приехал он в Ульяновск в командировку, влюбился в неё. Они собирались пожениться, но случилась беда: он поехал порыбачить на Волге, а моторка, которую он для этого взял на прокат, перевернулась, и он утонул. Потом оказалось, что она в положении. Сына записала на фамилию погибшего отца: Шарыгин. Отчество дали, как положено, по отцу Владимирович, а имя – в честь деда – материного отца: Алексей. То есть оба деда у него были Алексеями. Так что он – Шарыгин Алексей Владимирович. Сорок два дня назад мать умерла от рака, а перед смертью рассказала правду. И адрес дала. Московские родственники сказали, что Владимир Алексеевич Шарыгин действительно там проживал, но переехал, а работает вроде как на прежнем месте.

– Справил я по ней сороковины и сразу ломанул к тебе, батя, – рассказывал Алексей, снова наполняя фужеры. – Ты прикинь: я всю жизнь переживал, что у меня нет отца! Пацаном мечтал: может, отец не утонул и его, живого, отнесло куда-нибудь течением, а когда очнулся – ничего не помнил, но память к нему обязательно вернётся, и тогда он разыщет нас с матерью. И вот сбылась моя мечта, поздновато, правда. Мне ж, батя, до сорокалетия осталось три годка. Что ж поделаешь... всё ж, лучше поздно, чем никогда... Ну, давай, за мать, чтоб ей, как говорится, земля пухом.

Они выпили.

– Почему она мне не сообщила? – удивился он.

– Я её то же самое спросил. А она и говорить-то путём уже не могла, я еле расслышал: «Из-за Еремеева». Этот Еремеев ей всю жизнь изуродовал. Семейный партийный мужик, начальником цеха

был на Патронке, где мать работала. Она всё надеялась, что он когда-нибудь жену-стерву бросит и на ней женится, вот и не хотела признаваться, что выдумала про утонувшего москвича.

Они помолчали и выпили без тоста.

Сын рассказал о себе, но совсем коротко: холостой, много работает, живёт в ближнем Подмоскowie. Там у него неплохая избёнка.

После следующего тоста («Чтоб всё путём!») Алексей потёр кольцо об кольцо и проговорил:

– Ещё вот чего, батя... Завтра я к тебе по утрянке подскочу, и мы прокатимся в лабораторию, сдадим кровь на ДНК. Мать, конечно, зря бы не стала такое говорить, тем более перед кончиной, но всё ж таки давай убедимся, раз это можно точно доказать. Сам понимаешь: обстоятельства у нас с тобою – судьбоносные.

Он согласился: ДНК – так ДНК...

Анализ подтвердил: да, Алексей – его сын.

Результаты судьбоносного анализа отпраздновали бутылкой «Хеннеси» и ужином, который доставили из французского ресторана в сыновнюю «избёнку», которая оказалась крытым позолоченной черепицей трёхэтажным кирпичным замком со стенами метровой толщины, с зубчатой башенкой и с громадным балконом, обнесённым решёткой в виде переплетения кованых дубовых веток. Кушали и пили за овальным столом с мозаичной столешницей.

В эту самую «избёнку» Алексей забрал отца, как только подошёл его пенсионный возраст:

– Чтоб ты, батя, больше не уродовался ни на какой работе, – наливая отцу и себе «Хеннеси», говорил Алексей. – А насчёт твоего материального положения – не парься: я обеспечу всё, что тебе надо и не надо. Ну, за новоселье твоё!

Его квартиру в Мнёвниках снял какой-то знакомый сына. Деньги от «снячи» шли «бате на мелочню». Жили они вдвоём, не считая услуги. Мартышек и Пупсят, то есть своих худеньких и пухленьких любовниц, сын никогда не привозил в «избёнку». «В этом смысле Лёшка пошёл в меня, – не без гордости думал он. – Кровь есть кровь».

...Сам он тоже не приводит домой свою нынешнюю пассию Маргариту Петровну, которая последние пять лет была его замом, а

после его ухода на пенсию стала директором Дворца Культуры. Они встречаются в его – вернее, теперь уже в её – кабинете. Маргарита Петровна, что называется, не девочка: она моложе его всего на десять лет, но её карие глаза всё ещё очень живые, и в целом она выглядит вполне аппетитно, наверное, за счёт счастливой генетики, а может, уколы какие-нибудь делает или ещё что-нибудь. Но это не его дело.

Кем работал Алексей, чем занимался, он так и не узнал. На прямой вопрос сын отшучивался:

– Самим собой, батя, работаю, самим собой. Ты, главное, не переживай.

А он и не переживал: не тот у него характер, чтобы переживать за других.

Обретение «родной каплюхи крови» и барские условия ни в коей мере не вернули утраченного чувства жизни, он по-прежнему существовал на автопилоте.

Когда в особняке появился компьютер, в отличие от большинства сверстников, отнёсся к нему с интересом. Видя такое дело, Алексей нанял парня, чтоб научил отца пользоваться Интернетом.

Едва освоив азы, он первым делом набрал в Яндексе: «П.П. Андриевский «Купальщица». И... ОНА появилась! Сильно заколотилось сердце. Он сунул под язык валидол, полежал немного и вернулся за компьютер. Да, это ОНА. Но совсем малюсенькая.

Он долго соображал, как растянуть картину на весь экран. И, в конце концов, получилось.

Скинув домашние полусапожки из натуральной ламы, он попробовал залезть в экран монитора. Но не смог. Тогда он прочёл всю имеющуюся в Яндексе информацию о «Купальщице» П. П. Андриевского.

Прочитанное вызвало новый приступ учащённого сердцебиения.

Значит, ОНА в Питере. В галерее «Квадратура круга». А вот и цена. Ого! Выходит, он не ошибся, когда внушал этой овце, теще, что «Купальщица» со временем будет стоять целое состояние.

Но по поводу высокой цены он не стал переживать. Был уверен: Лёшка даст. Он сто раз говорил: «проси, чего захочешь, всё тебе дам».

Но сын не дал денег на приобретение «Купальщицы». Он жалостливо, как на пацанёнка-несмышлёныша, посмотрел на отца и, вздохнув, отказал:

– Батя, поверь, мне для тебя никакого бабла не жалко, но это ж каля-маля какая-то!

Конечно, можно ездить в Питер, как он когда-то ездил в Гордянск, но здоровье уже не то. А, кроме того, остаётся опасность, что «Купальщицу» могут купить в его отсутствие. Даже, если посчастливится, и её купят при нём, это не спасёт положения: не будет же он, в его возрасте, набиваться с услугами, да и что он теперь может? Нет, надо придумать что-то другое.

И придумал: надо будет заявить на эту галерею, что они торгуют краденой картиной. А когда её вернут в Гордянский музей, он туда переедет. Снимет квартиру в Гордянске на деньги от сдачи своей квартиры в Мнёвниках. Ещё и на домработницу останется: цены-то на квартиры в Москве и в Гордянске несравнимы. А может, Лариса Борисовна ещё жива и одинока. Тогда и квартиру снимать не понадобится, и домработница станет не нужна. Так что денег будет достаточно, чтобы обеспечить и себя, и её. Конечно, придётся расстаться с Маргаритой Петровной, но что делать. «А Лёшка будет переживать, что опять остался без отца, – с долей злорадства подумал он. – Что ж, сам виноват. Если так нужен отец, не надо было отказывать ему в просьбе. Тем более, что это была его единственная просьба за все пятнадцать лет».

Оставалось решить, куда лучше заявить о местонахождении украденной картины: в Гордянское ОВД, или в Федеральную Прокуратуру.

Пока он над этим думал, убили сына.

Алексея застрелили двумя выстрелами – в сердце и в голову. Никто не сомневался в том, что его заказали, но ни заказчика, ни исполнителя не нашли. На похороны съехалось много народу, большинство – крепкотелые мужчины на дорогих иномарках.

Нельзя сказать, что смерть сына его потрясла: особых чувств он к нему не питал. Но всё равно он сколько-то переживал: сын как никак. Однако даже этих неглубоких переживаний хватило, чтобы сердце, которое и так никуда не годилось, окончательно сдало.

Наследство он получил нешуточное: крупная сумма на счету в Сбербанке, три автомобиля, гараж со всеми современными прибабасами, «избёнка», трёхкомнатная квартира в Москве и домик на берегу моря в Черногории. Лёшка всё это ему отписал по завещанию. Осталась ему и наличность – тоже немалая – которая ле-

жала дома в сейфе. Сын в завещании велел ему, в случае своей смерти, вынуть из большого синего альбома свою фотку, где он на горной реке удит форель, и вставить эту фотку в рамку.

Когда он достал эту фотку из альбома, на обороте обнаружилась записка: «Батя, никаких рамок не надо, это я на всякий случай следы запутал. Цифры, которые я написал здесь, внизу,— это комбинация, чтоб открыть сейф. Если меня грохнут или ещё чего случится со мной – открой сейф и забери наличку. Там много. Тебе пригодится. Понял? Лёшка». И дальше действительно стояли цифры. Он открыл сейф. Денег там оказалось действительно много.

...Он ничего не стал откладывать. А куда откладывать? На днях стукнет семьдесят пять, а с его сердцем не приходится рассчитывать на долгожительство.

Он набил кейс купюрами и поехал в Питер.

Возвращался в ночном поезде, и хоть в купе СВ он был один (купил оба места), заснуть не смог: слишком много эмоций. Подумал было шагнуть в картину прямо из купе, но жалко было разочаривать: уж очень надёжно упаковали.

И вот он дома. И вот он в картине. Как молоденький сиганул туда прямо с дивана, лишь только Галя вышла. Погода здесь – как на заказ: ни жарко, ни холодно, ни душно, ни ветрено, не сыро, но и не слишком сухо. И свет приятный, успокаивающий: так бывает в конце августа ясным ранним вечером. Где-то поблизости играет радиола и голос, от которого ещё в детстве у него замирало сердце, поёт:

День погас, и в золотой дали
Вечер лёг синей птицей на залив.
И закат, догорая, шлёт земле
Прощальный свой привет.

Танго «Над заливом». Да, оно. Значит, он правильно догадался, что на картине именно залив.

...Сразу после войны – и какое-то время потом – во дворе по вечерам молодёжь танцевала под радиолу. Он специально не засыпал, пока не исполнят танго «Над заливом». Его заводили всегда под конец. Он почему-то представлял себе певицу в виде крестовой дамы из материной колоды (мать иногда гадала на себя). Но у матери крестовая дама была замусоленная, а та, что ему представлялась, блестела, как новенькая; белые пальчики, обведённые чёрным, сжимают стебелёк цветка, похожего на тюльпан, но не

тюльпан, а какой-то, наверное, сказочный цветок; неподвижные глаза глядят куда-то, мимо всего, и только губы шевелятся: она ж поёт... Он понимал, что это чушь, но всё равно было страшно. И вроде как сладко. И обидно, что она поёт не ему, а какому-то мужику:

Без меня не забывай меня,
Без меня не погаси в душе огня,
Будет ночь, и будет новая луна,
Нас будет ждать она.

...Купальщица стояла в своей обычной позе. На этот раз он поздоровался с ней словами из танго «Над заливом»:

В этот час, волшебный час любви,
В первый раз меня любимым назови,
Подарю тебе все звёзды и луну,
Люблю тебя одну!

Он обращался к ней, поэтому вместо «меня любимой назови» спел «меня любимым назови», а вместо «подари ты мне все звёзды и луну, люби меня одну» – «подарю тебе все звёзды и луну, люблю тебя одну».

ОНА, как всегда теперь, приветливо помахала ему рукой.

Между тем, в картине стемнело, а небо покрылось звёздами. Именно покрылось: потому что их высыпало столько, что самого неба не стало видно. Откуда-то сбоку выкатилась полная луна, и через залив пролегла лунная дорожка. Его неудержимо потянуло поплыть по этой дорожке. Он прекрасно понимал, что с его больным сердцем лучше не плавать, но рискнул. Однако ноги никак не могли погрузиться в воду. Убедившись, что все попытки бесполезны, он попробовал сделать шаг и почувствовал под собой опору, правда, не такую, как земля или пол, но тоже вполне надёжную.

Лунная дорожка продолжилась внутри грота. Он шёл по ней, пока не оказался перед дверью, которой раньше там не было. И всё-таки эта дверь была ему почему-то знакома. Он уже видел её много раз. Это абсолютно точно. Ну, конечно! Это ж дверь в Славкину квартиру! А вот и звонок, тот самый, фигурный золотистый...

Он позвонил.

Дверь открылась. Но почему за ней вместо прихожей – луг. Трава на нём коротенькая, густая, яркая. В ней желтеют одуванчики. На лугу расстелена бордовая плюшевая скатерть, а на ней располо-

жились Славкины родители. Отец скрестил ноги по-турецки и курит папиросу; мать лежит на боку, эффектно выпятив бедро, и, не топясь, снимает фантик с шоколадной конфеты «Белочка». Рядом стоит Славка и лыбится во всю свою круглую рожицу. Все трое выглядят как в тот день, когда он первый раз пришёл к ним домой. У Славки в руке бутерброд: полсайки с маслом и толстым куском докторской колбасы, густо намазанной горчицей. Знакомый бутерброд. Когда они учились в шестом классе, Славка отдал ему точно такой же, хотя и сам хотел жрать. В то утро мать поругалась с соседкой, а та со злости выложила ему правду-матку насчёт отца: что тот – никакой не лётчик-испытатель, а что мать нагуляла его незнамо от кого. Он, понятное дело, расстроился, ходил целый день с опущенной от стыда головой, и Славка, хоть и не знал, в чём дело, понял, что он переживает, и чтоб утешить отдал свой бутерброд.

Славка протягивает ему бутерброд и напевает:

Ты, пацан, не забывай меня.

– Не забуду, – шепчет он и замечает неподалёку жаккардовое покрывало с материной кровати. На покрывале сидит, разувшись, мать (босоножки аккуратно поставила рядом на траву). Она наряжена в единственное за всю её жизнь красивое платье из крепдешина: по бордовому фону – гроздь белой сирени, зелёные листья и розовые розочки. На шее у неё – бусы из синего чешского стекла. На голове – венок из одуванчиков. Она молодая и очень даже хорошенькая. Как он мог этого не замечать? Хотя, что с пацана возмётся...

Мать ласково смотрит на него и поёт:

Ты, сынок, не забывай меня,

Без меня, не забывай, сынок, меня...

Он бы к ней подошёл, посидели бы вместе, сказал бы ей, наконец, какая она симпатичная женщина, да сесть там некуда: с ней на покрывале куча народу, в основном, женщины с фабрики. Они болтают, смеются, пьют молоко из толстых стеклянных бутылок (видно, выдали за вредность).

Почти вплитык к материному покрывалу лежит одеяло, пошитое из пёстрых лоскутков. Говорят, теперь такие одеяла в моде, а раньше их по бедности мастерили в деревнях. Одеяло это до того длинное и широкое, что могло бы попасть в книгу рекордов Гиннеса. И народу на нём целая толпа. Люди сидят, лежат, прохаживаются,

некоторые читают книги или газеты, некоторые танцуют под магнитофон. Человек тридцать построились и поют хором песню «Вечерний звон». Он смотрит на этих людей и понимает, что каждого уже когда-то встречал: одних – в транспорте, других – во Дворце Культуры, третьих на Гордянском рынке, остальных ещё где-то. Он и не подозревал, что помнит их всех. Они машут ему, улыбаются. Похоже, и они помнят его.

Луг какой-то бескрайний. И куда ни глянь – всюду разостланы скатерти, покрывала, одеяла, ковры, куски ткани, куски плёнки. И везде отдыхают компании. Он бродит между этими компаниями, и трава приятно пружинит под ногами.

Но что это? Как это? Он глазам своим не верит!

...На голубом пикейном одеяле пируют все его любовницы, включая женщину из Ульяновска, Лёшину мать. Отсутствует только Маргарита Петровна. Они о чём-то весело, дружелюбно щебечут, с аппетитом кушают и выпивают. Чего только у них нет! По всему одеялу расставлены вазы с виноградом, гранатами, грушами, киви, бананами, апельсинами, грейпфрутами, манго и ещё какими-то фруктами, названий которых он не знает. Между вазами – длинные блюда с домашними закусками; супницы с ароматными супами, бутылки с красными и белыми винами.

Дружным хором женщины поют:

Пусть ночь плывёт над водой молодой луною.

Пусть самой яркой звездой будет наша любовь.

Приветливыми жестами они приглашают присоединиться.

Он растроган. Да, именно растроган. Раньше он такого за собой не замечал. Он хочет сказать им всем что-нибудь хорошее, но что-то заставляет его идти дальше.

Вот знакомый персидский ковёр семнадцатого века, а на нём, за тульским самоваром девятнадцатого века пьют чай из гарднеровских чашек и курят «Фемину» продавщицы Арбатского комиссионного магазина. И директор с ними.

– Без меня не забывай меня...

– роскошным меццо-сопрано выводит Нина Захаровна. А Людмила Петровна и Ирина Николаевна подхватывают:

– Без меня не погаси в душе огня!

В его душе словно бы и в самом деле взметнулся вдруг огонь и болезненно обжёг сердце.

А, может, обожгла мысль: «Как мог я не пойти к ней на кремацию!»

Ерунда всё это, Вовик, ерунда,

Не печалься, только помни нас всегда,

– пропела Нина Захаровна и выпустила ему в лицо приятный дымок. Сквозь этот дымок он ничего не видит, но продолжает идти по лугу и слышит звенящий от романтического чувства слабенький голосишко Мелисанды:

Хорошо, что ты меня нашёл,

Хорошо, что о любви мне говоришь,

Хорошо, что ты в глаза мои глядишь,

Мне так легко с тобой!

Опять болезненный ожог...

Но боль быстро проходит. Остаётся что-то вроде умиления. Тоже, прямо скажем, новое для него чувство.

Тем временем, дымок от сигареты Нины Захаровны рассеивается. Теперь он видит свою бывшую супругу. Она сидит на допотопной, побитой молью шали с поблекшими от времени розами и георгинами, а с ней – Генриетта Леопольдовна, Корделия Вениаминовна и старик, который купил у них «Купальщицу». Они пьют «Советское шампанское» и закусывают пирожными «корзиночка». Увидев его, они поднимают бокалы.

– Батя, – окликает его голос Алексея.

Он оборачивается. Лёшка! Живой! Только во лбу дырочка. Лежит себе, полёживает на шкуре белого медведя, а в каждой руке – по фужеру “Хеннеси”.

– Узнаёшь фужерчики, батя? – говорит Алексей.

– Да. Фужеры из моего кабинета.

– Ага. Точняк. Помнишь, как мы с тобой пили из них за нашу судьбоносную встречу?

– Конечно, помню ... – шепчет он (громко говорить почему-то не получается).

– Давай за встречу, – предлагает Лёша.

Он берёт у сына из рук фужер, хочет чокнуться.

– Не надо, батя, – говорит Лёшка, – выпьем не чокаясь.

Выпили.

Лёшка пропел:

Хорошо, что я тебя нашёл.

А он и не знал, что у сына такой красивый баритон.

Ровное, мягкое тепло заполняет всё его существо, и такая охватывает лень, что пальцы не хотят ничего держать, и фужер беззвучно падает в траву.

– Всё нормальненько, Владимир Алексеевич! Лежите спокойненько, отдыхайте, сейчас сделаем укольчик, вызовем скорую, и всё будет у нас тип-топчик, – слышит он голос медсестры Гали. Значит, и она здесь. Но почему он её не видит? И почему она сказала «лежите», когда он стоит? Он чувствует, что она над ним наклонилась, и, неожиданно для самого себя, прошептал:

– Как только помру – сразу забирай из сейфа всю наличность. Немножко дашь охраннику и шофёру. Остальное оставь себе. Родственникам сына и без этого хватит. Запоминай комбинацию...

Он называет цифры.

– Что вы, зачем! Всё будет хорошо, – говорит Галя. – Сейчас приедут врачи...

Кто-то подошёл, нежно коснулся его руки, и женский голос неземной красоты произнёс:

– Хорошо, что ты меня нашёл, Владимир.

– Это ты... вы? – шепчет он.

– Да, это я, Купальщица. Можешь называть меня на ты.

Ох, как забушевал в душе огонь! Он понимает: ни коже, ни мышцам – тем более старческим – такого огня не удержать: неизбежно прорвётся наружу. И прорывается... ух, как больно!

– Ты обязательно увидишь моё лицо, – говорит она. – Только чуть погодя, когда всё будет позади.

Её слова так успокоили его, что он перестал чувствовать боль. Он и тело своё перестал чувствовать: как будто вместо тела у него теперь сплошной телячий восторг. Возникла мысль: может, я умер? И ещё одна: а если и умер, что в этом плохого? Настроение прекрасное, болевых ощущений нет, а, главное, ОНА обещала, что я увижу её лицо.

Яков Шехтер

ВЕДЬМА НА ИОРДАНЕ

(журнальный вариант)

Эта история могла бы показаться невероятной, если б не произошла на самом деле. Известны имена участников, место их проживания, точное время случившегося. И, тем не менее, события представляются странной небывальщиной, выдумкой гораздого на побасенки сочинителя. Но это было, причем именно так, как я сейчас опишу. Не торопясь, во всех подробностях, не опуская ни одной мелочи. И пусть этот рассказ послужит еще одним доказательством удивительности нашего мира, который многим представляется плоским и примитивно устроенным, а на самом деле до облаков наполненным диковинными тайнами, большую часть которых нам не дано разгадать.

Там, где Иордан, сбегая с Хермона, втискивает бурные воды свои в узкое русло, прорезающее долину Хула, тянутся к небу маляхитовые кроны деревьев, а под их сенью буйно и пышно живет дикая зелень. Шумит на перекатах Иордан, шумит, словно сердится, короток его век, каких-нибудь три десятка километров, и вот уже озеро – Кинерет. На другой его стороне снова рождается река, но, успокоенная озерным простором, уже не спеша, без кипения и страсти, важно катит до самого Мертвого моря.

В долине Хула Иордан еще молод, полон живучей энергии; выплескивая ее избытки вместе с брызгами и пеной, щедро питает он колючий кустарник, оплетающий вдоль берегов влажную землю. На вершинах деревьев устраивают гнезда аисты, скачут по ветвям вечно голодные вороны, вступая в драку с изумрудными попугаями. В тени остро и горько пахнут каперсами и редким листом-падалицей.

Невелик Иордан, куда ему тягаться с могучими реками Сибири, полноводным Дунаем, бесконечной Амазонкой или серо-коричневым, как пепел кремации, великим Гангом. Но так уж сложилась история человечества, что именно эта скромная, почти незаметная речушка поднимает в сердце волну восторга. Фраза – я купался в Миссисипи – звучит достойно и привлекательно, но разве можно сравнить ее с воздействием, которые оказывают на душу просвещенного человека четыре простых слова: я окунался в Иордан.

Километрах в пяти от того места, где река впадает в озеро, предприимчивый Дима Волков нашел для своей семьи жилье и работу. Оказавшись по какой-то случайной надобности на берегу Иордана, он несколько минут глядел на пробегающую мимо воду, затем припомнил байдарочно-студенческое лето на Каме, и в его голове, словно высвеченное театральным прожектором, вспыхнуло видение: оранжевые резиновые лодки, плывущие по реке.

А в лодках туристы, с веслами в руках. Много туристов: важные мужчины, женщины в цветастых купальниках, визжащие от восторга дети. И каждый купил билетик, дающий право на часовое катанье по Иордану. А деньги заплатил ему, Диме.

Он запрокинул вверх голову, от чего кожа на загорелой шее натянулась, а двойной подбородок почти исчез, и почувствовал себя первопроходцем. Черт побери, почти Петром Первым, закладывающим город на бреге пустынной реки. Ну, честно говоря, масштабы в долине Хула были совсем не те, а назвать берега Иордана пустынными мог только человек, ничего вокруг себя не замечающий, и, тем не менее, аналогия явно напрашивалась. Кроме того, речь шла не о городе, а всего лишь о процветающем бизнесе.

Видение мелькнуло и пропало, но Дима опрометью бросился вдогонку. Нет преграды на свете, способной устоять против желания увлеченного человека. Устремившись всем своим массивным, многопудовым телом вслед за мечтой, Волков подписал арендное соглашение с кибуцем, владевшим берегами реки. Напор и натиск, плюс природное обаяние помогли ему очаровать правление сельскохозяйственной коммуны. Ссуду в банке под обзаведение каяками – так здесь называли резиновые лодки – кибуц взял на себя. А Дима получил исключительное право в ближайшие три года эксплуатировать им же открытую золотую жилу.

Кибуц требовал лишь одного – регулярно вносить арендную плату. Есть туристы, нет туристов, большой доход получился или маленький – правление совершенно не заботило. Убытки Волков покрывал из собственного кармана, за что получал право складывать в тот же самый карман дополнительную прибыль, буде такая образуется.

Арендная плата выглядела внушительно, но была вполне реальной. Быстро прикинув хвост к носу, Дима подсчитал, что даже после отчисления сей круглой, с румяными щечками суммы на счет кибуца ему перепадает очень жирный кус. Правда, для этого необходимо потрудиться. Крепко потрудиться.

И он потрудился. Жена Димы, пышная, под стать мужу, брюнетка Света жаловалась соседкам:

– У меня в доме нет ни мужа, ни помощника, ни друга, ни собседника, ни собутыльника – только бизнесмен.

Зря вы думаете, будто собутыльника Света приплела для красного словца. Вскоре после замужества она обнаружила у мужа неприятную привычку тащиться куда-нибудь вечером на поиски приключений. Диму распирало, энергия искала выхода, часто обращившись зряшными драками со случайными людьми. Став законной совладелецей его судьбы, кошелька, души и тела, Света решительно и бесповоротно пресекла этот дурной гон.

Стоит ли объяснять, почему открытие свое она сделала именно на этой фазе развития супружеских отношений? В школе ей ничего похожего не объясняли, а глупые девчачьи пересуды всегда вызывали у Светы стойкое отвращение. Возможно зря, иначе бы она вовремя сообразила, отчего до женитьбы Дима искал приключений рядом с ней, а после потянулся на чужие поля. Впрочем, Света быстро догадалась, а вернее, почувствовала, что ее поцелуи, колыхающиеся формы и прочие сладостные утехы превратились из редкой награды в пусть роскошную, но все-таки привычную константу.

– Куда тебя несет по вечерам? – трезво и четко спросила она, когда Дима в очередной раз собрался из дома. – Мы всего полгода женаты, рано любовницу заводить!

Она тряхнула головой, шпильки вылетели, и густые черные волосы рассыпались по плечам, тонкой блестящей вуалью закрыв лицо. Света подняла полную руку с ямочкой у локтя и отбросила волосы назад.

– Для чего ты меня мучишь, Димка?

Говорила она спокойно и даже холодно, но в ее голосе звучала столь неподдельная горечь, что Дима испугался. И пусть следующая фраза прозвучит странно и даже войдет в некий конфликт с предыдущими, но Волков действительно любил свою жену, а из дому рвался вовсе не для того, чтобы ей изменять. Он не мог, да и не умел объяснить происходившее с ним и выбрал объяснение, лежащее на самой поверхности.

– Светочка, – развязно, якобы пытаясь скрыть неловкость, произнес он, – видишь ли, милая, как бы это лучше сказать, в общем, твой муж не дурак заложить за воротник. Вовсе не для того, чтобы опьянеть, а для наслаждения вкусом напитка. Чтобы окосеть, пьют водку, а я люблю виски.

Тут он был прав, за время их знакомства и недолгую совместную жизнь она обратила внимание на эту его особенность.

– Руки у тебя красивые, – примиряющим тоном сказал он и прикоснулся указательным пальцем к ямочке на локте. – Так вот, Светочка, вечером я встречаюсь с друзьями, и мы маленько принимаем на грудь. По чуть-чуть, только для расслабления и кайфа.

– Зачем тебе болтаться невесть где, – сказала Света, прижимая второй рукой палец мужа к своему локтю. – Давай будем закладывать вместе.

– Ты будешь пить виски?! – не веря своим ушам, воскликнул Дима. До сих пор ему не удалось уговорить Свету даже на бутылку пива. «Отстань, – обычно отказывалась она, отодвигая в сторону бокал. – Мне и без алкоголя хорошо».

– С тобой буду, – очень серьезно сказала она. – С тобой я все что угодно буду. Лишь бы с тобой.

Дима обнял жену. Камера писательского внимания стыдливо переводит свой взгляд в окно, экран гаснет, и с этого вечера на полке в доме Светы и Димы появляются красивые бутылки с мелодичными названиями Гленморанж, Гленфиддиш, Гленливед. Имена шотландских речушек журчали маняще, обещая прохладу и отдохновение, но от густой, крепкой влаги, наполняющей бутылки, бросало в жар.

Прошло несколько лет, и Света привыкла. Человек выносливое животное, особенно в молодости, какой груз на него ни взвали, похратит, похает и потащит. Поначалу ее хватало лишь на несколько

капель, затем она научилась отпивать глоток, а потом... в общем, слово «собутыльник» было произнесено совсем не зря. Теперь, когда Дима пропадал «на объекте» с утра до позднего вечера, Света все чаще, покончив с делами, извлекала из бара бутылку, устраивала свое роскошное, но одинокое тело на диван, включала телевизор и – эх!

Да что там говорить, если бы судьба осветила их супружество ребеночком, а то и двумя, разве было бы у затурканной матери время и силы напиваться в одиночку? Так что во всем происшедшем обвинять нужно только судьбу, и лишь ее одну, а не людей, которыми она играет, как собака костью.

Весь избыток нерастраченной материнской страсти Света отдала любимому животному. Звали его Франклин – гордого представителя семейства эрдельтерьеров, купленного за большие деньги, сопровождала целая папка бумаг. Родословная у него была не хуже королевской, а может, и лучше, потому что ни один эрдель не принес столько вреда роду человеческому, сколько самовлюбленные дураки с коронами на головах.

Ай, и какая же умная была эта собака! Одного ей не хватало – дара речи. Но Света и Франклин успешно обходились без слов, понимая друг друга с полувзгляда, со свистка, взмаха руки, кивка, прищелкивания пальцев. Его одного она считала настоящим другом, ему одному могла пересказать обиду или похвастаться радостью. Франклин ее понимал, да-да, еще как понимал, выражая свое отношение хвостом, лапами, лаем, скулением и влажным, розовым языком.

За год неустанных трудов Дима сумел поставить дело на ноги. По коричневой, бьющейся реке, залитые солнечным светом, крутясь вокруг собственной оси, скользили пятьдесят оранжевых каяков. Течение приваливало их то к одному берегу, то к другому. Туристы, вмяная в мягко клонившиеся кусты, визжали от восторга и, упираясь в землю веслами, отталкивали свой каяк, неминуемо сталкиваясь с другим, наплывающим сверху. Густо кишевшая в воздухе мошкара испуганно разлеталась, и только серые злые комары упорно висели над водой, безжалостно питаясь веселой туристкой кровью.

Выгоревшие бурые отроги Голанских высот взирали на это игрище с одной стороны, а с другой – в величавом безмолвии на-

блюдали зеленые вершины Галилеи. Горячий ветер пролетал над долиной Хула, горький от полыни, обвинившей развалины замка крестоносцев на отрогах Хермона. Крылатый средиземноморский ветер шевелил острые листья эвкалиптов, тянущихся ровными рядами вдоль дорог, и, жарко прикасаясь к лицам туристов, сушил щеки, вызывая страстное желание насладиться речной прохладой. У места посадки в каяки стояла длинная очередь, и денежки шуршащим потоком лились в кассу.

Плавание занимало около часа, если, конечно, не пристать к берегу и, отыскав мелкое место, не поплескаться в свое удовольствие, наслаждаясь холодной водой. А вода в Иордане, берущем начало свое из подземных ледяных ключей, очень холодная. Даже летом, когда жарко калит землю безжалостное солнце, быстрые потоки помнят о ледяном своем происхождении и до самого Кинерета сохраняют прохладу и свежесть.

Каждому, садящемуся в каяк, обязательно надевали спасательный жилет. Многие так и доплывали в нем до конечной точки маршрута. Перед самой дельтой, когда Иордан слегка разливался, впадая в озеро, с одного берега на другой был переброшен прочный трос, останавливающий каяки. Справа в берегу был вымыт небольшой залив, и там, под сенью могучих эвкалиптов, посаженных еще во время британского мандата, туристы выгружались. Работники, нанятые Димой, ловко затаскивали каяки в небольшой грузовичок и отвозили к месту посадки. Туда же каждый час возвращал туристов маленький автобус – минибус.

В точках выгрузки и посадки Дима поставил ларьки с едой, и туристы дружно купали мороженое, ледяную колу и бутерброды, не обращая внимания на завышенные цены. Речная свежесть и купание подстегивали аппетит, и ларьки приносили доход, сравнимый с доходом от продажи билетов.

За рулем грузовичка, возвращавшего каяки, обычно сидел Чубайс. У него, разумеется, были имя и фамилия, но необъяснимый каприз природы создал его похожим как две капли воды на российского политика. «Две капли воды» телевизионного экрана, разумеется. Доведись им встретиться в жизни, Чубайс Иорданский наверняка весьма бы отличался от Чубайса Кремлевского. Но в долине Хула работника процветающего бизнеса каяков все называли только Чубайсом, а некоторые, особо продвинутые остряки, именно

вали Рыжим Толей. Чубайс Иорданский охотно откликнулся и на имя, и на фамилию, не чувствуя ни дискомфорта, ни затруднений с самоидентификацией.

То ли прозвище оказало обратное воздействие на окружающих, а скорее всего, в силу личных качеств, но Толя Чубайс потихоньку выбился в бригадиры и, никем не будучи назначенным, стал считаться вторым человеком в бизнесе. Когда Дима отсутствовал, что случалось нечасто, но все-таки случалось, именно Чубайс усаживался в конторке возле причала, а свое место за рулем грузовичка передавал кому-нибудь другому. Дима молча выделял его среди работников и относился как к своему заместителю.

Когда встал вопрос о переселении поближе к бизнесу, то вместе с Димой на Иордан перебрался и Чубайс. Правда, свой караванчик – переносной домик – Дима поставил возле точки посадки, а Чубайс – в роще высадки. Так было удобнее вести дела. По долине Хула шныряли галилейские арабы и воровали что под руку попадет. Страховка возвращала стоимость украденного, но не всю и после долгих и тяготных проволочек. Поэтому вместо того, чтобы нанимать сторожей и платить им зарплату из собственного кармана, Дима решил попросту поселиться возле имущества.

Находиться одновременно в двух местах он не мог, а продуктовый ларек в месте высадки каяков, набитый лакомой снедью, притягивал воришек, точно магнит железные опилки. И когда Чубайс вызвался переехать в караванчик рядом с ларьком, чтобы приглядывать за ним и прочим мелким инвентарем, хранящимся в сараюшке на берегу заливчика, Дима по достоинству оценил сей шаг преданности делу. Зарплата Чубайса сразу подскочила, а доверие со стороны владельца бизнеса выросло до небес.

Но если Диму и Свету смена места жительства обременила лишь дополнительными разъездами, то семья Чубайса – жена Люда и дочка Ляля – оказались пусть и в весьма романтической эвкалиптовой роще, но все-таки у черта на куличках. Дочку Лялю каждый день приходилось возить в детский садик и обратно. Все стало далеко: магазины, кафе, парикмахерские, в любое место нужно было выезжать специально. Что тут говорить, жизнь на отшибе – не самое приятное событие в судьбе молодой женщины.

Белокурую красотку Люду Чубайс вывез из зауральской глубинки. В городок Шадринск его занесло по какому-то делу. По какому

именно, он уже не мог вспомнить, ведь вся его российская жизнь представляла собой одно сплошное дело. Попади оно в руки прокурора, Чубайс непременно бы оказался за решеткой, впрочем, как и любой другой человек, вращающий колеса малого бизнеса на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока. В европейскую часть Толя даже не совался, там все уже было схвачено крепкой мозолистой рукой братков и лиц кавказской национальности, а вот на бескрайних просторах, как ему представлялось, еще оставались ниши, куда можно было ввинтиться в поисках достойного пропитания. В конечном итоге все ниши и там оказались занятыми, и Чубайс, вспомнив о своей еврейской маме, спасся от долговых обязательств в далеком Израиле. Разумеется, кредиторы искали его и под средиземноморским солнцем, поэтому работа и проживание на пустынном берегу Иордана подходили беглецу как нельзя лучше.

Люда оказалась застенчивой провинциалкой, скромной нецелованной девушкой, мечтающей о суженом на белом лимузине. Лимузина у Чубайса пока не было, но зато он умел красиво говорить, а женское сердце, как известно, покоряет не внешность, не слава и даже не кошелек, а язык.

Прежде чем познакомить претендента с родителями, Люда проинесла несколько фраз, повергших Толю в полное изумление.

– Я хочу, чтобы ты знал с самого начала. Вдруг тебе это покажется неудобным или зазорным. Поэтому говорю сейчас, до первого поцелуя: моя мама – еврейка.

Если бы Люда врезала Чубайсу изо всех сил под ложечку, вряд ли бы ей удалось достичь большего эффекта. Толя открыл рот, часто заморгал и только спустя несколько секунд сумел вымолвить:

– А-а-а, собственно, каким образом?

– Моя бабушка, – пояснила, отодвигаясь, Людмила, перепутавшая изумление с презрением, – дочка раскулаченного литовца. Его семью выслали за Урал в сороковом году.

– Ну, и... – промычал не улавливающий связи Чубайс.

– Чо «ну»? Его жена была еврейкой! Они все умерли в сорок третьем, от тифа. А бабушку воспитали в детском доме.

– Но ведь она литовка, а не еврейка!

– Кто-то в детском доме записал ее еврейкой, по матери. Замуж она вышла за русского, и мой папа тоже русский. Но все равно я хочу, чтобы ты знал.

– Да что мне знать, – вскричал Чубайс, – у меня самого такая же история!

– Чо-чо? – точно не расслышав, переспросила Люда.

– Папа русский, а мама еврейка, вот что! Мы с тобой одного поля ягоды. Одной крови, ты и я!

Но счастьем с молодой женой Чубайс наслаждался недолго. Потянула его тугая тоска, сжимающая сердце, потянула на новых красавиц, и, не привыкший себя сдерживать, потакающий своим желаниям, быстро загорающийся, точно бенгальский огонь, спустя полгода супружеской жизни он начал изменять Люде. Не по-серьезному, раз с одной, раз с другой. Возможности открывались всякие, женщин много есть на свете, и любую он хотел, ни одну не пропустил.

Тяжелая судьба и нелегкая ноша. Оковы собственных желаний – самые обременительные предметы на свете. Родись Чубайс в другое время и в другой семье, с ним бы, наверное, говорили о самодисциплине, об элементарной порядочности, минимальной чистоплотности, не говоря уже о борьбе со злом, но понятие греха, упраздненное советской властью, не спешило вернуться на просторы российской культуры.

Где-то вещали священники, облаченные в язычески пышные одежды, о чем-то талдычили деятели искусства с тусклыми глазами наркоманов, но масса народа, частью которой был Чубайс, продолжала пребывать в пространстве полной вседозволенности. Что сорвал, то твое, а не пойман – не вор. Не научили жить, не научили!

Измены свои Толя тщательно скрывал. Улик не было, но женское сердце – самый чуткий детектор лжи. Люда быстро почувствовала: в их семье что-то не заладилось. Что именно, она понять не сумела, Чубайс ловко маскировался и врал напропалую, но прошел год, за ним другой, Люде представился случай, и... она не устояла.

Течение жизни размывает самую твердую почву, а уж то, что изначально некрепко, быстро крошится и летит в бездну вверх корешками. Постепенно застенчивость нецелованной провинциалки отошла в сторону, а развязность и опытность, теперь уже не кажущиеся, но подлинные, заработанные жарким трудом, полностью овладели Людиным характером.

« Вот же стерва! – иногда в сердцах думал Чубайс, – и откуда такая взялась?! Ведь девочкой брал, чистой, как оконное стекло!»

Ему даже в голову не приходило, что он и есть причина Людиной развратности. Впрочем, если бы такая мысль и посетила его голову, время для перемен было безвозвратно упущено. Дерево выросло вкось, и выправить покривившийся ствол не было никаких возможностей. Только спилить.

Да, самым простым выходом был развод, но... кто мог гарантировать, что другая жена не окажется еще большей стервой? Кроме того, жизненные коллизии крепко прибили их к пустынному берегу Иордана, и Чубайс пока боялся резких поворотов. Нужно было отлежаться, скопить денег, осмотреться, а лишь потом разворачиваться для нового прыжка. Куда прыгать, зачем и с какой целью, он пока не знал, его давила и гнала все та же тугая тоска, то же тесное томление, не дающее покоя ни сердцу, ни мочеполовой системе, ни душе.

Так и жила эта странная парочка: эффектная молодая женщина, ее ловкий, подтянутый муж и очаровательное дитя шести лет, для которого пока самые главные и лучшие люди на свете были мама и папа.

* * *

Как облако закрывает собою солнце, так в длинные августовские дни покрывали Иордан толпы религиозных. Называли их харидеями, что в переводе значит – трепещущие. Имелось в виду, будто публика сия трепещет перед Всевышним. Так оно или не так, разобрать сложно, поскольку отношения с высшей силой дело глубоко интимное, недоступное посторонним взорам. Но бизнес Димы Волкова харидеиствующих туристов повергал в самый настоящий трепет.

Когда августовское солнце достигало вершины переносимого человеческим организмом зноя, в учебных заведениях – ешивах и колелях – объявляли трехнедельный отпуск, и тысячи харидеев с женами, детьми и плачущими младенцами забирались в каяки. Утомленные книгами глаза просили отдыха, и отдых, блаженный отдых на воде приходил, обволакивая душу покоем.

«Пингины» – так именовал харидеев Чубайс из-за их непонятной нормальному сознанию привычки в любую погоду надевать черные костюмы и белые рубашки. Сам Чубайс, экипированный наилегчайшим образом – короткие шорты, белая хлопковая фут-

болка и вьетнамки – тяжело страдал от жары. Он и представить себе не мог, что ощущает существо, облаченное в майку, шерстяную накидку с длинными кисточками, белую рубашку, черный пиджак и шляпу. Просто самоубийство какое-то! Лишь хладнокровное животное, родом из страны льдов и влекущее за собой, вернее, внутри себя шлейф арктического холода, было способно так наряжаться в сорокаградусной парилке Средиземноморья.

Волны религиозной публики захлестывали скромный бизнес Волкова. Так покрывают прибрежные утесы морские валы: наливаются силой, вздымаются, несутся, поднимаясь все выше и выше, несутся, несутся, пока не падают, погребая утес.

Мир под бутылкочно-зеленым слоем воды замирает, будто говоря: вот и все, ребята, кончилось ваше время. Но волна проходит, пучась и подрагивая, ее масса в пузырьках пены с шумом опадает где-то там за спиной и снова выступает над поверхностью вершина утеса, и все звучней, все мощнее и громче стучит сердце: а вот и не все!

В период нашествия «пингинов» бизнес на Иордане работал с восхода до заката. Очередь к причалу не уменьшалась, дети носились по берегу, от нетерпения карабкаясь на деревья, младенцы орали, матери громко призывали их успокоиться, в общем, гвалт стоял невообразимый. Света полдня сидела на кассе, потом передавала смену и шла в караванчик, готовить обед и ужин и просто отдыхать. Окна приходилось запирать наглухо, иначе от «пингвиньего» писка и гомона впору было одуреть. Чтобы не задохнуться, Света включала на полную мощность кондиционер, ставила музыку, задергивала плотнее занавески и спустя пять минут, когда холодный воздух наполнял караванчик до потолка, покрытого желтыми моющимися обоями, изображающими доски, чувствовала себя почти счастливой.

На Диму нашествие арктических пришельцев действовало раздражающе. Он совсем не понимал эту публику. От его образа жизни, его понимания мира и того, как требовалось себя в нем вести, харидеев отделяло расстояние, пожалуй, большее, чем от Иордана до Антарктики. С одной стороны, он радовался наплыву клиентов и даже завез в ларьки сласти, употребляемые «пингвиньим» молодежком. Ведь каждая монетка, полученная сверх арендной платы, шла в его карман.

С другой стороны, постоянно пребывать под изучающим вниманием тысяч чужих глаз, было тяжеловато. Харидеи смотрели на Диму как на диковинное насекомое, надевшее соломенную шляпу и научившееся говорить. Толпа, безропотно выстроившаяся в очередь, от нечего делать разглядывала Диму, главного распорядителя посадки на каяки. Изо дня в день, изо дня в день. И нигде и ни с кем Дима не ощущал такой пропастной разделенности. Было от чего нервничать.

Сияло солнце, в густой синеве неба с криком носились над Иорданом пронзительно белые чайки, а на загорелой Диминой шее все сильнее трепетала непокорная жилка. Пытаясь успокоить, он то и дело придавливал ее пальцем, и она на какое-то время послушно замирала, словно испугавшись нажима, но скоро вновь выходила из повиновения.

Единственным существом, равнодушно относившимся к нашествию «пингинов», был Франклин. Он важно разгуливал между стволами эвкалиптов, безропотно снося поглаживания и почесывания. Когда пингвиньи детеныши окружали его особо плотным кольцом и, протягивая ручонки, пытались одновременно ухватить за ухо, за шерсть, за хвост, за что попало, он широко распахивал пасть, демонстрируя желтоватые клыки, и рычал, не зло, но упреждающе. Кольцо мгновенно распадалось, и Франклин, гордо подняв хвост, дефилировал между расступившимися детьми.

С чувством исполненного долга он заваливался где-нибудь в теньке, вздремнуть пару часиков, а скучающая малышня в поисках развлечения продолжала рыскать по территории станции. Да, станции, потому что, спасаясь от воров, Дима огородил сарай, в котором хранились каяки, ларек с продуктами и свой караванчик высоким проволочным забором. Патентованная проволока была чрезвычайно прочной, ее невозможно было просто так перерезать или перекусить. Подобного рода операции потребовали бы значительного приложения усилий и, следовательно, шума, который, несомненно, привлек бы внимание Димы.

В один из дней произошел случай, на первый взгляд незначительный, но оказавший большое влияние на нашу историю. Собственно, без него никакой бы истории вовсе не произошло.

Харидеяствующий «пингвиненок» от молодого ухарства полез по голому стволу эвкалипта, нависающего над рекой. Как ему удалось

забраться на высоту пяти метров, Дима так и не сумел понять. Наверно, гибкие пальчики и юные ступни сумели отыскать опору на самых малоприметных выступах ствола, с которых нога взрослого человека соскользнет, не задерживаясь. Под восторженные вопли других «пингвинят» и истошный крик мамыши он стал перебираться со ствола на ветку, но сорвался и с воем полетел прямо в реку. Плавать мальчишка, по всей видимости, не умел, потому что камнем пошел на дно. Глубина Иордана в этом месте плевая, метра два с половиной, и, оттолкнувшись от дна, мальчишка выскочил из воды до плеч, заорал и снова погрузился с головой.

Дима долго не раздумывал: отшвырнув в сторону шляпу, он рыбкой кинулся в реку, вынырнул возле того места, где скрылся мальчишка, снова нырнул, отыскал его под водой и вытащил наружу. Бедолага уже захлебывался, еще несколько секунд и случилось бы непоправимое. Двумя мощными гребками Дима подплыл к берегу, встал на ноги и прижал к себе трепещущее тельце.

Мальчишка закашлялся, потом его вырвало водой, а потом он заорал дурным голосом. Все было в этом крике: и ужас от пережитого, и радость спасения, и боль, и призыв. На призыв тут же примчалась пингвинья мамаша, с белым, точно окаменевшим лицом. Под мышкой она держала совсем маленького пингвинчика, который, невзирая на столь бесцеремонное отношение, флегматично жевал соску.

Вывав утопленника из рук Димы, мамаша обцеловала его мокрые щеки, затем свободной рукой закатила увесистую оплеуху, после чего разрыдалась как ненормальная. Мальчишка тоже завыл, малыш под мышкой выплюнул соску и присоединился к дуэту. В общем, стало весело. Очередь развалилась, сочувствующие и просто любопытные столпились вокруг воющего семейства, а Дима пошел переодеваться.

Спустя десять минут порядок был восстановлен. Когда очередной каяк, блестя мокрыми оранжевыми боками, понес по Иордану вопящих от восторга «пингинов», к Диме подошел харидей средних лет, с длинной, чуть не до пояса, бородой. Его глаза, прикрытые тонкими линзами дорогих очков, смотрели внимательно и спокойно. От него исходила уверенность преуспевающего человека. Дима давно научился распознавать удачников по тону, взгляду и особенно по едва различимой небрежности, которую те позволяли себе в обра-

щении к другим людям, по их, удачников, мнению, располагавшихся ниже на лестнице фортуны. Харидей чуть поклонился в знак признательности и вежливо произнес:

– Я могу поговорить с вами по важному делу?

– Да-да, конечно, – ответил Дима, продолжая готовить следующий каяк. Пренебрежение в голосе удачника практически не ощущалось, но тренированное Димино ухо все же уловило в подчеркнуто вежливой фразе обертон превосходства.

– Вы только что совершили весьма благородный поступок, – произнес харидей, совершенно не обращая внимания на Диминову возню с каяком. Он говорил так, будто собеседник стоял прямо перед ним, ловя каждое слово, и в этой уверенности было, все-таки было нечто унижающее.

– Ну-у-у, – с нарочито безразличным видом промямлил Дима. – Подумаешь... клиента из воды вытащил...

Он не стал объяснять, какие катастрофические последствия для его бизнеса могла вызвать смерть глупого мальчишки. Впрочем, это Дима сообразил потом, прыгая в воду, он не думал ни о деньгах, ни о дурной рекламе, а только о тонущем ребенке.

– Вы спасли жизнь мальчику, – продолжил харидей, засовывая руку в карман, – и благодарность нашей семьи не может быть ничем измерена.

– Да не нужно мне ничего, – буркнул Дима. Ему показалось, будто харидей начнет совать ему деньги. – Главное – жив мальчишка. А вы его отец?

– Нет, просто родственник, – ответил харидей. Он соображал на редкость быстро, уловив Димин намек с полудвижения. – Вы не только отважный, но к тому же и благородный человек, – продолжил он слегка удивленным тоном. – Честно говоря, я не рассчитывал встретить такое посреди вот этого... – И он обвел пренебрежительным жестом каяки, пристань и прочее хозяйство.

Дима слегка разозлился. Он хотел было сказать, что среди неверующих тоже попадаются благородные люди и, весьма вероятно, их число даже превышает число тех, кого харидей считает таковыми в своем пингвиньем стане. Звуки еще не успели сорваться с его уст, как Дима передумал. Зачем ссориться с клиентом? Ведь он хочет, чтобы этот харидей уехал довольным и послал на каяки своих друзей, родственников и соседей. И чтобы все они привезли в клюви-

ках хрустящие ассигнации и потратили их без остатка на билеты, мороженое, кока-колу и всякую дребедень в ларьках.

Поэтому вместо гневной отповеди он просто кивнул и отвернулся, склонившись над каяком. Веревка в носовой проушине, за которую тот вытаскивали из воды, перетерлась и могла лопнуть в любой момент. Нужно было срочно перевязать узел, чем он и занялся.

Однако харидей оказался человеком, способным уловить происходящее в душе собеседника.

– О, – теперь уже по-настоящему уважительно произнес он. – Вы к тому же умеете управлять своими страстями. Качество, присущее настоящему герою.

– Герою? – от удивления Дима распрямылся и бросил веревку. – При чем здесь героизм?

– Так написано в наших святых книгах, – пояснил харидей. – Кто настоящий герой? Тот, кто умеет совладать с обуевающими его страстями.

– Ну-ну, – Дима только головой покачал. – Вы уж простите, – добавил он, снова берясь за веревку, – меня люди ждут. Пора отправлять каяк.

– Да-да, – заторопился харидей. – Собственно говоря, мы уже закончили. Я только хотел добавить одну фразу.

Он замолчал, давая понять собеседнику, что вот сейчас-то и начнется главное, ради которого был затеян весь разговор.

– Я вас внимательно слушаю, – Дима затащил узел, отпустил веревку и встал прямо перед харидеем.

– Мальчик, которого вы спасли, любимый внук самого Рашуля. Так зовут руководителя нашей общины. Рашуль – это сокращение: рабейну, наш учитель, Шмуэль. Понятно?

– Понятно, – безразлично повторил Дима. Ему, честное слово, было все равно, кем оказался мальчишка. Внуком Рашуля или Шмашуля, какая разница, иерархия пингвиньего стада совершенно не интересовала Диму.

– Наш учитель Рашуль известен как большой мудрец и великий чудотворец. Если у вас возникнет осложнение в жизни, не улыбайтесь, всякое бывает, приезжайте к нам в Явниэль. Это совсем недалеко, я секретарь Рашуля и проведу вас к нему без очереди. Вот, – харидей вытащил из кармана портмоне, извлек визитную карточку

и подал Диме. – Положите ее в кошелек. Не пренебрегайте. – Он усмехнулся, давая понять, что увидел первое движение Диминой души. А первым движением было выбросить к чертовой матери этот клочок картона. Он, Дима, поедет к какому-то важному «пингвину» советоваться, просить о помощи! Да скорее горы Галилеи обрушатся в Кинерет!

– Жизнь по-всякому оборачивается, – продолжал харидей, – пусть карточка полежит в вашем кошельке. Мало ли что. Желаю удачи и всего доброго.

Он повернулся и ушел в хвост очереди. Дима, не глядя, сунул визитку в кошелек и спустя десять минут позабыл про Явниэль, Рашуля, харидея и визитку. А вот шустрого мальчонку он запомнил хорошо и спустя пару недель установил на всех деревьях станции проволочные сетки, мешающие юным шалопаям карабкаться по стволу.

* * *

Минуло несколько месяцев. Одним из вечеров, закрыв скрипучие ворота станции, Дима собрался культурно отдохнуть. Отдых заключался в приготовлении мяса на огне. Культура же состояла в том, что составить компанию был приглашен Чубайс с женой и дочкой, поэтому обыкновенная обжираловка после тяжелого трудового дня обретала статус приема гостей.

К мясу, разумеется, прилагалось холодное пиво для дам и ледяная водка для мужчин. Особо страждущих поджидала фляжка хорошего виски, пусть початая, но еще вполне способная удовлетворить средних размеров запрос. Дурманяще пахло нагретой за день землей, сено для пони, недавно заведенных Димой, источало томительный аромат сухой травы. Сами лошадки, на которых в ожидании каяков без усталости катались юные шалопаи, мирно переминались с ноги на ногу в своем загончике. За катание, разумеется, нужно было платить, и эта забава, придуманная для отвлечения «пингвинят» от опасных игрищ, неожиданно оказалась весьма прибыльным делом.

Глухо ворковала вода в Иордане, омывая берега, поросшие бледно-зеленой травой. Чуть ниже станции Дима соорудил купальню, выгородил часть мелководья и поставил на мостках будочку для переодевания. Теперь можно было спокойно войти в реку,

медленно протискивающуюся через частокол вбитых в дно бревен, искупаться, не опасаясь быть унесенным течением на сотни метров. После купания подняться в будочку, переодеться в сухое и не спеша вернуться на станцию, каждой клеточкой ощущая полноту жизни, ее важное, доброе движение.

Ляле насыпали конфет и дали электронную игрушку. Чубайс ловко раздул мангал, и вскоре манящий запах жареного мяса заструился по станции. Света и Люда настругали салаты, разложили по одноразовым тарелочкам готовые магазинные закуски, накрыли стол прямо на берегу Иордана, и пиршество началось.

Шло хорошо. Да и как может плохо идти горячая, прямо с огня, баранина? Водка согрела сердца и развязала языки. Вечерний туман низко стелился над рекой. Хотелось говорить о чем-то важном, высоком и таинственном.

– А я знаешь, что думаю? – Дима опьянел и говорил с особенным чувством. – Я думаю, что никаких чудес на свете не бывает. Выдумки все это, вранье, бабушкины сказки.

– Я тоже так думал, – ответил Чубайс, закуривая сигарету, – пока сам с чертями не столкнулся.

– С кем не столкнулся? – удивленно воскликнула Света.

– Да не слушай ты его, – рассмеялась Люда. – Ни с кем он не сталкивался. Как выпьет, так начинает эту байку травить.

– А ты не слушай, если надоело, – чуть обиженно бросил Чубайс. – Только вообще это не байка. Я за каждое слово готов ответ держать.

– Где ж ты чертей откопал, – спросил Дима. – С перепою небось?

– Да уж, с перепою. Грамм во рту был, но весьма скудный, прямо скажу, убогий грамм. Вот как все получилось. – Чубайс разлил еще по одной, выпил, зажевал водку кусочком остывшей баранины и, уставившись в Иордан, начал рассказывать.

Он говорил, не глядя на собеседников, словно рассматривая картинку в темной воде:

– Давно это было. Еще в СССР, в Ровенской области. Калымил я тогда в деревне Голубна. Курятник строил с пятью ребятами. Каждый вечер на танцы ходили, семь километров до райцентра туда, семь обратно. Чего по молодости не отчебучишь. Уж не спрашивай, каково было утром вставать, но поднимался и пахал часов двенадцать в полную силу. И-эх, где вы, годы молодые?!

– Да ты еще вовсе не стар, – бросила Света. – Женишок хоть куда.

Чубайс, казалось, пропустил ее слова мимо ушей. Однако у них, как вскоре выяснится, оказалось весьма весомое продолжение, играющее немаловажную роль в нашей истории.

– Как-то раз поругался я на танцах с ребятами. Уж не помню, по какому поводу и с кем именно, скорее всего, просто так, алкоголь разыграл. В общем, обиделся я на приятелей и пошел домой один. Дорога знакомая, много раз хоженная, ночь лунная, да и не поздно еще было, музыка на танцплощадке гремела всюю.

А в Голубну из райцентра две дороги вели, одна покороче, сельский такой шлях, обычная грунтовка, а вторая асфальтовая, но километров на десять длиннее. Мы всегда по короткой ходили, а тут уж не помню почему, но свернул я на длинную дорогу. И ведь не хмельной был, выпил-то чуть-чуть, так портвешка пригубил для начала, а дальше не успел принять, засобачился и свалил.

Не знаю почему, но, как асфальт под ногами почувствовал, на часы глянул, машинально руку поднял и глянул. Как раз луна за тучкой скрылась, с трудом стрелки рассмотрел, поэтому время четко запомнил. Иду себе, иду, минут десять прошло, машины то и дело мимо пролетают, то сюда, то туда. Попутным я рукой машу, аж подпрыгиваю, да никто не подбирает. Почему, мне потом объяснили. Я еще подумал, какое крутое движение в этой глухомани. И чего они все в Голубну ночью прут, совершенно непонятно?!

Делать нечего, топаю себе и топаю и вдруг соображаю, что не по той дороге пошел. Или портвешок выветрился или... не знаю что, только я аж остановился от удивления. Какая нелегкая, думаю, меня сюда занесла! Может, стоит вернуться, чем такого кругалю давать? Подумал и все-таки решил дальше пилить, вдруг-таки найдется добрая душа и подкинет. Да и оттопал уже прилично.

Асфальт на дороге паршивый. Колдобины, трещины, трава дикая вьется по этим трещинам. Я сперва внимания не обратил, а потом, уже утром, допер: если по трассе такое бурное движение, как трава на дороге расти может? Но в тот момент мне это странно не показалось.

Вдруг слышу в ночной тишине чью-то беседу. Двое сзади меня идут вдоль дороги и травят. О чем речь непонятно, слов разобрать не могу. Ну, я обрадовался, попутчики, вместе приятнее топать.

Остановился даже, подождать. Тут как раз машина навстречу, фарами их осветила. Белесые такие фигуры, вроде из тумана, метрах в трехстах от меня. На фоне тополей, что вдоль дороги росли, их хорошо было видно. Выделялись они на фоне листвы, явственно так, четко выделялись. Листва черно-зеленая, а они белесые.

Ну, на белесость эту я внимания не обратил, ночь, свет от фар, мало ли что поблазнится. А вот рост их запомнил, по сравнению с высотой тополей. Запомнил, но тоже значения не придал. Я в тот момент точно пьяный стал. Даже хуже пьяного. Все вижу, все помню, все соображаю, а выводы делаю неправильные. Вот так, видимо, и на дорогу эту меня занесло.

Чубайс наполнил рюмки, одним глотком осушил свою, ухватил ломтик авокадо, обильно политый свежавыжатым соком лимона, и продолжил.

– Только не понравились мне попутчики. Почему, чем, объяснить не могу. Не понравились, и все. Расхотелось их дожидаться, и пошел я себе сам, только чуть быстрее, чем раньше. Иду, а они сзади переговариваются. Шуры-муры, хо-хо да хи-хи. Чуть звук голосов усиливается, то есть нагоняют они меня, так и я ходу набавляю. Прошло минут пять, как шаг мой почти бегом сменился. Спортивная ходьба, да и только!

Шурую, значит, на всю катушку, а внутри что-то шепчет: повернись, повернись еще разок. Ну и почему бы не повернуться, никто же не мешает. И вроде согласен я, и уже почти шею начинаю крутить, да что-то внутри не пускает, не дает, страшится непонятно чего. А шепот в полный голос переходит, повернись, говорит, да повернись же! Но я с четкостью необыкновенной понимаю – нельзя поворачиваться, лопни, задавись, а назад не смотри!

Тут по моей спине пот потек, ручейками натуральными, причем не от ходьбы, а от тоски какой-то необъяснимой. Холодный – точно зимой под душ залез. А внутри уже не голос, а приказ: поворачивайся немедленно, прямо сейчас.

Но я знай себе шурую, только пыль летит. Ничего перед собой не вижу, будто в туман угодил. Наворачиваю, как что есть! Вдруг по ушам криком ударило: «Стой! Руки за голову! Лицом сюда!»

Перешел я на бег и дернул, что было сил. Метров сто успел отмахать, не больше, и вдруг прямо в столб влетел. А на нем знак указательный. Как прочитал я, что на знаке-то написано, так по спине

вместо холодного сразу горячий пот покатился. В жар меня бросило, будто в печьку залез.

– И что же ты прочитал на указателе?– не выдержал Дима, слушавший рассказ Чубайса с иронической улыбкой.

– Деревня Голубна, вот что! Я сразу часы к глазам – сколько времени прошло. Восемь минут! С момента, как на дорогу вышел, до указателя – восемь минут. Я глазам своим не поверил, думаю, указатель неправильный. Думать-то думаю, а внутри точно знаю – нет тут ошибки. Из-за этого и потом прошибло!

Пошел я дальше и скоро в деревне оказался. Вот тут меня дрожь начала бить. Не может человек за восемь минут семнадцать километров отмахать. Хоть пьяный, хоть трезвый, хоть в дурмане, хоть под наркозом. По-любому – не может.

Пришел я на квартиру еле живой от страха. И вроде ничего особенного не случилось, но заломало меня, повело, раскорячило. Хозяйка наша не ждала скорого возвращения и прибирала у нас в комнатах. Жили мы грязно, прямо скажем, так чтоб хоть какой-то порядок поддерживать, маленько башляли хозяйке, и она в наше отсутствие наводила порядок.

«Ты чего такой белый? – спрашивает. – И так рано. Приболел, поди?»

Я рассказал ей, как дело было, она на скамейку молча опустилась, руки к груди своей престарелой прижала и говорит: «Долго жить, сыночка, будешь». – «А почему вы так уверены, мамаша?» – спрашиваю. «Ежли ты от чертей усклизнул, нескоро теперь к тебе смерть подберется». – «Каких еще чертей?» – с усмешечкой спрашиваю – мол, не верю ни в чистую силу, ни в нечистую. И тут у меня перед глазами сама собой картинка недавняя поднялась. Две белесые фигуры на фоне тополей, фарами освещенные. И вот только тогда я сообразил, что ростом они были в половину тополя, то есть метров шесть, если не больше. Бухнулся на скамейку рядом с хозяйкой, ни жив, ни мертв.

«Мамаша, – говорю, а слова изо рта еле лезут, – мамаша, родненькая, выпить у вас не найдется?»– « Сейчас, милай, сейчас, соколик».

Притарабанила бабуля четвертинку водки, я крышку жестяную зубами сорвал и прямо из горлышка высадил. Только зубы по стеклу постукивали.

– А может, ты ее раньше высадил? – предположил Дима. – Припомни, милай! На танцплощадке заглотив, а уже потом в дорогу собрался. Тепленький... Так чертиков и увидел.

– Иди ты! – махнул рукой Чубайс. – Бабка пустую бутылку бережно прибрала и давай рассказывать, что на этой дороге который год люди пропадают. Поэтому по ней только днем на машинах ездят и никогда не останавливаются. Ремонтные работы из-за этого не ведут, ни одного рабочего туда палкой не загонишь. Лет двадцать назад власти уперлись и подрядили бригаду армян-калымщиков асфальт поправить. Только один уцелел. Остальные пропали. Бесследно исчезли. Там вдоль дороги болото, черти в него людей заманивают и топят.

«Не может быть, мамаша, – говорю, – там же машины носятся одна за другой. То сюда, то туда, не деревенский проселок, а Калининский проспект». – «Нет там никаких машин, сынок. На эту дорогу в темноте никто не сунется. Только черти. Или такие везунчики, как ты».

– Уф, страсти какие! – воскликнула Света.

– Да, страсти, – согласился Чубайс. – Вот с тех самых пор я верю, что в мире нашем что угодно может произойти.

– Первый шаг ты уже сделал, – с усмешкой заключил Дима, поднимая стопку. – Второй сделаешь по направлению к синагоге. А третий приведет тебя напрямик в пингвиньи ряды.

– Не-е-е-ет, – замотал головой Чубайс. – От чертей до синагоги дистанция огромного размера.

– А куда те черти подевались белесые? – спросила Света.

– Отстали, наверное. Я же не оборачивался. Ладно, давайте выпьем за все хорошее.

– И за мир во всем мире, – ехидно добавила Люда, подведя итог рассказу мужа.

* * *

Лето на Иордане заканчивалось поздно. До конца октября стояла знойная сухая погода, и лишь в первых числах ноября жар разжимал свои объятия. Над рекой начинал гулять свежий ветер, сезон каяков плавно подходил к концу, и чайки, законные хозяева водных пространств, сверкая крыльями, снова захватывали Иордан.

Пологие берега часто и жадно лизала мелкая волна, поднимаемая ветром. Нехотя, словно просыпаясь, сыпался из низких туч дождик, омывая пожелтевшую за долгое лето листву. Его серая накидка накрывала понурые кустарники вдоль русла, белые стволы эвкалиптов, испачканные птичьим пометом, редкие проплешины пляжей, покрытые пожухлой травой.

Сразу вслед за летом начиналась зима. И если выдавались три-четыре дождливые недели, наполненные морозящим счастьем дождя, молодо и свежо распускалась зелень, и прохладный запах новой жизни витал над водой. Убегающая вниз река занавешивалась прозрачной фиолетовой марью, дышалось легко и бодро, а будущее казалось наполненным добрыми ожиданиями и нескончаемой удачей.

Четыре зимних месяца бизнес Димы бездействовал, то есть не приносил дохода. Сплавляться на каяке по воде в такую погоду никому не хотелось. Дима и Чубайс тяжело и много работали все эти месяцы. В разгар летней страды, когда каждая минута звонкой монетой падала в ящик кассового аппарата, все выходящие из строя каяки складывались в большом сарае на краю станции. Дима не рисковал и при малейшей неисправности или даже подозрении на неисправность снимал каяк с маршрута. Авария или, не дай Бог, человеческие жертвы, могли навсегда утопить дело.

Каяков хватало, кибуц закупил их оптом где-то в Америке и завез сразу на много лет вперед. Поэтому летом не тратили дорогое время на ремонт, а сразу уносили неисправный каяк в сарай, и к концу сезона тот заполнялся до крыши. Отправив всех прочих работников в отпуск до следующего лета, Дима вместе Чубайсом вытаскивали каяки из сарая и принимались за ремонт. В одном протерлась резина, в другом сгнили и лопнули веревки, в третьем прохудился клапан и баллон травил воздух, а то и сам баллон, несмотря на прочность, порвался от ударов о камни.

Работали в охотку, не спеша, выполняя любую починку самым добросовестным образом. Длинные вечера были свободными, Дима со Светой часто уезжали в Тверию, ужинали в ресторанчике, шли в кино или просто сидели на набережной, разглядывая мерцающие огни по ту сторону озера.

Неосторожно брошенные Светой слова – женишок хоть куда – повлияли на Чубайса точно медленно действующий яд. Он давно

исподтишка облизывался на пышные формы жены начальника, но вступать с ней в прямое взаимодействие не предполагал. Будь Света кассиршей или подсобницей на подхвате, уж он бы не дал этой роскоши безнаказанно колыхаться в его поле зрения. Но жена начальника – жена начальника, зажать ее в тихом месте могло оказаться себе дороже. Утехи утехами, а заработок тоже чего-то стоит.

Однако слова были произнесены, и воображение, подогреваемое гормонами, пустилось в свободный полет. Спустя два дня Чубайсу уже казалось, будто Света начала с ним заигрывать, через неделю он был почти уверен, что его мужские достоинства произвели на нее решающее впечатление, а спустя месяц, убедив себя в том, что дама его заманивает, приступил к ухаживаниям.

На самом-то деле признаки симпатии, выказываемые Светой, не выходили за границы дружеского расположения. Но для фантазии не существуют границы, и любая объективная реальность с легкостью перерабатывается ею в желаемый продукт.

Чубайс решил действовать осторожно. Никаких зажимов, никаких резких приставаний.

«Любовь, вот та приманка, на которую ловится женское сердце», – сказал себе Чубайс и принялся изображать влюбленного. Как умел, как понимал это состояние.

Поначалу Света не могла взять в толк, почему балагур Толя вдруг погрузнел и стал бросать на нее томные взгляды. В те редкие моменты, когда ему случалась передавать ей или брать у нее какие-то хозяйственные предметы, он загадочным тоном произносил туманные фразы и словно невзначай норовил коснуться ее руки. А прикоснувшись, вздрагивал, точно ударенный током. Нельзя не отметить, что томность и загадочность проявлялись только в отсутствие Димы, когда тот был рядом, Чубайс вел себя совершенно здоровым образом.

В один из дней, вернувшись из Тверии, он преподнес Свете розу. Точеный, хорошо распустившийся цветок темно-вишневого цвета.

– Ты чего? – спросила Света, уже понимавшая, к чему идет дело.

– Ах, – томно вздохнул Чубайс, – подобное притягивает подобное.

Света улыбнулась. Ухаживания Толи она не принимала всерьез, но, как известно, королеве льстит даже внимание конюха.

– Спасибо, – коротко бросила она, унесла цветок в домик и поставила его в бутылку из-под «Гленморанжа».

Света не знала, как вести себя с Чубайсом. Отвечать на его ухаживания она не собиралась, мужские стати Толи ей нравились вполне умеренно. А точнее, не вызывали отталкивания, он был вполне симпатичен и, возможно, чуть больше этого, но не дальше. Заводить с ним роман... нет уж, извините, совершенно ни к чему!

Его влюбленность льстила, Свете не хотелось обижать Чубайса резкой отповедью, тем более что до сих пор он не совершил ничего предосудительного. Ну, вздыхает мужик по бабе, что тут дурного? Нормальное действие мужского инстинкта. Пока руки не распускает, все в порядке!

« Скорее всего, – прикидывала Света, – его влюбленность быстро пройдет. Вряд ли это большое чувство, Толя волочит за мной то ли от скуки, то ли от пресыщенности. И хоть Людка просто красавица, мужикам все равно подавай другую бабу. Кто знает, чем занят мой Димка во время поездок в Тель-Авив? Постоянной любовницы у него нет, это я точно знаю, чувствую, но вполне может ухватывать, идя через мосточек.

Если поползновения не получают поддержки с моей стороны, то скоро сойдут на нет. Говорить Диме пока не стоит, он может психануть и выгнать Чубайса. А пока ведь и не за что, зачем же зря человека заработка лишать?»

И она решила выждать. Ее расчет был точен, Чубайс вряд ли бы осмелился перейти к более радикальным действиям. Но вмешался случай, ничтожная закорючка на беспредельном поле возможностей или слепая сила, безжалостно разрушающая стройные построения разума и рук человеческих. Впрочем, некоторые утверждают, будто никакой случайности в нашем мире не существует, а то, что люди по незнанию величают фортуной, роком, колесом судьбы, фатумом и еще Бог весть какими именами, на самом деле суть проявления четко действующего закона, до сих пор не открытого человечеством. И когда великолепное здание этого закона откроется нашим глазам, станет ясно, что все на свете, даже сколько раз перевернется листок в придорожной пыли под порывами ветра, рассчитано, взвешено, отмерено и учтено.

Дима на два дня уехал в Тель-Авив. По делам бизнеса или просто проветриться. Свету радовали его отлучки, в такие дни, предо-

ставленная самой себе, она много читала, сидя в кресле возле Иордана. С реки несло сыростью, Света приносила одеяло, сигареты, чай в термосе и погружалась в придуманный мир.

Чубайс приехал с утра, вытащил каяк из сарая и принялся за ремонт. Поработав минут сорок, он вальяжной походкой приблизился к креслу, в котором устроилась Света, и попросил:

– Чаем не угостишь?

– Вот что, Толя, – твердо сказала Света, ожидавшая такой ход развития событий и приготовившаяся к нему. – Пока Димы нет, не подходи ко мне. Мало ли что могут подумать. А лучше всего подыщи себе на эти два дня занятие в другом месте. Проживут каяки без твоего ремонта.

– Да ты чего, мать? – деланно удивился Чубайс. – Чаю нельзя попросить?

– Сам прекрасно знаешь чего, – ответила Света, плотнее закутываясь в одеяло.

– Ну, как хочешь, – обиженно произнес Чубайс и вернулся к работе.

Света попробовала снова погрузиться в книгу, но не получалось. Разлетались мысли, словно ласточки перед дождем, метались в разные стороны. Может, зря человека обидела. Действительно, всего лишь чаю попросил, а она взяла и приложила мордой об стол. Ну, так что теперь делать, не звать же его обратно?! Чувство вины точило ее сердце, чтобы скоро, уже очень скоро вырваться наружу в неожиданном для нее самой проявлении.

Приехав утром на станцию, Чубайс оставил ворота открытыми. Лень было снова вылезать из машины и затворять, все равно на обратном пути придется проделывать эти операции в обратном порядке. На станцию кроме него и Димы неделями никто не заглядывал, поэтому ни о какой опасности он даже не помыслил.

Пока Света пыталась сосредоточиться на книге, раздался рев мотора и на станцию ворвался зеленый джип «Сузуки». Лихо подлетев к самой кромке воды, он замер, как вкопанный. Из джипа вывалилась теплая компания: три парня хорошо навеселе и две накрашенные девахи, тоже принявшие на грудь. Где и когда они успели набраться с самого утра, осталось целиком на их совести, расследование сего вопроса выходит за рамки нашего повествования.

– Эй, хозяева, – бросил один из парней, нетвердым шагом приблизившись к Чубайсу. – Лодку нельзя взять? Покататься желаем!

Пускать эту компанию на реку означало нажать большие неприятности. Добром бы такая прогулка не кончилась, и отвечать пришлось бы тому, кто, видя в каком состоянии пребывают клиенты, все-таки позволил бы им сесть в лодку.

– Станция не работает, – миролюбиво ответил Чубайс. – Вода холодная...

– Зато мы горячие, – со смехом оборвал его второй парень, управлявший джипом. Он был трезвее других и настроен куда более решительно. – Давай плавсредство!

– Ничего не выйдет, ребята, – развел руками Чубайс. – Каяки сложены в сарае и заперты до начала сезона.

Девахи картинно взвыли.

– А этот, – водитель пнул носком кроссовки оранжевый бок лежащего перед Чубайсым каяка.

– Этот на ремонте. Вы на нем полдороги не пройдете, потонете на первом же пороге.

– Ладно, – пьяно махнул рукой первый парень. – Не везет нам сегодня, куда ни сунемся, все на фиг закрыто!

– Очень сожалею, – снова развел руками Чубайс. – Весной приезжайте, когда снег на Хермоне тает. Вот когда самое катание!

– Спасибо, утешил, – отозвался водитель. – До весны еще дожить нужно.

Компания забралась в джип, и водитель, желая компенсировать неудачу, помчался по станции, лавируя между эвкалиптами, точно лыжник на слаломе.

– Ненормальные, – закричала Света, вскочив с места. – Сейчас расшибетесь!

Но водитель хорошо владел машиной. Визжа тормозами и завывая мотором, джип пронесся сквозь станцию, вылетел через распахнутые ворота и скрылся. В наступившей тишине разнесся отчаянный собачий визг, моментально перешедший в жалобное скуление.

– Что это такое? – вскричала Света. Сердце ее оборвалось. Она бросилась к месту, откуда доносился голос умирающей собаки, и ее глазам открылась ужасная картина. Лавируя между стволами, джип наехал на мирно спящего под эвкалиптом Франклина и раздавил его на две части. Кровь, кишки, клочья шерсти разлетелись во все стороны. Когда Света подбежала к своему любимцу, Франклин еще

скулил, но глаза его уже стекленели, и спустя несколько секунд душа собаки оставила брненное тело и умчалась в заоблачные выси.

Свете показалось, будто она теряет рассудок. Неожиданная смерть любимого существа сбила ее с ног. Она упала на колени возле изуродованного трупа Франклина.

– Неужели это навсегда? – шептала она, не в силах прикоснуться к залитой кровью и желудочной слизью шерсти. – Навсегда, навсегда, навсегда...

И вдруг, неожиданно для самой себя, Света начала молиться.

– Только об одном Тебя прошу, – горячечно шептала она, не веря, не в силах поверить случившемуся, – верни назад время, на какие-нибудь десять минут, верни его назад. Дай мне еще раз обнять живого Франклина, прижать к себе, укрыть от колес.

Слезы лились из глаз, текли минуты, а Франклин, вернее то, что от него осталось, лежал перед ней безучастный, бездыханный и уже совершенно чужой. Смерть властно и непреклонно провела между ними невидимую, но хорошо ощущаемую границу.

– Пойдем, Света, – Чубайс сначала осторожно прикоснулся к ее плечу, а затем подхватил под руки, поднял с колен и повел к домику. Он обнимал ее за плечи, но она не воспринимала его объятие, как прикосновение мужчины, ее мысли и чувства были далеко.

В домике Чубайс усадил за стол безжизненно повисшую Свету и кинулся наружу.

– Сейчас, я сейчас! – крикнул он. Прошло несколько томительных минут. Света безучастно смотрела в одну точку. Вместе с Франклином в ней умерла какая-то часть ее личности, и покалеченная душа судорожно зализывала место разрыва.

Чубайс возник на пороге, точно чертик из табакерки. В руках он держал бутылку виски.

– Вот, – сказал он, переступая порог. – Помянем собачку. Славный был песик.

Он по-хозяйски достал стаканы, налил Свете до краев, себе плеснул не меньше, однако пить до конца не стал, а лишь пригубил. Света же большими глотками осушила свой стакан.

– Съешь что-нибудь, – Чубайс вытащил из холодильника нарезанный сыр. Света автоматически взяла ломтик, положила в рот.

Чубайс снова налил виски.

– Еще по одной?

Она отрицательно покачала головой. Мир поплыл и закачался, но сосущая боль под сердцем отступила. Она осталась одна, самого близкого существа уже не было рядом. Хотелось кричать, кататься по полу от невыносимой тоски, от каменной тяжести внезапно навалившегося горя, но слез не было, и от этого тяжесть казалась еще непереносимей.

– Я понимаю, как тяжело потерять такого друга, – вкрадчиво произнес Чубайс. – Есть потери, которые невозможно восполнить. Но не нужно так убиваться, пусть Франклин погиб, но жизнь-то не кончилась! Возьми себя в руки, в мире осталось так много прекрасного.

Он сжал руку Светы и стал гладить ее нежно и властно. Потом раскрыл ее ладонь и припал к ней губами.

Свете никто и никогда не целовал руку. Она только видела, как это делают в исторических фильмах, и прикосновение горячих мужских губ к ее открытой ладони оказало на Свету магнетическое воздействие. Было что-то сокровенно-интимное в этом поцелуе, словно Чубайс прикоснулся к самой скрытой части ее существа.

Когда Толя начал лизать внутреннюю поверхность ладони, наконец пошли слезы. Света задрожала от плача, и Чубайс, прижав ее к себе, стал жадно целовать мокрые от слез губы, глаза и щеки.

А дальше произошло нечто странное. Позже, вспоминая ту минуту, Светлана никак не могла понять, что толкнуло ее отдаться Чубайсу, отдаться бурно, страстно, бесстыдно. Отчаяние от несправедливости мира и протест против Того, кто не пожелал услышать ее молитву, – вот что толкнуло ее в призывно распахнутые объятия.

Когда наслаждение мутной волной прокатилось через ее тело, оставив за собой грязную пену стыда, она, уже понимая, что происходит, столкнула с себя тяжело дышащего Чубайса, поднялась с пола, брезгливо передернула плечами и полураздетой, в едва прикрывающей бедра футболке, выскочила из домика. Подойдя к Иордану, Света забралась по колено в ледяную, быстро несущуюся мимо воду и тщательно умылась, стирая с лица слюну Чубайса. Холод и злость разогнали хмель, мерзость от совершившегося тошнотворным комком застряла в груди.

Чубайс лениво поднялся с пола и двинулся вслед за любовницей. Ему было хорошо. Он подозревал, что за тихой сдержанностью манер Светы может прятаться бес, но такого урагана даже пред-

ставить себе не мог. Хороша бестия! Приведя в порядок одежду, он уселся на скамейке возле крыльца и с наслаждением закурил.

Не глядя в его сторону, Света прошла мимо и скрылась в домике. Повернув голову, Чубайс охватил взглядом ее белые полные ноги, жадно отметил черную полосу криво натянутых трусиков и сглотнул. Случившееся казалось ему дивным сном.

«Вот же повезло Диме, – подумал Чубайс. – Такую бабу отхватил. А ведь по виду ни за что не скажешь!»

Света переоделась и вышла из домика. Чубайс вскочил со скамейки, подошел к ней и уверенно положил руку на плечо. Она сбросила ее брезгливым движением.

– Вот что, Толя, – сказала она дрожащим от ярости голосом. – Я не знаю, как это получилось, но больше пальцем ко мне не смей прикоснуться.

– Светушка, милая, – Чубайс не слушая, попытался обнять ее за плечи, но та с силой оттолкнула его в сторону. Горе перешло в гнев, а с гневом ей было легче управиться, у него был адрес, и она знала, как нужно поступать.

– Отойди, сволочь рыжая! Ты подло воспользовался моей мимнотой слабости. Запомни, если посмеешь еще раз ко мне приблизиться или хоть слово об этом кому скажешь, пулей вылетишь с работы. Понял, гад! А сейчас убирайся отсюда, и чтоб до приезда Димы глаза мои тебя не видели.

Света плюнула Чубайсу в лицо, затем отвесила ему звонкую пощечину, вошла в домик и заперла дверь.

Чубайс молча повернулся и пошел к своей машине. Он весь кипел. Давно его так не оскорбляли! Бывали в его жизни драки, и прежде случалось получать затрещины и расплачиваться той же монетой, но такого презрения от только что стонавшей под ним женщины и таких белых от ярости глаз он еще не встречал.

– Ах ты, сука! – шипел он сквозь сжатые от злости зубы. – Ах ты, подлая, похотливая тварь! Это я отсюда пулей вылечу? Ну, это мы еще посмотрим, кто из нас двоих пуля и кто лучше умеет летать!

В его разгоряченном ненавистью мозгу тут же возник план мщения. План до того простой и ясный, что, садясь в машину, Чубайс даже засмеялся. Захлопнув дверь, он завел мотор, достал из бардачка пачку салфеток и, брезгливо передернувшись, вытер с лица плевок. Странно, всего несколько минут назад, катаясь со Светла-

ной по полу, он с жадностью слизывал с ее губ эту самую слюну, сейчас же она вызывала в нем дрожь омерзения. Чубайс еще раз быстро прикинул в уме все пункты плана мщения и, внезапно успокоившись, снова рассмеялся.

* * *

Зло мир принимает просто. Оно как бы встроено в него изначально и потому понятно. Куда легче согласиться с мрачной перспективой, чем поверить в то, что тучи сами собой рассеются. Созидание сложнее деконструкции, поэтому желающему разрушать судьба любезно предоставляет множество рычагов.

Каждую весну Дима обновлял договор с кибуцем. Процедура эта носила чисто условный характер, высокие договаривающиеся стороны вполне устраивали друг друга. Арендная плата за первые четыре года полностью покрыла понесенные кибуцем расходы, и, начиная с пятого, каяки приносили чистый червонный доход.

В прошлый раз Дима взял с собой Чубайса. По дороге надо было набрать товаров для открытия сезона, и Дима, любивший совмещать несколько дел, решил после короткой процедуры подписания заехать в Тверию и закупиться по полной. Всю дорогу Чубайс расспрашивал о кибуце, о его секретаре, с которым Дима вел дела, об условиях договора. Ничего не подозревавший Дима болтал без умолку. Он считал Чубайса почти компаньоном, да и скрывать было нечего, все дела бизнеса просматривались как на ладони.

Чубайс сам не понимал, для чего ему эти сведения, но по привычке подбирать любую плохо лежащую вещь расспрашивал обо всех подробностях. И вот пробил час, Дима давно забыл про тот разговор, а Чубайс, озаренный молнией злодейства, принялся за дело.

Выехав со станции, он покатил прямехонько в кибуц. Отыскать секретаря оказалось совсем непросто, поля кибуца были разбросаны по всей долине Хула, и точно указать, где сейчас находится его джип, никто толком не мог. Через два часа, слегка опешивший от чубайсовского предложения секретарь, осанистый, умеренно полный мужчина средних лет с коричневой от загара треугольной плешью, с сомнением покачал головой.

– То, что вы говорите, звучит весьма заманчиво, но я сам не могу принять такое решение. Погодите два дня, я вынесу ваш вопрос на расширенное правление совета кибуца.

– Об одном вас попрошу, – деловым тоном ответил Чубайс. – Я и нынешний арендатор работаем вместе. Если ему станет известно о наших переговорах, то сами понимаете...

– Конечно, конечно, – заверил его секретарь. – Не волнуйтесь, все останется между нами.

Секретаря связывали с Волковым пять лет общения. Он помнил, как тот пришел к нему с идеей и как эта идея, трудами и заботами Димы, превратилось в живое, веселое дело. Но то, что предлагал Чубайс, выглядело весьма и весьма соблазнительно, хоть и не совсем, э-э-э, чистоплотно.

Чубайс просто и прямо предложил передать ему право на ведение бизнеса каяков и за это платить за аренду ровно в два раза больше. В холодном мире торговли не существует ни родственных связей, ни дружеских отношений. В конечном итоге все упирается в цифры. И поскольку особого злодейства в передаче подряда более выгодному заказчику правление не усмотрело, было решено договор с Волковым не лонгировать. Впрочем, в качестве особого расположения и учитывая прошлые заслуги, секретарю позволялось предложить Диме те же условия, которые поступили от конкурента, и если тот согласится – оставить дело в его руках.

Явившись, как обычно, продлевать договор, Дима сразу почувствовал неладное. Обычно приветливый и улыбчивый секретарь смотрел в сторону и разговаривал отстраненно и сухо. Вместо быстрого улаживания формальностей он передал Волкову выписку из постановления совета кибуца. Тот прочитал и опешил.

– Но вы же хотите забрать весь мой доход! – воскликнул Дима. – Неужели правление предполагает, что я стану работать бесплатно?

– Правление располагает предложением от другого заинтересованного лица, – холодно произнес секретарь.

– И это лицо согласно платить в два раза больше?

– Да.

– Но такого просто не может быть! Я знаю каждую веревку на каяках и говорю вам, что не только мне, но и рабочим почти ничего не останется. Тот, кто вам такое предложил, попросту ничего не понимает в деле.

– Уверяю, – заверил секретарь, – конкурент разбирается в каяках и веревках ничуть не хуже вашего.

– Значит, он попросту хочет выжить меня! По-другому это нельзя объяснить!

– Вполне вероятно, – сухо произнес секретарь, – что вы, господин Волков, хорошо умеете чинить каяки и организовывать обслуживание клиентов. Однако сии весьма достойные уважения качества вовсе не означают умение ладить с бухгалтерией. Этот бизнес может принести кибуцу большую пользу. Пять лет дело было в полном вашем распоряжении, и вы достигли неплохих результатов. Но теперь мы хотим дать возможность проявить себя другому подрядчику.

– Но это же мое дело! – вскричал Дима. – Я его придумал, я организовал. Не будь меня... – Он махнул рукой. – Э, что там говорить, вы дождались, пока я поставлю бизнес на крепкие рельсы, вернули затраты, а теперь решили передать дело своему человеку!

– Мы благодарны вам за деловую инициативу, – ответил секретарь. – Однако не нужно утрировать! Без начального капитала, внесенного кибуцем, и, самое главное, исключительного права пользования водным ресурсом, протекающим по нашей земле, ваша идея так бы и осталась пустой фантазией. Вы хорошо зарабатывали последние годы. – Он полистал бумаги в папке и уточнил: – Последние пять лет. Возможно, даже чересчур хорошо. А сейчас требуется перевести дело на более эффективные рельсы. Речь, в частности, идет и о том, что арендатору придется попросту меньше зарабатывать.

– Не меньше! – в отчаянии вскричал Волков. – Не меньше, а вообще не зарабатывать!

– Я не могу изменить решение совета кибуца, – закончил разговор секретарь. – Или вы принимаете условия, или передаете дело другому арендатору. Учтите, – добавил он более мягким тоном, – по правилам, для того, чтобы получить подряд, требуется представить предложение лучшее, чем у конкурента. Но, учитывая ваши прошлые заслуги, мы согласны, чтобы оно было, по крайней мере, таким же.

– Таким же, – вспыхнул Дима. – Да найдите идиота, который захочет пахать по двенадцать часов в день за сумму, равную пособию по безработице!

– Такой идиот у нас уже есть, – секретарь встал, давая понять, что разговор закончен.

Возвращаясь домой, Волков то и дело бил руками о баранку и орал дурным голосом. Его мир, ставший привычным и прочным, мир, в котором он чувствовал себя так уютно, развалился за пять минут. Дима никак не мог поверить, что это происходит именно с ним. Ведь он приложил столько усилий, дабы обеспечить себе и Светке надежное будущее. Не ленился, думал только о бизнесе, внедрил столько маленьких, но эффективных улучшений, с работниками вел себя щедро и ровно. И вот, когда пришла пора чуть-чуть расправить плечи и немного насладиться плодами многолетнего труда – трах-бац, на тебе! За что, почему? Чем он прогневил судьбу, в чем провинился?!

Сам того не подозревая, Дима Волков бросал в мировое пространство извечные вопросы, над которыми человечество ломает голову не один десяток веков.

В тот вечер было выпито много виски и произнесено немало обидных слов в адрес кибуца и анонимного конкурента. Свету тоже потрясла перспектива бросить обжитое место и перебираться неведомо куда. Она намеревалась прожить на станции много лет, купила семена цветов и луковицы тюльпанов, завезла жирную землю, собираясь украсить полянку перед домиком большой клумбой. Теперь и станции, и клумбе, и всем планам и намерениям Светы пришел конец. Принимать новые условия не имело смысла. Нужно было паковать вещи и уезжать, ведь старая аренда заканчивалась уже через неделю.

До открытия сезона оставалось меньше месяца. В принципе, все было готово: каяки приведены в полный порядок, работники явятся в назначенный день, и каждый из них знает свои обязанности. Однако новому человеку будет весьма трудно увязать концы с концами. Собирая вещи, Дима думал про это с немалой долей мстительности. Он не собирался ничем помогать конкуренту. Пусть сам ломает голову, где лежит клей для резины и в каком гараже лучше всего обслуживать минибус, возвращающий туристов к месту высадки, не говоря уже о тысяче прочих мелочей, каждая из которых могла сильно застопорить отлаженный механизм бизнеса.

Не раз и не два он с трудом удерживался от того, чтобы обзвонить всех работников и уволить к чертовой матери всех подряд, до одного, прямо сейчас! Пусть новый хозяин сам подбирает себе команду. Дима даже брал сотовый телефон, но, прикоснувшись паль-

цами к гладким прохладным кнопочкам, останавливался. Его мир рухнул и рассыпался, он сам остался без работы, но почему такой же удар должны получить и другие люди?! Если новый хозяин захочет уволить старых работников и набрать новых – пусть делает это сам. И пусть горькая весть исходит из его уст.

Однако, к вящему удивлению Димы, соперник не спешил принимать дела. Он вообще не появлялся на станции, и мысль о злосчастном разговоре с секретарем начала представляться наваждением, дурным сном. Но вещи были уложены, снята квартира в Твери, начаты поиски работы.

Сунувшись в несколько мест, Дима осознал, что стал известным человеком. За пять лет на каяках перекатались все кому не лень, и многие запомнили его лицо. Да, работы для него оказалось сколько угодно, нужно было лишь не продешевить и впрячься в новую лямку на хороших условиях. Однако самое выгодное предложение из всех им полученных едва достигало четверти того, что он зарабатывал на Иордане. Тем не менее жизнь снова начала приобретать вкус и смысл.

Наступил день отъезда. Конкуренент так и не появился, и Дима решил запереть станцию на все замки и отбыть. Связку с ключами он планировал забросить секретарю кибуца, а дальше пусть новый арендатор сам разбирается, какой ключ подходит к какому замку.

Когда вещи были уложены в машину и он отправился запирать двери, на станцию вкатил автомобиль Чубайса.

«Прощаться приехал», – с теплотой подумал Дима и приветственно помахал вылезавшему из машины Чубайсу. Тот не ответил, скользнул по Волкову невидящим взглядом и быстро пошел к домику. Несколько дней назад Дима говорил с Чубайсом по телефону и объяснил, что происходит. Тот ничего не спросил, просто выслушал и попрощался. Диму это удивило, он все-таки ожидал какого-то сочувствия, нескольких фраз типа «вот же гад», «ну и сволочи». Но не дождался.

Войдя в домик, Чубайс по-хозяйски уселся на стул и вытянул ноги.

– Ты чего расселся? – удивленно спросила Света, запихивая в сумку чашки и тарелки, оставшиеся после завтрака. – Мы уезжаем, Дима сейчас запрет домик.

– Давай, давай, голубушка, – презрительно бросил Чубайс, – пулей лети отсюда. И чтоб глаза мои тебя больше не видели.

– Что-что? – Света распрямилась, и в ее глазах блеснуло осознание.

– То, что слышишь. А домик нечего запирать. Оставь ключи на столе, забирай свои манатки и вали из моего бизнеса.

– Так это ты? – она охнула и прикрыла рот рукой. – Ты и есть тот самый негодяй...

– Оценки держи при себе, я в них не нуждаюсь. И вали – пулей, пулей.

Света вышла из домика и сделала знак мужу.

– Не запирай, арендатор уже там.

– Что-о-о-о?

– Да-да, именно так!

Дима вытащил из кармана связку ключей и с силой бросил в недоделанную клумбу. Связка глубоко вонзилась в жирную землю. Стоявший в дверях домика Чубайс лишь усмехнулся. Он был на вершине блаженства. Ему рассказывали, будто нет на свете ничего слаще мести, и вот теперь представилась возможность лично убедиться в справедливости этого утверждения. Ему было так хорошо, что он даже жалел свои жертвы и готов был простить Свете обиду и унижение.

Чубайс с вновь нахлынувшим аппетитом оглядел роскошные формы усаживающейся в машину женщины, но та, словно почувствовав его ощупывающий взгляд, подняла голову и посмотрела на него с такой ненавистью, что жалость сразу улетучилась.

«А и поделом тебе, сука!» – подумал Чубайс и плюнул на пол. Плюнул и сразу спохватился – ведь домик теперь принадлежал ему, и к вечеру он собирался перевезти сюда Люду с дочкой. Чубайс открыл кухонный шкафчик, отыскал пачку забытых салфеток, вытащил одну и тщательно затер плевком.

Дима и Света уселись в машину, взревел мотор, и станция поплыла назад, а вместе с нею и часть их жизни. Не самая худшая часть.

* * *

Прошла неделя. Чубайс перевез семью на станцию и потихоньку осваивал новое жилое пространство. До открытия сезона оставалось чуть больше двадцати дней, а дел никаких не было. Мстительным планам Димы не суждено было сбыться, новый арендатор

не хуже его самого знал, на какой полке лежит клей и в каком гараже лучше всего обслуживать минибус. Как говорил Наполеон, чтобы победить, нужна внезапность, а значит – скрытность. И это наставление великого полководца Чубайс, сам того не подозревая, выполнил с величайшим тщанием. Удар получился таким, что Волков несколько дней не мог прийти в себя.

– Ну и подлец! – то и дело повторял он, изумленно крутя коротко остриженной головой. – Пригрел змею на груди, точнее не скажешь!

Света отмалчивалась. Она понимала, что несчастье пришло с ее стороны, но не решалась признаться. Не потому, что боялась рассказать мужу, как все было на самом деле, а жалея Диму. Ведь правда утяжелила бы обиду и усилила горечь.

Пока Волков разъезжал по окрестностям Тверии в поисках работы, Чубайс неспешно разгуливал вокруг станции. Первые два дня он лихорадочно проверял, все ли готово к открытию сезона. Совершенно ненужное, бессмысленное времяпрепровождение. Чубайс прекрасно знал, что все готово, но волнение делало свое дело, заставляя метаться от сарая с уложенными каяками до конторки с пачкой договоров с поставщиками. В конце концов он утешился заботами о пони, лошадки с грустными глазами, как всегда, принесли ему покой. Когда же волнение и нервная дрожь схлынули, Чубайс принялся бродить по берегу Иордана.

Люда сразу почувствовала себя на станции, как дома. Первые два дня она без устали мыла и чистила домик, нещадно ругая Свету.

– Вот же грязищу развела, – восклицала она, выныривая с перепачканной тряпкой в руках из-под кухонной раковины. – А с виду чистюля чистюлей!

Нахлобучив резиновые перчатки, Люда истово драила сортир, презрительно перекосив вишневый ротик.

– Хозяйку узнают по раковине в кухне и унитазу, – сообщила она мужу, когда тот привез Лялю из детского садика.

– А ты что, – удивился Чубайс, – ни разу тут в туалет не ходила?

– Ходила, да только внимания не обращала!

– Вот и сейчас не обращай, – посоветовал Чубайс.

Люда пропустила его замечания мимо ушей, подала на стол вместо ужина колбасу и помидоры, а сама продолжила уборку.

Насытившись, Чубайс посадил Лялю перед телевизором, а сам вышел покурить. Как только солнце скрылось из виду, по реке по-

полз серебристый туман, и воздух немедленно наполнился сыростью.

Дурацкие мысли приползли вместе с туманом. Обида на Свету давно отступила, Чубайс регулярно будоражил, растревлял ее, вспоминая плевки и белые от ярости глаза женщины. Но злость выдохлась, и в голову хмелем ударили воспоминания о доброй работе вместе с Димой, о трех или четырех семейных пирушках, где они так дружески выпивали и закусывали, о сладких минутах наслаждения, подаренных ему Светой.

Разглядывая серебристый бархат тумана, он вдруг пожалел о своем поступке. Честное слово, было бы куда лучше, если бы все осталось по-прежнему. Нет, это еще не было раскаянием, но удовольствие от мести, сладкое томление в груди куда-то пропало, а ясная картина мира чуть потемнела, как темнеет блестящая поверхность реки под тенью набежавшей тучки, закрывшей солнце по середине летнего дня.

– Глупости! – воскликнул Чубайс и, словно выталкивая нежелательного гостя, энергично замахал руками. – Что сделано, то сделано. И с этим нужно жить дальше.

Пока Света расставляла вещи в квартире, Дима Волков носился по окрестностям Твери в поисках работы. Ее оказалось много, больше, чем он мог предположить. Удачливого бизнесмена хотели все – и хозяева больших предприятий, и владельцы средних и малых туристических бизнесов. Вокруг Кинерета цвела индустрия развлечений: прогулки на катерах и джипах, конные экскурсии, водные лыжи, парашюты, виндсерфинг, багги – маленькие вездеходы на которых можно было забраться куда угодно – прогулки по ущельям, рестораны, байдарки, аттракционы. И везде требовались удачливые и предприимчивые люди.

Дима с приятным удивлением осознал, что его мнение что-то значит в этом мире. С ним доверительно советовались, еще не приняв на работу, тщательно записывали его слова как важное деловое решение, его приглашали на обеды, делали заманчивые предложения.

Черт побери! – жизнь еще не кончилась! Каяки на Иордане, которые он воспринимал как конечную станцию своей карьеры, теперь представлялись только стартом, первой ступенькой лестницы, ведущей к расцветенным бенгальскими огнями высотам успеха.

Денег, правда, пока обещали меньше, но зато перспективы открывались куда обширнее. Одним прекрасным утром он не поехал искать работу, а уселся за стол, вывалил перед собой собранные визитные карточки с записанными на них предложениями и занялся сортировкой. Выбор представлялся нелегким, но когда-то нужно было его совершить. Перебирая карточки, он наткнулся на одну без всяких пометок. Она была сделана из плотного матового картона, имя владельца было написано простым четким шрифтом. Он долго вертел ее, пытаясь вспомнить, о ком идет речь. Прошло несколько долгих минут, прежде чем перед его мысленным взором возникло лицо с длинной бородой.

«Жизнь по-всякому оборачивается, – зазвучал в ушах Димы голос харидействующего «пингвина», – пусть карточка полежит в вашем кошельке. Мало ли что».

– Вот же оно, – прошептал Дима, сжимая карточку. – То самое «мало ли что»! Пусть чудотворец Рашуль поставит на место мерзавца Чубайса!

Поселок Явнизль расположен в нескольких километрах от озера. Нужно подняться вверх по узкой дороге, карабкающейся по склону горы, стараясь не смотреть на голубую гладь Кинерета, уткнувшуюся в розовый бок Голанских высот. Редкий водитель сумеет удержаться и не бросить хоть один взгляд на удивительную картину. Бросит и тут же переведет глаза на черную полосу асфальта; крутится, вьется дорога, стремительно бежит по краю обрыва, дорого, ох как дорого может обойтись зазевавшемуся водителю любованию красотами Святой земли.

Явнизль прячется между желтыми буграми холмов, весь поселок – три улицы и разбросанные посреди окружающих его полей фермы. Отыскать Рашуля оказалось проще простого, заметив нескольких человек, сидящих на скамейке перед одним из домиков, Дима остановил машину, опустил стекло и спросил, как отыскать чудотворца.

– Ты уже отыскал, – доброжелательно ответил один из них, высокий полный старик с окладистой, аккуратно подстриженной бородой и внимательными глазами. – Чудотворец здесь живет.

– Прекрасно! – воскликнул Дима. – Он сейчас принимает?

– Он-то принимает, – рассудительно произнес старик, – только очередь к нему за две недели занимать нужно. Ты записался?

– А как же, – буркнул Дима. Он запарковал машину и решительным шагом вошел в дом. Большая комната, видимо приемная, была заполнена посетителями. Они сидели на скамейках, расставленных вдоль стен, и сосредоточенно читали, уткнувшись в маленькие книжечки. Губы посетителей беззвучно шевелились, а вид был весьма взволнованный.

«Псалмы долдонят», – сообразил Дима.

Секретарь Рашуля узнал его сразу и с приветливой улыбкой поднялся из-за небольшого стола, преграждающего дверь во внутреннюю комнату. Чтобы подойти к двери, требовалось обогнуть стол и миновать секретаря.

– Добрый день, – сказал Дима. – Вот, решил воспользоваться вашим предложением.

– Учитель вчера предупредил, – с мягкой улыбкой произнес секретарь, – что сегодня к нам пожалует необычный гость. Я все пытался сообразить, кто бы это мог быть, но, честно признаюсь, о вас даже не подумал.

Он говорил самым обычным тоном, словно речь шла не о пророчестве, не о внезапном прогибе реальности, а о чем-то весьма обыденном, почти заурядном. Слово такого рода чудеса валялись в этом доме под ногами.

«Да он врет, – вдруг сообразил Дима. – Лепит горбатого, берет меня на фу-фу. Необычный гость! Так можно сказать о ком угодно, и каждый поверит!»

– Да вы не волнуйтесь, – сказал секретарь, неверно истолковав гримасу, искажившую лицо Димы. – Рашуль вас скоро примет. Садитесь вот здесь, – он гостеприимно указал на свой собственный стул. – Хотите псалмы почитать?

– Нет, спасибо, – отказался Дима. Ему было стыдно признаться, что читать на иврите он толком так и не научился. Разбирал самые простые слова, а когда дело доходило до документов, под самыми разными предлогами просил кого-нибудь из местных жителей прочесть их вслух. На слух Дима воспринимал куда быстрее и лучше. Ивритские буквы, напоминавшие маленьких черных червячков, уползали из зоны его внимания, будто глаз постоянно терял фокус, не в силах сосредоточиться на этих затейливых закорючках.

Он уселся на табурет секретаря и еще раз окинул взглядом приемную. Ему не понравились сидевшие в ней люди. В каждом Дима

усмотрел некую ущербность, внутреннюю трещину. Человек нормального душевного здоровья не станет сидеть с физиономией каменной бабы, истово шевеля губами.

Он понимал, что в эту комнату каждого привели разного рода несчастья и неприятности, сравнимые с его, Диминой, бедой. Но себя он видел наособицу. Его случай был отдельным, выпадающим из рамок привычных напастей, подлым, беззастенчивым случаем, свалившимся на него без всякой вины, по лихой воле негодяя.

– Прошу, – секретарь осторожно тронул за плечо Волкова. – Учитель ждет вас.

Рашуль походил на завскладом небольшого предприятия. Таким он показался Диме. Обстоятельных размеров человек в черном пиджаке, бархатной шапочке, прикрывающей лысину, седой бородой во все лицо и цепким взглядом. Он сидел за роскошным буковым столом со столешницей из темно-коричневой кожи. На столе горели две свечи, и стояла в серебряной рамочке табличка с письменами на иврите. Чудотворец опирался на спинку глубокого кресла, и, когда Дима уселся на предложенный секретарем стул, лицо Рашуля оказалось точно между огоньками свечей.

«Вот артист», – подумал Дима, и Рашуль, словно услышав его мысли, улыбнулся. Хорошо улыбнулся, весело и по-доброму, и от этой улыбки на душе у Димы стало спокойно. Невидимые нити доверия вдруг протянулись между ним и этим, совсем незнакомым, чужим человеком.

– Знаешь, – спросил Рашуль приятным низким баритоном, – какая самая тяжелая заповедь на свете?

– Нет, – пожал плечами Дима. Он вообще про заповеди слышал полтора раза, а уж какая из них легкая, а какая тяжелая, не имел даже зеленого понятия.

– Всевышний освятил нас множеством повелений, – продолжил Рашуль. Его голос оказывал на Диму завораживающее действие. – И наиболее сложное из них – любить людей. Да, всех людей, вне зависимости от того, как они себя ведут и как относятся к нам. Проще всего, конечно, любить тех, кто похож на тебя. Но настоящее выполнение заповеди заключается в том, чтобы научиться дарить любовь каждому. Подобно дереву, которое делится своей тенью с любимым, кто войдет под его крону.

«Какая, к черту, любовь? При чем здесь заповеди? Где я и где они?» – возмущенно подумал Дима. – Он просто гипнотизирует меня

своим голосом и взглядом. Как удав кролика, перед тем как заглотить его живьем!»

Волков хотел развить и продолжить эту мысль, но она вдруг исчезла, смытая валом тепла и доверия. В его организме началась удивительная химическая реакция, голос и взгляд Рашуля заставили работать какие-то тайные железы внутренней секреции, и они принялись вбрасывать в кровь ферменты, вызывающие блаженство. Диме стало не просто хорошо, а очень, очень хорошо, без водки и сигарет, непонятно почему хорошо. Вот так просто сидеть в комнате, смотреть на Учителя и слушать, что он говорит, наслаждаясь звуком голоса.

– На твоего обидчика, – продолжал тем временем Рашуль, – также распространяется действие заповеди. Скажи, по-твоему, любовь сопоставима с кровавыми пузырями?

Он снова улыбнулся, а Дима вздрогнул, выпадая из блаженного кайфа. Рашуль читал его мысли. Да, совершенно и однозначно, цепкий глаз чудотворца проникал в самые сокровенные уголки Диминого сознания. Как же с этим жить дальше, ведь от такого контроля не спрячешься, не убежишь?!

– Расскажи мне про свою обиду, – мягко попросил Рашуль. – Да, я действительно кое-что могу увидеть, но не все, далеко не все. Только самые общие черты. Если ты хочешь, чтобы я помог, постарайся не пропустить ни одной, даже самой незначительной подробности.

– Да что тут рассказывать! – воскликнул Дима и начал говорить. К его собственному удивлению, рассказ получился довольно длинным. Рашуль внимательно слушал, глядя Диме прямо в лицо, а когда тот закончил, отвернулся к стене и долго барабанил пальцами по кожаному подлокотнику кресла. В комнате стояла абсолютная тишина, нарушаемая чуть слышным потрескиванием свечей. Проезжающие по дороге автомобили двигались совершенно бесшумно.

«Окна специальные поставили, – сообразил Дима. – Со звуковой изоляцией».

– Все совсем не так просто, как ты себе представляешь, – наконец произнес Рашуль. – За спиной твоего Чубайса кроются грозные силы.

– Да за этим задрыгой никто не стоит! – вскричал Дима, но тут же осекся. В присутствии Рашуля столь явное проявление эмоций казалось несусветной грубостью.

– Ты просто их не видишь, – пояснил Рашуль. – Но они есть, а Чубайс всего лишь марионетка в их руках. Самому тебе с ними не справиться.

– Как справиться с тем, кого не видишь? – возразил Дима.

– Резонное замечание, – улыбнулся Рашуль. – Давай поступим так. Ты отправишься на станцию и передашь Чубайсу, что он должен разорвать свой договор с кибуцем, выплатить, если понадобится, неустойку, и вернуть тебе право на аренду.

– Чего? – выпучил глаза Дима. – Никаких шансов! Он же не сумасшедший!

– И в завершение своих слов, – не обращая внимания на реакцию Димы, продолжил Рашуль, – передай, если он откажется выполнить твои требования, ему придется иметь дело со мной.

– Да он про вас слухом не слыхивал.

– Он, может, и не слыхивал, зато те, другие, хорошо со мной знакомы. Действуй, Дима, и держи меня в курсе событий.

– Как держать?

– Вот тебе номер моего сотового телефона, – Рашуль вытащил из ящика стола листок бумаги, извлек из внутреннего кармана пиджака остро заточенный карандаш и записал номер. – Звони. Я всегда на связи. Думаю, что твой недруг скоро сам придет к тебе и попросит вернуться на станцию.

Дима раскрыл рот, сначала от удивления, а потом решив произнести несколько благодарственных слов, но стоявший за спиной секретарь осторожно, однако вполне недвусмысленно толкнул его в плечо, давая понять, что прием завершен.

– Не вздумайте передавать третьему лицу номер Учителя, – предупредил секретарь, когда они вышли из комнаты. – Если позвонит чужой, он не снимет трубку.

– А как Рашуль узнает, кто звонит? – поинтересовался Дима.

– Учитель узнает. Желаю вам удачи.

Секретарь повернулся к очереди и царственным жестом извлек из нее следующего посетителя. Дима посмотрел, как за их спинами закрылась дверь кабинета, повернулся и пошел к машине.

« Ну и задачка, – думал он, медленно спускаясь к Кинерету. – Я буду иметь вид полного идиота. Чубайс обхохочется. Заплати неустойки и верни аренду, а не то... будешь иметь дело с Рашулем. Тоже мне угроза! Но Учитель уверен, будто его слова подействуют.

И не просто подействуют, а Чубайс сам станет просить меня вернуться на станцию. Чудо дивное! Впрочем, чего еще ждать от чудотворца! За этим я к нему и пришел!»

Он на разные лады прокручивал в голове слова Рашуля, прекрасно понимал их нелепость, но с холодной ясностью осознавал, что выполнит все, что велел Учитель.

Дима не стал советоваться с женой. Он нырнул в ситуацию, как в Иордан за тонущим мальчишкой, не задумываясь, головой вниз. Прямо из Явниэля он отправился на станцию. Ворота – конечно же! – были небрежно полуоткрыты. Дима по-хозяйски затворил их за собой, подъехал к домику и приветственно махнул рукой выскочившей Людмиле.

– Где Чубайс?

– Пошел прогуляться, – удивленно сказала она, вытирая руки кухонным полотенцем. – А зачем он тебе?

– Дело есть, как его отыскать?

– Сейчас вызвоню, – она вернулась в домик и набрала сотовый мужа.

– Кто-кто? – переспросил Чубайс, – Волков? Хорошо, сейчас буду.

Дима отошел к берегу и остановился возле мостика, на котором он провел долгие-долгие дни, отправляя каяки, и обида с новой силой сжала его сердце. Случившееся было так несправедливо, так подло, что когда за его спиной раздалися шаги Чубайса, он, чтобы успокоиться, изо всех сил сжал кулаки, чувствуя, как ногти больно вонзаются в кожу.

– На работу приехал устраиваться? – насмешливо спросил Чубайс. Пока он шел к станции, фанфары свершившейся мести начисто заглушили шелест пробивающихся ростков раскаяния.

– Да, – ответил Дима. – И как можно быстрее.

Передать Чубайсу слова Рашуля заняло полминуты. Тот смотрел на Диму сначала с недоумением, а потом с жалостью.

– Ты что, парень, – вдруг спросил он нормальным, «старым» голосом. – Совсем от обиды рехнулся? Хоть соображаешь немного, что говоришь?

– Да, – твердо сказал Волков. Деваться ему было уже некуда. Он сам, своими собственными руками загнал себя в совершенно идиотское положение, и выход из него был только один: до конца стоять на своем.

– Ты бы, это, к врачу обратился, – продолжал Чубайс. – Светка хоть знает, с чем ты сюда приехал?

– Не смей называть мою жену Светкой, – огрызнулся Волков. – Какая она тебе Светка?!

Чубайс на секунду замолчал, а потом открыл рот и уже собрался объяснить Волкову, кем ему доводится его благонравная супруга, но вдруг воздух раскололся от ужасающего рева. Прямо над Иорданом тройка истребителей «Фантом» преодолела звуковой барьер. Когда на станции вновь воцарилась тишина, Чубайс успел опомниться.

– Я не могу принять твое предложение, – сказал он. – Оно мне кажется глупым и нереальным. Будь здоров, дорогой друг Волков. Придумай что-нибудь пооригинальнее. – Он окинул презрительным взглядом багрового от стыда и негодования Диму и пошел к домику.

– С чем он приходил? – спросила Люда.

– По-моему, Дима рехнулся, – ответил Чубайс, усаживаясь за стол. – Представляешь, он предложил мне отказаться от аренды, заплатить кибуцу неустойку и мотать удочки. А иначе, – тут Толя не смог удержать усмешки, – мне придется иметь дело с самим Рашулем из Явниэля.

– А кто это такой?

– Пингвин какой-то. Охмурили попы Диму. Знаешь, я уже не раз замечал, как люди в минуту несчастья попадались в лапы к религиозным. Они точно охотники за бабочками бродят по жизни с сачком и улавливают души.

– Голимые сволочи! – в сердцах воскликнула Люда. – И куда только Бог смотрит!

* * *

Следующий день выдался знойным. Воздух наполнил жаркий дух раскаленной земли, острый аромат нагретой солнцем свежей зелени придавал ему волнующую прелесть. Но уже чувствовалось приближение жгучего лета; осиянные солнцем облака потеряли холодность и белизну, а напоминали смятое после бессонной ночи желтое пуховое одеяло.

К вечеру, устав от жары, Люда решила выкупаться. Под боком была прекрасная купальня, которой она еще ни разу не воспользовалась. Чубайс придумал себе какое-то дело в Тверии и укатил на

весь день. Перебросив полотенце через плечо и взяв за руку Лялю, Люда отправилась в купальню. Прохладная вода маняще журчала, теребя свесившиеся в поток ветки кустарника, шуршали метелки камыша, всплескивала в темнеющей заводи серебристая форель.

Люда посадила дочку на берегу перед входом в купальню, надорвала пакетик «Бамбы» и, оставив девочку уплетать лакомство, вошла внутрь. Дверь она оставила приоткрытой, чтобы слышать все, что происходит с ребенком. Сбросив платье, она оглядела себя в новом купальнике. Хороша, по-прежнему хороша!

Крепко держась за перила, она спустилась по ступенькам в обжигающую воду. Дыхание перехватило, и, чтобы поскорее адаптироваться, Люда прыгнула в Иордан.

А дальше случилось неожиданное. Доски, выгораживающие внутреннее пространство купальни, успели прогнать за зиму. То ли по реке прошла зыбь, то ли последней каплей стала волна, поднятая падением Люды, но часть загородки с треском рухнула и тут же уплыла, уносимая быстрым течением. Река, ворвавшаяся в купальню, подхватила вынырнувшую Люду, ударила об остатки загородки и оглушенную, почти потерявшую сознание, понесла дальше.

От испуга и шока Люда даже не пискнула, прошло всего несколько секунд, как она оказалась за изгибом русла и потеряла из виду купальню. В голове помутилось, Люда не понимала, что происходит, как очутилась в реке и вообще кто такая. Жила лишь животная часть ее сознания, отчаянно борясь за жизнь, руки и ноги сами собой двигались, не давая телу пойти ко дну. Спустя сорок минут оглушенную, наглотавшуюся воды, ничего не соображающую Люду вынесло в Кинерет. С трудом доплыв до пляжа, она выбралась на берег, и без чувств рухнула на пластиковый стул под цветастым зонтом.

Тем временем из глубин Иордана поднялось к поверхности диаволинное существо, одно из тех, кого в старых сказках именуют водяными ведьмами. Современной науке еще предстоит изучить этот вид жизни, достоверно описать его, расправ на иголках классификации. Талмудические источники называют их промежуточной формой между человеческой расой и духовными сущностями. Подобно людям, они рождаются, умирают, едят, пьют и размножаются. А как духовные сущности – летают от края до края мира и могут заглядывать в будущее. Они созданы из двух основ – огня и воздуха, тогда

как все остальные земные создания из четырех – огня, воды, воздуха и земли. Их тела неполноценны в глазах человеческих и поэтому могут принимать самые разнообразные формы.

Поднявшись по ступенькам купальни, ведьма приобрела внешний вид Людмилы. Издалека, не различая лица, их можно было с легкостью перепутать. Быстро одевшись, ведьма набросила полотенце на голову, словно прикрыв мокрые волосы, и вышла наружу.

– Мама, – закричала Ляля, – мама, я уже съела всю «Бамбу»!

Но «мама» прошла мимо нее, будто мимо неодушевленного предмета. Девочка недоуменно вскинула головку, вскочила на ноги и побежала следом.

Ведьма шла широким шагом, ее движения были быстры, но несколько угловаты. Одной рукой она придерживала край полотенца, закрывавшего лицо, второй отмахивала, точно строевой офицер на плацу. Ее тяжелую походку нельзя было даже сравнить с изящной поступью Людмилы.

– Мама, мама! – кричала Ляля, не в силах догнать водяную. – Подожди меня, мама!

Ведьма ворвалась в домик, вошла в спальню, распахнула дверцы платяного шкафа и начала выбрасывать из него одежду. Отыскав косынку из полупрозрачной ткани, она накинула ее на лицо вместо полотенца и ринулась на кухню. Стоявшая у двери Ляля не успела освободить дорогу и, получив хороший пинок, растянулась на полу.

Слезы брызнули фонтаном, жалобный детский крик пронзил воздух. Но ведьма не обратила на это ни малейшего внимания. Вытащив из холодильника кастрюлю с едой, она жадно набросилась на их содержимое. Ела ведьма точно зверь, загребая еду руками, урча и чавкая.

Ляля с расквашенным носиком, из которого сочилась кровь, выла на полу. В этот самый момент на станцию вернулся Чубайс.

– Люда, что случилось?! – воскликнул он, увидев жену, доедавшую вчерашний суп прямо из кастрюли. – Почему ребенок плачет?

– Папа, папочка, – закричала Ляля, поднимаясь с пола. Увидев окровавленную мордашку девочки, Чубайс подхватил ее на руки, отнес в душевую и тщательно вымыл.

– Сильно болит, доченька?

– Уже нет.

– Ну, ничего страшного, расшибла немножко носик, до свадьбы заживет. А как это случилось?

– Мама меня толкнула.

– Мама?! – изумился Чубайс. Люда души не чаяла в дочке и оберегала ее от малейшей опасности. Она бы скорее дала отрубить себе руку, чем толкнуть ребенка.

– Мама купалась в речке, а потом сильно захотела есть и побежала домой. Я тоже съела «Бамбу» и побежала за мамой. А потом... потом, я помешала ей пройти на кухню, вот она и толкнула меня изо всех сил.

Чубайс слушал Лялю с нарастающим удивлением. Это настолько не походило на Люду, что он оставил ребенка и поспешил на кухню.

– Эй, подружка, что с тобой происходит? – спросил он и, приблизившись к жене, протянул руку, чтобы сорвать с ее лица косынку. Но Люда ловко уклонилась и ударила мужа кулаком в грудь так, что тот отлетел к дверям.

– Кончай жрать, как свинья, и немедленно сними эту дебильную косынку, – заорал Чубайс. – Ребенок весь в крови, а ты брюхо набиваешь! А ну... – рассвирепев от собственных слов, он бросился на жену. Кулак, который встретил его на полдороге, походил на железный толкач.

Чубайс очнулся на полу. Голова болела, во рту было кисло от крови. Люда продолжала жрать, пустые кастрюли громоздились на столе. И тут до Чубайса наконец дошло, что дело плохо. Что-то случилось с его женой, что-то непонятное и страшное.

– Людочка, милая, – он осторожно приблизился к жене, облизывающей пальцы. – Что случилось, расскажи! Тебя кто-то обидел?

Вместо ответа из-под косынки раздался хохот. Ужасный, угрожающий хохот, напоминающий скорее рев животного или завывание дикого зверя. Тяжелой поступью Людмила двинулась к выходу. Чубайс посторонился.

«Как она странно ходит, – подумал он. – Будто манекен. О Господи, что же тут произошло?!»

Ведьма вышла из домика и огляделась. Заметив сено для пони, сложенное под навесом, она устремила к нему, взобралась на самый верх копны, зарылась поглубже и затихла.

– А где мама купалась? – спросил Чубайс у девочки. – Прямо в реке?

– Нет, в купальне. Она внутрь зашла, а я сидела на берегу и ела «Бамбу».

– Всю съела?

– Всю, до крошечки!

– Вот тебе еще! – Чубайс достал из кухонного шкафчика припрятанный Светой пакетик, надорвал упаковку и отдал Ляле. – Пойдем, прогуляемся до купальни.

Ему почему-то казалось, что несчастье связано с Иорданом. От суши он не ожидал подвоха, но мутная субстанция реки казалась ему опасной и ненадежной. Чубайс смотрел на быстро несущуюся воду с почти суеверным страхом. Иордан представлялся живым существом, гибким голодным зверем, мечущимся в клетке берегов.

Его подозрения подтвердились. Заглянув в купальню, Чубайс сразу понял, что произошло. Часть ограждения рухнула, подмытая течением, обломок доски ударил Лялю по голове, и разум ее померк. А возможно, обошлось и без удара, она сильно испугалась, и то, что сейчас происходит, последствия пережитого шока.

Крепко держа дочку за руку, Чубайс поспешил домой. Темнело, сумерки важно наплывали на Иордан, серый туман стелился вдоль реки, оттеняя грустно-фиолетовые краски вечера.

«Надо еще раз поговорить», – решил Чубайс. Взяв фонарик, он подошел к стогу и стал шарить внутри сена, приговаривая:

– Людочка, это я, не бойся, все хорошо, я здесь, я с тобой.

Внезапно из сена высунулась рука, вырвала фонарик и резким движением отбросила его далеко в сторону, а затем раздался уже знакомый Чубайсу то ли рев, то ли хохот.

По его спине побежали мурашки. Нет, он не испугался, разве может мужчина бояться собственной жены?! Что-то давно забытое шевельнулось в его душе, смутная тень прошлого, опасная, тревожная тень мелькнула на краю сознания.

– Ладно, – миролюбиво произнес Чубайс. – Не хочешь говорить, не надо. Поспи себе до утра.

Он поднял фонарик и пошел к домику, надеясь, что благотворное действие сна целительно воздействует на помутившийся разум его несчастной жены.

Чубайс уложил Лялю в кроватку, поцеловал и хотел было погасить свет и выйти, но девочка захныкала:

– Папа, я боюсь! Папа, не оставляй меня одну!

Он сидел возле кровати, хмурый, как осенняя туча, и долго пытался увязать в голове причины и следствия. Свалившееся несчастье было столь красноречивым, что его понимание вот-вот должно было само сорваться с языка. Разгадка крылась рядом, за одним поворотом стены, но он никак не мог преодолеть этот поворот.

Предупреждение Рашуля не раз и не два приходило Чубайсу в голову, но он сразу отбивал его в сторону, как хоккеист шайбу. Не было никакой связи между прогнившими досками купальни и договором на аренду. Ни-ка-кой!

Ляля лежала молча, крепко сцепившись в руку отца и посапывая разбитым носиком. Когда Чубайс уже решил, что она уснула, и начал потихоньку высвобождать пальцы, она спросила совершенно ясным голосом:

- Папа, почему мама со мной не разговаривает?
- Она заболела.
- Когда?
- Когда купалась. Ты видела, что купальня поломалась?
- Видела.
- Мама сильно испугалась и заболела.
- Ты завтра повезешь ее к доктору?
- Да. Или доктора к ней. Посмотрим, как получится.
- А я и не знала, что мама такая трусиха.
- Я тоже не знал. Спи, девочка.

Ляля уснула, Чубайс вышел из домика, уселся на влажном от росы крыльце и долго курил, вглядываясь в ночное небо и прислушиваясь. Он пытался уловить дыхание жены, но до навеса с сеном было слишком далеко.

Рано утром, когда Чубайс и Ляля еще лежали в постелях, ведьма ворвалась в домик, с грохотом распахнула холодильник, крепко ударив дверцу о стул, выгребла остатки съестного и принялась пожирать.

– Люда, Люда, – издалека, не решаясь переступить порога кухни, позвал ее подскочивший с постели Чубайс, но ответа не удостоился.
– Мамочка, – крикнула Ляля, – ты повезешь меня в садик?

Опустошив холодильник, ведьма начала рыться в шкафчиках. Все шло в ход: сухие макароны, томатная паста, печенье, крупы. Пакетики с быстрорастворимыми супами она, надорвав, высыпала прямо в рот. Чубайс только головой качал от изумления.

Насытившись, ведьма вышла из домика и снова забилась в сено. Только тогда Чубайс и Ляля решились оставить комнату.

– Одевайся, я отвезу тебя в садик, – сказал Чубайс. – Позавтракаем где-нибудь по дороге, ты же видишь, что делается на кухне.

– Вижу, – очень серьезно произнесла девочка.

– А потом я попрошу тетю Рути забрать тебя к себе на пару дней. Пока мы с мамой тут разберемся.

– Тетя Рути! – захлопала в ладошки Ляля. – Хочу к тете Рути!

Рути, одна из немногих подруг Люды, жила в Тверии, и с ее дочками Ляля частенько играла, пока мамы пили кофе и курили, обсуждая «сучность насущных проблем и смежность существ Толяния».

Закинув дочку в садик, Чубайс поехал к доктору. Их семейный врач, спортивного вида мужчина средних лет с заурядной фамилией Рабинович, любил пошутить и к Чубайсу относился с симпатией. Честно говоря, Чубайс подозревал, что подлинной причиной теплого отношения доктора была Людмила. Когда та входила в кабинет, Рабинович буквально таял, расплываясь в масляной улыбке, и постоянно назначал пациентке разного рода профилактические осмотры.

– Ему просто нейдет увидеть тебя голой, – утверждал Чубайс.

– И полапать, если удастся.

– Дурак, – отмахивалась Люда. – За все время доктор только один раз попросил меня раздеться. И то до пояса.

– Мало?! А ты бы хотела до пяток?

– Как есть голым придурок, – презрительно фыркала Люда.

– Техника развивается, сегодня пациентам уже не требуется снимать одежду. Доктор Рабинович осторожный и внимательный врач. А ты примитивный, ревнивый собственник. К тому же дурной на всю голову.

– Да что мне, жалко! – оправдывался Чубайс. – Пусть себе пользуется. Лишь бы тебе было хорошо.

– Ах, вот значит, как ты ко мне относишься! – заводилась Люда.

После этого разговор обычно переходил на повышенные тона и почти всегда завершался скандалом. В общем, доктора Рабиновича Чубайс не шибко любил, но больше идти было не кому.

– Ест все подряд? – переспросил доктор.

– Ну да, метет, как что есть, – подтвердил Чубайс.

– А вы ей на сегодня еду приготовили? Больная проснется, начнет искать, а на кухне пусто.

– Нет, – сокрушенно произнес Чубайс. – Даже в голову не пришло. О другом думал.

– Так сделаем, – подвел итог Рабинович. – Пока я заканчиваю прием, вы поезжайте в супермаркет, купите продуктов. Судя по вашему рассказу, аппетит у Людочки – дай Бог, нужно подготовиться. А после приема поедем и осмотрим больную. Случай, прямо вам скажу, интересный.

– Доктор, есть шанс ее вылечить? – взволновался Чубайс.

– Ну, откуда же мне знать, – развел руками Рабинович. – Я ведь не могу поставить диагноз на основании вашего рассказа. Как минимум необходимо произвести осмотр.

«Опять осмотр, – со злостью подумал Чубайс. – Ну, ничего, получишь свою порцию, забудешь про осмотры»

– Боюсь, доктор, – все-таки решил предупредить он врача, – ничего из этого не получится. У нее в голове что-то помутилось, не разговаривает, рычит, точно дикий зверь. И дерется.

– Вы это уже рассказывали, – сказал Рабинович, поднимаясь из-за стола. – Сначала произведем осмотр, а там видно будет.

Как Чубайс и предупреждал, ничего путного из визита доктора не получилось. Когда машина въехала на станцию, в открытые окна ворвался злобный рев. Так рычат голодные медведи.

– Это она? – с нескрываемым удивлением спросил Рабинович.

– Думаю, да.

В домике царил полный разгром. Не найдя еды, ведьма выместила свою злость на мебели. Рабинович задумчиво осмотрел завитую винтом металлическую опору вентилятора и перевел взгляд на Чубайса.

– Ваша жена и раньше отличалась особенной силой?

– Да никогда она ничем не отличалась! – в сердцах воскликнул Чубайс, осматривая разрушенное жилище. – Баба как баба. Вот вы, доктор, сможете так загнуть ножку вентилятора?

– Откуда, – пожал плечами Рабинович. – Даже близко не смогу.

– И я не смогу. И Людка никогда такого не могла. Точно бес в нее какой вселился. Слышите, как рычит?

Рев, перемежающийся диким хохотом, непрерывно доносился с сеновала.

– Возьмите еды и пойдем к ней, – предложил доктор.

Чубайс вытащил из багажника два больших пакета с жареной картошкой и протянул их Рабиновичу.

– Нет, нет, – ответил тот. – Вы будете кормить жену, а я исхитрюсь, подойду сбоку или сзади и накину на нее смирительную рубашку. Вдвоем мы свяжем Людмилу, и тогда я смогу произвести осмотр.

– Ладно, давайте попробуем, – с иронической усмешкой произнес Чубайс.

– Что вас смущает? – спросил Рабинович, доставая из портфеля смирительную рубашку. – Неужели двое здоровых крепких мужчин не сумеют совладать с одной слабой женщиной?

– Боюсь, что не сумеют.

– Пошли, – произнес доктор тоном, не терпящим возражений.

– Люда, Людочка, – позвал Чубайс, войдя под навес с сеном. – Выходи, дорогая, посмотри, что я тебе принес.

Словно ветер пронесся над стогом, сено разлетелось, из его глыбины одним прыжком выскочила ведьма, в помятом, перепачканном платье. Ее голова была плотно обвязана косынкой, полностью скрывающей лицо. Оказавшись рядом с Чубайсом, ведьма выхватила из его рук пакеты с картошкой, надорвала один из них и принялась горстями запихивать ее в рот.

Рабинович улучил момент, когда одна рука Людмилы оказалась под косынкой, а вторая сжимала пакеты, подскочил сзади и набросил на голову смирительную рубашку. Чубайс ухватился с другой стороны, и вдвоем они резко потянули рубашку вниз.

Когда руки водяной скрылись под тканью, Чубайс и Рабинович налегли изо всех сил. Если бы им удалось опустить край рубашки до колен, то руки Людмилы оказались бы плотно прижатыми к туловищу, и тогда...

Ведьма, не ожидавшая такого напора, на несколько секунд замешкалась, и край рубашки оказался у ее пояса.

– Готово! – радостно воскликнул Рабинович. – Поймали голу-бушку!

Но его радость оказалась преждевременной. Ведьма развела руки, и крепкая, стеганая ткань разлетелась, словно гнилая мешковина. Освободившись, ведьма разразилась диким хохотом, а затем в считанные секунды разорвала рубашку в клочки. Схватив за шиворот остолбеневших от удивления Рабиновича и Чубайса, ведьма оторвала их от земли и начала кружиться вокруг своей оси. Кружилась она так быстро, что ее жертвы приподнялись под углом, словно на цепной карусели.

Крак, крак – разорвались рубашки, и Чубайс с Рабиновичем полетели каждый в свою сторону. Пока они, охая, поднимались на ноги, ведьма вытащила из открытого багажника несколько мешков с едой и укрылась в стоге сена.

– Боже мой, что же это такое! – не устал повторять потрясенный Чубайс. – Это не Людка, это какое-то чудовище! Она нас закружила, как большая карусель в парке культуры и отдыха.

Никогда не бывавший в России Рабинович понятия не имел, что такое парк культуры и отдыха. Но поведение пациентки поразило его куда меньше, чем ее мужа.

– Безумие придает силы, – ответил он, растирая ушибленное плечо. – Вы и представить себе не можете, на что способен подвигнуть человека недуг. Пока я вижу типичный случай сильного нервного стресса. Несомненно, его причиной послужило внезапное падение в воду и удар бревном по голове, о котором вы мне рассказали. Обычно первые дни протекания болезни отличаются агрессивностью и повышенным аппетитом, но потом то и другое приходит в норму.

Он поправил одежду, пригладил растрепавшиеся волосы и заговорил уже вполне докторским тоном.

– Итак, перед нами два пути лечения болезни. Можно вызвать психиатрическую службу, которая увезет больную в закрытую лечебницу.

Чубайс иронически хмыкнул:

– Боюсь, доктор, ничего из этого не выйдет. Вы же видели, как она нас закрутила.

– Думаю, четверо обученных санитаров сумеют с ней справиться, – ответил Рабинович. – Меня больше волнует другое. Конечно, поместить больную в клинику проще и надежнее всего. Но! – Тут он поучающе поднял вверх указательный палец. – Такого рода вмешательство может привести к непредсказуемым результатам. Первоначальный шок от стресса мы усилим вторичным шоком. Психиатрическая лечебница – непростое место. Больную там ожидает строгий распорядок дня, ей придется приспособиться к новой обстановке. В таком состоянии любое, самое незначительное обстоятельство может послужить причиной для необратимых изменений психики.

– Так что же делать, доктор?! – воскликнул Чубайс.

– Мне кажется, наиболее правильным будет оставить больную здесь, в окружении привычных предметов. Будем надеяться, что жизнь в своем доме постепенно приведет к просветлению сознания. Я выпишу успокоительное, и вы будете потихоньку капать его на хлеб и другие продукты.

– Конечно, доктор, давайте оставим ее здесь! А сколько может занять выздоровление? У меня через две недели сезон открыва-ется, сами понимаете

– Думаю, что больше, чем две недели. Но давайте не будем то-ропиться с выводами. Начнем лечение, а дней через пять-шесть по-смотрим. В лечебницу мы всегда успеем ее отправить.

– Да-да, – закивал Чубайс, – да-да, конечно.

– И вот еще что. Нужно ослабить организм больной. Постарай-тесь кормить Людмилу поскуднее. Ослабление тела, как правило, приводит к усилению духовной составляющей, и, может статься, подчеркиваю, не обязательно, но вполне вероятно, такого рода ща-дящее лечение приведет к положительным сдвигам.

Чубайс перетащил часть еды из багажника на кухню, запер стан-цию, отвез Рабиновича в Тверию и поехал в кибуц. В его голове соз-рел план действий, отличный от того, который предложил ему врач. У Чубайса не было сомнений, что в его жену вселился злой дух. Бес, черт, леший или домовый – он не умел правильно назвать не-званного гостя, но зато хорошо знал Людмилу и за годы совместной жизни успел хорошо изучить ее характер, привычки и повадки. Су-щество, прячущееся в сене, только внешне походило на его жену. Но это была не она, совершенно четко и явно не она, именно поз-тому и прятала лицо под косынкой.

Месяца четыре назад, вскоре после окончания летнего сезона, Чубайс случайно познакомился со странным человеком. Тот бро-дил вокруг станции, держа в руках деревянный треугольник, словно проводя какие-то измерения. Волкову показалось, будто этот тип из налоговой инспекции, а дурацкий треугольник таскает для отвода глаз.

– Мало ли что он тут вынюхивает. Никогда не отгадаешь, с какой стороны эти гады могут подъехать.

– Щас, – заверил его Чубайс, – я мигом с ним разберусь. У меня глаз наметанный.

Вблизи тип выглядел более чем странно. Окладистая седая бо-рода, которой не постыдился бы раввин, причудливо сочеталась с

татуировками на лбу, щеках и даже веках. Золотая цепочка, свисавшая на шею, соединяла вместе магендовид, крест, полумесяц, инь-ян и закорючку, похожую на свастику. Разглядев украшения и татуировки, Чубайс сразу понял, что никакого отношения к налоговой инспекции этот тип иметь не может.

– Здорово, дед, – бросил он не очень дружелюбным тоном.

– Какой я тебе дед, – ответил тип. – Ты постарше меня будешь.

– Во загнул! – хлопнул себя по коленкам Чубайс. – А с каких щей у тебя борода седая до пояса?

– Не со щей, а от переживаний. А что такое щи, объясни-ка, будь любезен.

Непростая задача объяснить человеку, родившемуся между Иерусалимом и Тель-Авивом, что такое русские щи. Но с помощью подросшего Волкова все-таки удалось справиться с задачей. Беседа плавно перетекла в застолье. Сидели на скамейке возле реки, пили холодное пиво, закусывали свежеподжаренной картошкой и неспешно беседовали, глядя на быстро несущийся, будто куда-то опаздывающий Иордан. Бородача звали Симха. А профессию он себе обозначил совсем загадочную.

– Шаман, – сказал Симха, улыбаясь самыми кончиками губ. – Маг и волшебник.

– Иди ты, – махнул рукой Чубайс. – Не хочешь говорить – не надо. Никто не заставляет.

Но Симха действительно оказался шаманом, причем дипломированным. Лет десять назад он начал собирать материалы для диссертации на тему колдовства и магии и так увлекся предметом исследования, что забросил университет и полностью посвятил себя эзотерике. Впрочем, диссертацию он в конце концов все-таки защитил, но, по собственному выражению, из чисто спортивного интереса.

Куда только не заносил Симху азарт исследователя! Он побывал у эскимосов, танцевал под рокот тамтамов в джунглях Мозамбика, год выдержал послушником в монгольском монастыре, бродил с аборигенами по великой австралийской пустыне. Когда же ему надоели бесприютные странствия, а в эзотерике он стал чувствовать себя словно на домашней кухне, он вернулся в родной кибуц, где наконец обрел успокоение под сенью финиковых пальм.

В кибуце Симха выполнял самые простые сельскохозяйственные работы вперемежку с ведением деловой переписки от имени

секретариата. Кибуц оплатил его учебу в университете и поэтому имел право требовать отдачи. Все свободное время, а его у Симхи оказалось немало, поскольку супружескими обязательствами, отнимающими большую часть жизненных сил, он благоразумно пренебрег, шаман тратил на занятия магией, которую успел основательно изучить во время скитаний.

– Магия-шмагия, – слегка пренебрежительно бросил Чубайс после третьей банки пива. – Расскажи лучше, отчего у тебя борода поседела?

– Если расскажу – не поверишь. Лучше молчать.

– Ладно, – с неожиданной легкостью согласился Чубайс. – Не хочешь – не говори. А я вот тоже с нечистой силой встречался.

Волков, сообразив, что разговор неминуемо несется к истории про чертей, которую он уже успел выслушать по меньшей мере три раза, сослался на какое-то неотложное дело и ушел. Чубайс с Симхой до позднего вечера рассуждали о тайных тропах мироздания и невообразимости сущного. Впрочем, говорил в основном Симха, а Чубайс, захмелевший и потому добрый, лишь поддакивал да глупо улыбался, слушая шум реки.

Расстались они почти друзьями, но, хоть обещали поддерживать связь, друг другу так ни разу и не позвонили. Потом Чубайс купил новый смартфон и забыл перенести в него номер шамана. И вот пробил час. Чубайс спешил в кибуц, ему почему-то казалось, что Симха сумеет спасти Люду.

Шамана он отыскал в секретариате.

– Так это ты новый арендатор каяков? – спросил Симха после обмена приветствиями. – Видал я твой договор, круто ты, парень, дело завернул. – Он повертел головой и саркастически усмехнулся. – И как только духу у тебя хватило в такую кабалу влезть? Что, посоветоваться было не с кем? Мог бы ко мне в крайнем случае приехать. Я хоть и кибуцник, но постарался бы тебя отговорить от такой обираловки.

– Не о том сейчас речь, – перебил его Чубайс. – Лучше послушай, что с моей женой произошло.

По мере рассказа глаза Симхи разгорались все сильнее и сильнее. Когда Чубайс замолчал, он от возбуждения вскочил с места.

– Какой, к дьяволу, шок?! Этот докторишко ничего не понимает! Твоя жена одержимая!

– Одержимая?!

– Конечно! Кристальной простоты случай. В нее вселилась демонская сущность.

– И что теперь делать?

– Изгонять! Меня этому долго учили. Пошли, я соберу инструменты.

Из машины Симха выскочил, словно мальчик, легко и резво. Поднеся к губам заранее приготовленную дудочку, он затащил заунывную, постоянно повторяющуюся мелодию. Иногда звук поднимался так высоко, что до ушей Чубайса доносились лишь свист и шипение. Поиграв минут пять, шаман спрятал дудочку и озабоченно пробормотал:

– На звук не идет. Ладно, попробуем на запахах.

Он вытащил из машины холщовую сумку, расшитую бисером. Разноцветные бусинки составляли затейливый узор. Чубайс присмотрелся и озадаченно хмыкнул. Ему показалось, будто узор изображает свиную морду в пенсне.

«Чушь какая-то!» – раздраженно подумал Чубайс.

Шаман тем временем достал из сумки высушенный плод, напоминающий желтую тыкву. В торце тыквы чернели дырочки. Симха осторожно поставил его на траву, вставил в отверстия ароматические палочки и поджег. Сладкий тяжелый запах наполнил воздух. Чубайс однажды нюхал нечто подобное, когда забрел в магазин индийских товаров. В нем курились похожие палочки, и аромат ...нет, аромат там был менее резкий.

Из стога сена выскочила Людмила и устремилась прямо к тыкке. Присев на корточки, она придвинула лицо, закутанное в косынку, вплотную к палочкам и глубоко задышала, втягивая дымок. Чубайс внимательно оглядел ее. Впервые после несчастья он мог, не торопясь и не отрывая глаз, рассмотреть жену. Он знал каждый изгиб ее тела, сотни раз оглаживал его вдоль и поперек, его ладони хранили память о гладкой шелковистой коже.

Рукава платья задралась, и Чубайс хорошо видел грубые локти, покрытые ноздреватой, сморщившейся шкурой. Толстые пальцы, тянущиеся к палочкам, были скрючены, точно лапы дикого зверя и вовсе не походили на тоненькие пальчики его жены с миндалевидными ноготками.

Нет, это была не Люда. Спинай к Чубайсу, жадно вдыхая аромат, сидело на корточках иное существо, только внешне напоминающее женщину, его жену.

Шаман тем временем быстро обежал вокруг водяной, высыпая из коробочки черный порошок, напоминающий молотый перец. Замкнув круг, он спрятал коробочку в сумку и с облегчением вздохнул:

– Все, попалась голубушка!

Чубайс вспомнил, как совсем недавно эти же слова произнес Рабинович, напяливая на существо – теперь он уже не мог даже мысленно называть его Людой – смирительную рубашку.

– Изгонять будешь? – спросил он шамана. Тот удовлетворенно потер руки.

– Конечно! Еще как буду!

– А оно не сбежит? Как кинется обратно в сено, не удержишь!

– Теперь ей никуда не деться, – возразил Симха. – Вот, посмотри! – и он громко хлопнул в ладоши.

Существо вздрогнуло, вскочило на ноги и рванулось в сторону навеса. Сделав два шага, оно словно уперлось в невидимую стену. Пальцы ее босых ног почти прикасались к кругу, очерченному порошком из коробочки. Существо зарычало и начало метаться внутри круга, безуспешно пытаясь выломиться наружу.

– Видал! – довольно произнес шаман. – Сейчас начнем действовать. Принеси-ка мне водички из Иордана.

– Сколько? – спросил Чубайс.

– Стаканчика хватит.

Пока Чубайс отыскал в разгромленной кухне одноразовый стаканчик, наполнил его ледяной водой и принес шаману, тот уже приступил к лечению. В его руках оказалось некое подобие лиры с одной струной, и Симха мерно дергал за нее, извлекая монотонный заунывный звук. Существо в такт звукам мерно ходило по кругу с бессильно опущенными руками и согнутой спиной.

Шаман подмигнул Чубайсу:

– Давай, облей ее водичкой.

– Как?

– Как получится. Постарайся попасть на голову.

Чубайс прицелился и ловко выплеснул содержимое стаканчика прямо на платок. Существо вздрогнуло, замерло на несколько секунд, а затем разразилось ужасающим хохотом. Косынка облепила

лицо, и то, что удалось рассмотреть, вызвало у Чубайса отвращение и ужас.

Существо распрямилось и пошло по направлению к навесу. Круг больше не сдерживал ее, подойдя к копне, оно снова разразилось хохотом, а затем скрылось в сене.

– Я что-нибудь не так сделал? – испуганно спросил Чубайс.

– Нет-нет, – ответил шаман. – С тобой все в порядке. Но дело куда серьезнее, чем я предполагал.

Он начал укладывать инструменты обратно в сумку. Чубайс терпеливо ждал, хотя больше всего на свете ему хотелось засыпать шамана вопросами.

– Вот что, любезный, – сказал Симха, повесив сумку на плечо. Он не смотрел Чубайсу в глаза, а говорил, чуть отвернув лицо в сторону, точно от собеседника дурно пахло. – Я не знаю, как это произошло, но существо, сидящее у тебя в стогу, не земного происхождения.

– Инопланетянка?! – ахнул Чубайс.

– Да нет, – поморщился шаман. – Какая еще инопланетянка. Эта ведьма ведьма, из тех, кто живет в реках и болотах. Силы земной магии над ней не властны. Мне удалось овладеть ее волей до определенного предела, но когда мы попробовали пойти дальше и ты обрызгал ее водой, она вместо полного подчинения приобрела дополнительные силы и освободилась.

– А как же с ней справиться?

– Я не умею, – пожал плечами шаман. – Меня учили только обращению с земными сущностями. Кто-то очень знающий и весьма могущественный послал ее к тебе и не в моих силах ему противостоять.

– Да кто же это такой?! – вскричал Чубайс.

– Тебе лучше знать, – ответил Симха. – Подумай хорошенько, кому ты в последнее время дорогу перебежал.

– Только Волкову. Неужели это он... – Чубайс не успел договорить, как вспомнил о предупреждении Рашуля из Явниэля и слова застряли в его глотке.

– Думай, думай изо всех сил, кроме тебя этого никто понять не сумеет.

– А где же тогда Люда? Если это ведьма, куда подевалась моя жена?

– Понятия не имею. Найди обиженного – думаю, все ответы у него. Ладно, я пойду. Не подвози меня, после такой встречи лучше всего прогуляться пешком.

– А как же быть с ведьмой? – Чубайс кивнул головой на стог.

– Не знаю, любезный, не знаю. Думай, думай хорошенько. Из этого болота тебя никто не вытащит. Только ты сам.

Шаман удалился, оставив Чубайса в состоянии полного душевного расстройтва. С каждой проходившей минутой он все отчетливее понимал, что единственный оставшийся у него выход – идти на поклон к Рашулю. А это означало не только полную победу Волкова, но серьезные финансовые проблемы. Чтобы спасти Лютю, придется отказаться от аренды, то есть заплатить кибуцу неустойку. А откуда взять деньги? В таких ситуациях Чубайсу уже доводилось бывать. Там, на громадных просторах Евразии, вопрос решался бегством, среди тысяч городов и городков России немудрено было затеряться. Но здесь, в крохотном, насквозь компьютеризированном Израиле, его сумеют отыскать за полтора дня.

«Ну и государство, – в сердцах сплюнул Чубайс, – гулькин нос, а не государство!»

Он уселся за столик, закурил и стал думать о жене. Где она, жива ли? Куда занесла ее злая воля чудотворца из Явниэля? Чубайс с тихой грустью озирает знакомый до камешка берег, эвкалипты с сетками против «пингвинят», быстро несущуюся воду Иордана. Во всех своих несчастьях виноват он сам. И черт его дернул мстить Светке! Ну, не захотела баба продолжать, так спасибо и за один раз. Чего он так на нее взъелся?! И ведь как хорошо было тут, как спокойно и уверенно. Не иначе – бес попутал.

Удрученный воспоминаниями, Чубайс повалился на песок и уставился в распростертое над его головой вечеряющее небо. Где-то там, в недостижимой высоте, неслись ярко освещенные солнцем облака, похожие на взбитые сливки. Наверху было ветрено и свежо, просто и понятно, а здесь, на остывающей земле, деревья уже тянули лиловые щупальца теней, тихо и грустно посвистывали суслики, словно предупреждая о надвигающейся опасности.

Чубайс проснулся в темноте и долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в скрип ветвей эвкалипта, шелест листьев, певучие напевы ночного ветра. Затем он решительно поднялся с земли, умылся, сел в машину и поехал в Явниэль.

Эти два дня Люда провела на пляже. Она не помнила, как оказалась на берегу Кинерета, не знала, кто она, не понимала, что делает здесь. Уцелела способность говорить о погоде, о голоде, про одежду. Имя свое она вспомнила спустя два часа, когда подсевший к ее стулу молодой человек, представившись, спросил, как ее зовут.

Красивая молодая блондинка в купальнике не пропадет даже на необитаемом острове, не то, что на берегу Кинерета. Хоть лето по-настоящему еще не наступило, но днем у воды было тепло, даже жарко. На пляж приезжали отдыхать со всей Галилеи, а не только из соседней Твери.

Дымились жаровни, шкворчащее на решетках мясо испускало умопомрачительный аромат, холодное пиво из сумок-холодильников и вино лились щедро и беззаботно.

Первый день Люда провела в компании студентов Хайфского техниона¹. Они приехали без девушек и поэтому, познакомившись с Людой, ухаживали за ней все вместе, жадно пытаясь определить ее выбор. Но Люда никого не собиралась выбирать, а когда перед рассветом под ее одеяло, любезно предоставленное теми же студентами, полез один особенно шустрый, она тихо, но очень решительно, произнесла «нет», и этого оказалось достаточно.

Утром студенты уехали. Особо шустрый умолял Люду дать ему номер телефона, она бы дала, в качестве компенсации за ночной отказ, но просто не помнила цифр. Студент при ближайшем рассмотрении оказался очень миленьким и глядел так умоляюще и столь жалобно, что задержись он еще на одну ночь... Впрочем, к чему сожалеть о несостоявшихся грехах, куда полезнее сосредоточиться на совершенных благих поступках.

Распрощавшись со студентами, Люда проспала на стуле до полудня, а проснувшись, решила освежиться. Появление роскошного тела в смелом купальнике произвело среди отдыхающих подлинный фурор, и вскоре она опять сидела у жаровни, снисходительно позволяя накладывать на пластиковую тарелку кусочки баранины, покрытые желтыми капельками горячего жира, и наливать в бумажный стаканчик холодное красное вино.

¹ Политехнический университет.

Эти приехали из Тель-Авива. Трое художников, один с женой или подругой, и два одиночки. Люда всегда представляла себе художников бородачами с дымящимися трубками в зубах, в беретках и свитерах грубой вязки, но тель-авивцы были коротко подстрижены, курили обыкновенный «Парламент», а о свитерах и беретах на пляже не могло быть и речи. Подруга – худосочная девица в больших очках и с высокомерным выражением обильно смазанного солнцезащитным кремом личика – не выпускала из рук сигареты и старалась не смотреть в сторону Люды. Художники обращались к девице с подчеркнутой почтительностью. Судя по отдельным репликам, она сочиняла критические статьи в каком-то тель-авивском художественном журнале, и от ее мнения зависело многое. Люду совершенно не заботила ни девица, ни ее мнение, ни сами художники. Она точно плавала в сером тумане беспамятства, сквозь который смутно проступали очертания знакомых берегов.

Художники пили стакан за стаканом и наперебой умоляли прекрасную блондинку уехать вместе с ними в Тель-Авив, позировать. И чем больше стаканчиков они опрокидывали, тем прекраснее становилось рисуемое ими будущее.

Худосочная девица, внезапно утратившая внимание спутников, предприняла решительные меры. Поставив пластиковый стул прямо в воду, она одним движением сбросила купальник до пояса и уселась на стул, подставив солнечному жару обнаженную грудь.

«Лучше бы она этого не делала», – с сожалением отметила про себя Люда. Соблазнительно выпирающие полушария девицы, особенно заметные на фоне общей щуплости ее тела, оказались чашками купальника, скрывающими весьма унылую грудь. Девица закрыла глаза, якобы загорая, и не заметила, как художники, пару раз окинув опытными взорами открывшуюся убогость, развернули свои шезлонги и полностью переключились на свободно красующиеся перед ними подлинные прелести Людмилы.

Девица то ли действительно заснула, то ли погрузилась в медитацию, но часа полтора прошли без ее презрительного подергивания бровками и сигаретного дыма. В это время совсем упившийся художник беззастенчиво запустил пятерню под купальник прекрасной блондинки, за что был ею немедленно бит, хоть и шуточно, но вполне отрезвляюще. Двое других, как бы признав за ним право первопроходца, оставили парочку под зонтом и ушли купаться. За-

бредя по горло в воду, они завели бесконечный спор о перцептивных силах, аберрации, линотипии, полигамии и сомнительной пользе категорической абстиненции.

Художник, их товарищ, хмельно покачиваясь, сидел на песке у ног Людмилы и бубнил нечто застенчиво-ухарское:

– Ты и я, свободные люди, возьмем наше счастье, Людочка, вот и встретились две бесконечности, не бойся, я пьяный, но ласковый.

Люда молчала, а когда художник, покачиваясь, снова протягивал руку, пытаясь залезть под купальник, увесисто щелкала его по лбу. Так щелкала, что голову бедолаги отбрасывало назад, а глаза от удивления широко раскрывались.

Плоский берег лениво лизала волна. Дрожали в дымке зноя Голландские высоты, покрытые прозрачной сиреневой марью, далеко-далеко в синем поднебесье парили ослепительно белые чайки.

Девица проснулась и потребовала немедленно вернуться в гостицу. Она, видите ли, обгорела до пояса, и теперь ей нужно срочно смягчить кожу специальным кремом, оставшимся в номере. Художники, протрезвевшие от долгого сидения в холодной воде, быстро собрали вещи, затащили в машину своего сомлевшего товарища и галантно распрощались с Людой, ни словом не обмолвившись о недавно сделанных предложениях. Обрисованные дымом в воздухе перспективы сладкой жизни натурщицы в Тель-Авиве улетучились, точно хмель.

Солнце садилось за высокий берег Тверии, прохладный ветерок тянул из глубины озера. Отдыхающие один за другим разъезжались, и скоро на пляже осталась одна Люда. Подобрав забытый кем-то купальный халат, она закуталась плотнее, уселась в шезлонг и стала наблюдать, как медленно гаснет сияющая поверхность воды. Короткие несвязные мысли грохотали в голове, точно леденцы в жестяной коробке. Она никак не могла сосредоточиться, стоило лишь начать думать о каком-либо предмете, как мысли тут же перескакивали на что-то совсем иное, не имеющее к первому ни малейшего отношения.

– Милочка, хотите чаю? – разбудил ее женский голос. На пляже было темно, одинокий фонарь на столбе не мог рассеять чернильную темноту юной ночи. С гор дул теплый ветер, в неровных разрывах туч одиноко посверкивали серебряные искорки звезд.

– Чо-чо? – спросонья не разобрав, переспросила Люда.

– Чаю теплого попейте, замерзли, наверное, в одном халате.

Голос принадлежал бабушке лет восьмидесяти. Свет фонаря едва освещал ее фигуру, черты лица скрывались в темноте, но возраст довольно точно угадывался по движениям и голосу.

– Мы с мужем приехали подышать свежим воздухом у воды. Видим, кто-то сидит в кресле, – словоохотливо пустилась в объяснения бабушка. – Сначала решили – позабытые вещи, а присмотрелись – человек спит, женщина. И как вам, милочка, не страшно одной в такую темень, вдали от людей? Давайте, выпейте чаю.

Раздался звук открываемой крышки термоса, звук льющейся воды, а затем в руку Люды ткнулось что-то твердое и горячее. Она нащупала чашку и поднесла к губам. Чай оказался яблочным, не сладким, но душистым и крепким. Люда с наслаждением отпила из чашки и сказала:

– Спасибо, вас мне сам Бог послал.

– Бог все посылает, милочка, – ответила старушка. – Без него и листок не пошевелится, а уже тем более человек. Допейте чаек и подсаживайтесь к нам, во-о-н в те кресла под фонарем. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь, чем сумеем, пособим. А помощь, предполагаю, вам нужна. Не станет молодая женщина без причины сидеть ночью на пустом пляже в полном одиночестве.

* * *

В Явниэль Чубайс приехал около одиннадцати вечера. Тепло светились окна домов, мягкий желтый свет фонарей освещал уютную улицу, но на душе у Чубайса было холодно.

– Где тут Рашуль живет? – спросил он, затормозив возле первого попавшегося ему «пингвина».

– Видите трехэтажный дом у поворота дороги? Вон там.

– А он принимает?

– Он всегда принимает. Но не всех.

– Меня примет, – буркнул Чубайс и надавил педаль газа.

Пройдя мимо людей, сидевших в очереди, словно мимо неодушевленных предметов, Чубайс подошел к столу секретаря.

– Мне нужно поговорить с Рашулем.

– А как вас зовут?

Чубайс представился.

– А-а-а-а, – подняв брови, протянул секретарь. – Учитель предупредал меня о вашем визите. Посидите вот здесь, – он указал на табуретку рядом со своим стулом, – сейчас я все узнаю.

«Чудотворец хренов, – с раздражением подумал Чубайс. – Провидец гребаный».

Спустя десять минут из кабинета Рашуля выскочил посетитель. Его бледное лицо покрывали крупные капли пота. Он закрыл дверь, прислонился к ней спиной и несколько раз с шумом втянул воздух.

– Все образуется, – успокоил его секретарь. – Вот увидишь, все будет хорошо.

Посетитель сглотнул застрявший в горле комок, вытер лоб рукавом пиджака и бросился вон из приемной. Секретарь осторожно приотворил дверь и скользнул внутрь.

– Вас ждут, – произнес он, вынырнув из кабинета. Глаза его смотрели скорбно и сурово. Во всяком случае, так показалось Чубайсу.

Входя в кабинет, он ожидал увидеть «пингвина» в полном равнинском облачении, грозно вззирающего на явившего грешника. Однако за столом сидел совершенно обычно одетый человек с ничем не примечательной внешностью. Он ел пирожок, роняя крошки на аккуратно подставленное блюдечко.

Чубайс остановился и молча наблюдал, как чудотворец расправляется с пирожком. Доев, тот отхлебнул чай из большой чашки, что-то прошептал, отер рот салфеткой и с усмешкой заметил:

– Что-то я не замечаю следов раскаяния на твоём лице.

– Какое еще раскаяние, – огрызнулся Чубайс. – Прижимаете человека к стенке, гнете его в дугу, а потом хотите раскаяние?

– А ты думал, – жестко произнес Рашуль, – что в этом мире можно преуспеть ложью и подлостью? На всякую силу находится большая сила. Тот, кто выходит на путь войны, обязан знать, что ему всегда может встретиться более ловкий и умелый воин.

– Что с Людой? – спросил Чубайс.

– С Людой все в порядке. Скоро ты с ней встретишься.

– Чего вы от меня хотите?

– Чтобы ты собрал пожитки и завтра утром уехал отсюда. И чем дальше, тем лучше.

– В этой стране далеко не уедешь, – горько усмехнулся Чубайс.

– А как быть с неустойкой кибуцу? Они же меня из-под земли достанут.

– Об этом не думай. На звонки из кибуца не отвечай. А лучше всего смени номер.

– Хорошо. Я уеду. Где Люда?

– Пляж возле дельты Иордана знаешь?

Чубайс молча кивнул.

– Найдешь ее там. Все у вас пойдет по-новому. Завтра утром, как рассветет, отвези жену на станцию и дай встретиться с гостьей.

– Зачем вы послали ко мне эту тварь?

– Ты сам ее вызвал.

– Я? Вызвал?!

– Конечно. Ты же меченый.

– Что значит «меченый»?

– Есть такое понятие радиобуек. Болтается среди бескрайних волн, не видно его, не заметно, но тот, у кого есть приемник, отыщет его с легкостью. Вот и ты такой же.

– А кто меня пометил? – угрюмо спросил Чубайс, уже догадываясь, каким будет ответ.

– Они. Те самые. С которыми ты встречался много лет назад.

– Я со многими в своей жизни встречался, – набычился Чубайс.

– Всех не упомянешь.

– Ну, – усмехнулся Рашуль, – ту встречу ты до конца жизни не забудешь. И будут еще.

– Еще встречи? – с неподдельным ужасом вскричал Чубайс.

– Конечно. Если они взялись за человека, уже не отцепятся. Пока в своего не превратят.

– Как это «в своего»?

– В одного из них.

– А спастись можно?

– Можно.

– И как?

– Обратись к ближайшему раввину. Он тебе объяснит основы. А дальше – натягивай парус и плыви.

«Вот как душу в плен берут», – подумал Чубайс.

– Получается, они в своего меня хотят превратить, а вы в своего? – сказал он, выпятив нижнюю челюсть.

– Конечно, – согласился Рашуль. – Вот и решай, кем хочешь стать.

Он распахнул лежащую на столе книгу и перевел взгляд на страницу, давая понять, что аудиенция закончена.

Чубайс повернулся и пошел к выходу.

– Вот еще что, – настиг его на пороге голос Рашуля. – Мой тебе совет, держись подальше от воды. Не селись возле моря или реки.

Чубайс кивнул, не оборачиваясь, и вышел. На пляже он был через полчаса. Что-то перевернулось в его душе, сдвинулось, поплыло. Совсем недавно он без зазрения совести изменял Люде и, случалось, всерьез подумывал о разводе. Однако, по зрелом размышлении, остаться одному выходило хуже, чем продолжать вдвоем, поэтому мысли о расставании Чубайс пока отодвигал в дальний угол. Но не вычеркивал, они всегда проступали фоном любой перспективы.

Теперь, спускаясь к Кинерету, он вдруг понял, что не может без Люды и Ляли, и готов на все, лишь бы оставаться вместе с ними. Перемена мыслей была удивительной. Придя в некоторое смятение, Чубайс прилаживал ее к будущей жизни то так, то этак, словно женщина, примеряющая платье. Время летело незаметно, Чубайс не успел обдумать и половины возможностей, открывавшихся с новой точки зрения, как оказался на пляже.

Там было темно и тихо. Под одиноким фонарем, в желтом конусе света, он увидел три шезлонга и сидящие в них фигуры. Он пошел к свету, кроссовки зарывались в песок, скользили, он шел, стараясь не закричать от счастья. Глаза еще ничего не успели различить, но сердце уже узнало, забилося, пытаясь выскочить из груди.

Одна из фигур поднялась, всплеснула руками и бросилась к нему. Чубайс обнял жену, прижал к себе и замер, вдыхая запах ее волос. Люда обхватила его за шею и оперлась подбородком о плечо. Память вернулась стремительно, одним прыжком. Несколько мгновений назад, увидев этого человека, она, сама не зная почему, побежала к нему навстречу. А сейчас она стояла, обнимая мужа, с удивлением перебирая в памяти картины двух минувших дней.

Чубайс повез жену к Рути. Возвращаться в разгромленный домик не имело смысла. По дороге они без умолку говорили, перебивая друг друга, словно пытаясь переспорить собеседника, а на самом деле наслаждаясь звуком его голоса.

– Как, уже уезжаем? – недовольно прошептала Ляля, разбуженная поцелуями Люды.

– Завтра, доченька, завтра, – в ответ шептала она, не в силах оторвать губ от шелковой, тугой щечки дочери. – С утра встанем, позавтракаем, соберемся и поедем.

– А может, еще побудем у тети Рути? Мы завтра собрались на лодочках кататься.

– Папа тебя покатает на лодочке. Спи, зайчик, спи, сладкий.

Они до утра просидели на кухне. Сначала с Рути и ее мужем, потом сами. Говорили, говорили, говорили, точно пытаюсь возместить недосказанное за годы, проведенные вместе, но врозь. Чубайс откровенно любовался женой. Ему нравилось в ней все: и поворот головы, и то, как она держит сигарету, и улыбка с быстрым промельком сахарных зубов за карминной полоской губ. Он млел и томился, как при первой встрече, но в двухкомнатной квартире Рути не было свободной постели. Оставалось лишь стойко ждать.

Как только небо за стеклами начало голубеть, они сели в машину и покатали на станцию. Фары высвечивали кусты вдоль дороги, покрытой белой пресной пылью. Макушки старых эвкалиптов, посаженных еще при английском мандате, малиново рдели в первых лучах поднимающегося солнца. Чубайс положил руку на колено жены, и та ласково улыбнулась. У него обмерло сердце от восторга, нежности и любви. Чертов чудотворец, фарисей пингвиньей масти что-то сделал с его душой, и эта перемена была ему по сердцу.

Зайдя в домик, Люда первым делом сбросила купальный халат и переоделась. Рути, невысокая толстушка, предлагала ей свои кофточки и юбки, но их не имело смысла даже мерить. В удобной, ладно сидящей одежде Люда почувствовала себя уверенно. Поймав восхищенный взгляд Чубайса, она поощрительно улыбнулась и спросила:

– Ну, где это чудовище? Пойдем, посмотрим.

Ей нравилась обновленная влюбленность мужа. Вся эта история явно пошла на пользу их угасающим супружеским отношениям.

В стогу под навесом не просматривалось никакого движения. Чубайс покричал, похлопал в ладоши. Безрезультатно.

– Может, оно ушло? – предположила Люда.

– Вряд ли. Рашуль велел вам встретиться. Значит, она где-то здесь.

Сам того не замечая, Чубайс стал относиться ко всему, сказанному чудотворцем, как к абсолютной истине. Он еще покричал, потом принес из сарая весло и стал тыкать им в сено. После третьего толчка раздался ужасающий рев. Ведьма вылетела из стога, как пробка из бутылки. Ее лицо по-прежнему закрывала косынка, но платье изрядно оборвалось, и сквозь прорехи сквозила темная морщинистая кожа.

Выставив перед собой руки с растопыренными, точно когти, пальцами она двинулась на обидчика. Чубайс попятился и занес весло над головой. В этот момент ведьма увидела Люду. Ее руки безвольно повисли вдоль туловища, а тело задергалось в конвульсиях.

– У-у-у, – завывала ведьма, – у-у-у!

Она словно пыталась произнести что-то осмысленное, но не могла. Люда сделала шаг к ней навстречу, ведьма резко повернулась и бросилась к реке. Бежала она с трудом, ее ноги заплетались, казалось, еще шаг, и она свалится на землю.

Добравшись до берега, она с силой оттолкнулась и плашмя рухнула в воду. Поверхность реки сомкнулась над ней, словно над камнем. Чубайс и Люда подбежали к берегу. Вольно и мощно нес Иордан бурные воды свои по узкому руслу, с клеткотом мчался поток от самого Хермона, кружа на своей поверхности сбитые ветром листья и вымытые из почвы травы. Огромный воздушный пузырь поднялся со дна реки и с бульканьем лопнул, выбросив разорванное платье. Понеслось цветное пятно, замелькало на стремнине и пропало за поворотом.

– Вот и все, – сказал Чубайс. – Собирай вещи, люблюшка.

Затем, вспомнив слова Рашуля, он вытащил сотовый телефон, извлек симкарту и бросил ее в реку.

– Здесь все уже кончено, – объяснил он в ответ на изумленный взгляд Люды. Взяв жену за руку, он отвел ее в домик и там, на супружеской кровати, сполна получил то, о чем мечтал, начиная со вчерашнего вечера.

К вечеру следующего дня семья Чубайсов была уже на другом конце страны. Памятуя о предупреждении чудотворца, они поселились посреди пустыни Негев, в крохотном поселке Иерухам. Воды вокруг не было, только пески и верблюды. Цены на жилье в Иерухаме были смешными. За гроши Чубайс снял целый дом с двориком, Люда разобрала вещи, и потекло время, тягучее, как полуденный зной.

Прошло совсем немного времени, как Чубайс сообразил, чем можно заработать деньги в пустыне. Рецепт оставался прежним – туристы. Реки в Негеве не было, но были цветные пески. Неподалеку от Иерухама располагалось чудо природы: небольшое ущелье,

стенки которого украшали полосы разноцветного песка. Синие, желтые, коричневые, белые, красные. Туристы наскребали песок слоями в бутылочки, увозя домой затейливые узоры. Бутылочки ставили на видное место в гостиной, получалось красивое и необычное украшение.

Чубайс договорился с бедуинами, и вскоре из Иерухама потянулись к цветным пескам караваны. Любители экзотических приключений минут сорок качались на верблюжьих спинах, ощущая себя странниками пустыни. Потом спешили у настоящего бедуинского стойбища, где в черной палатке вкушали настоящий бедуинский кофе, сваренный в бронзовой джезве, стоящей прямо на углях. Затем на примитивном очаге прямо при них пекли настоящие бедуинские лепешки и подавали со свежим козьим сыром.

После отдыха путешествие продолжалось, и еще минут через сорок мерного раскачивания караван прибывал к ущелью. Там путники получали стеклянные бутылочки и принимались наскребать цветные пески. Из ущелья усталых и пропотевших туристов возвращал в Иерухам минибус с прекрасно работающим кондиционером и холодильником, забитым до самого верха жестянками с кока-колой. Стоило все это удовольствие немного, но и немало, главным в таком бизнесе было правильно выбрать цену. Чубайс не стал жадничать, и дело пошло, причем пошло совсем неплохо.

В суете и беготне он совсем позабыл про выбор, о котором его предупредил Рашуль. Вернее, отодвинул мысли о нем на край сознания, ведь иначе пришлось бы решать, а решение казалось неподъемным. Он не видел себя в пингвиньем облачении, а встреча с чертями под беспощадным солнцем пустыни, резко и однозначно обозначавшим силуэт реальности, казалась маловероятной, практически невозможной.

Бизнес разрастался и креп, вскоре Чубайс поставил неподалеку от ущелья вагончик и превратил его в свою контору. Так было проще вести дело с бедуинами. С ними не получалось договориться о чем-либо всерьез и надолго. Любая договоренность зависела от настроения шейха, и подтверждать ее приходилось чуть ли не ежедневно. Еженедельно, во всяком случае. А так как бизнес был полностью построен на бедуинах, Чубайсу пришлось стать своим человеком в стойбище. Для этого требовалось жить по соседству, вечером пить кофе в шатре у шейха, утром приветствовать его семью, дарить подарки, делить трапезу.

«Работа, – утешал себя Чубайс, – ничего не попишешь».

И хоть в прохладном иерухамском доме рядом с Людой ему было бы куда комфортнее и легче, частенько приходилось ночевать в раскаленном за день вагончике, без кондиционера и вентилятора. Спасало лишь то, что ночью температура в Негеве падала на несколько градусов, тянул прохладный ветерок и до утра можно было дышать полной грудью.

Впрочем, раскаленный вагончик в пустыне отделяли от дома Чубайса всего полчаса езды на машине. Случалось, он прощался с шейхом, потихоньку усаживался в автомобиль, медленно, стараясь не шуметь, отъезжал на приличное расстояние, а повернув за холм, выжимал газ и мчался во весь дух, пугая светом фар ночных ящериц.

К вечеру того самого дня, когда ведьма вернулась в Иордан, Волкову позвонил секретарь кибуца.

– Слушай, Дима, – произнес он прежним дружеским тоном, – ты бы не мог ко мне подскочить? Есть дело.

– Да какие у нас тобой дела, – ответил Дима. – Кончились наши дела.

Секретарь смущенно покашлял в трубку.

– Я понимаю твою обиду, – сказал он. – Но дело все-таки есть. Подскакивай прямо сейчас. Поверь мне, оно того стоит.

– Мы теперь в Тверии живем, не забыл? – напомнил Дима. – Пока через все светофоры пробьюсь, пока до вас доеду – минимум полтора часа займет.

– Я буду ждать в конторе, – кротко ответил секретарь.

Волков не знал, что и думать. Для чего он мог понадобиться секретарю? Возможно, тот хочет предложить ему какую-нибудь работу? Но после случившегося Дима не хотел даже думать о деловых отношениях с кибуцем.

А может, случилось нечто из ряда вон выходящее? Иначе бы зачем вызывать человека на ночь глядя? Мог бы и завтра пригласить, с самого утра. Хотя завтра он собирался съездить кое-куда, навести справки. Значит, послезавтра.

Он вдруг похолодел от догадки. Наверное, Чубайс заложил его налоговой инспекции, а те обратились в кибуц. Как и всякий нормальный предприниматель, Дима мухлевал с отчетами. Кое-что не

вписывал, кое-какие цифры преуменьшал или, наоборот, увеличивал. Распознать это мог или очень опытный инспектор, потратив на расследование много часов работы, чего, разумеется, не могло произойти, ведь речь шла о весьма скромных суммах, или человек изнутри, такой, как Чубайс... И хоть голос секретаря не предвещал неприятностей. Дима всю оставшуюся до кибуца дорогу ерзал на сиденье и обливался потом.

Налоговая инспекция – самое страшное учреждение в Израиле. По осведомленности оно не уступает знаменитому Мосаду – разведке, а по могуществу далеко обходит полицию.

Выйдя из машины. Дима тщательно обтер влажной салфеткой лицо и руки, постарался принять беззаботный вид и лишь после этого отворил дверь конторы кибуца.

Дело оказалось настолько неожиданным, что Дима опять вспотел, но уже от радостного волнения.

– Видишь ли, – извиняющимся тоном начал секретарь, – деньги деньгами, но мы же не сволочи и негодяи. Наш делопроизводитель, ты его знаешь, Симха, – Дима кивнул, – обратил внимание на несообразные условия контракта с новым арендатором. Правление рассмотрело вопрос и решило направить договор нашему юрисконсульту в Тель-Авив. Ну, это заняло время, сам понимаешь, у него на шее не один кибуц висит. Юрисконсульт человек опытный, взял да запросил полицию, нет ли у их сведений о новом арендаторе. И выяснилось, что есть!

Три жалобы на него поданы российскими гражданами. Что-то он украл, или недодал, или скрыл. Суммы не очень большие, то есть не настолько, чтобы полиция отложила другие дела и стала ими заниматься. Да и сам понимаешь, чего стоят жалобы от частных лиц, вот если бы российская прокуратура прислала запрос, тут бы наши чиновники зашевелились. Однако, – секретарь поднял вверх указательный палец, – на основании полученных сведений юрисконсульт посоветовал расторгнуть контракт. Кибуц как юридическое лицо не может вступать в деловые отношения с подобного рода личностями.

Письмо из Тель-Авива я получил вчера вечером, обзвонил членов правления, и, разумеется, предложение юрисконсульта было принято единогласно. А сегодня я с самого утра пытаюсь отыскать арендатора, но безуспешно. Телефон его не отвечает, а на станции полный беспорядок.

– Каяки на месте? – не удержался Дима.

– Каяки на месте и вообще все имущество в целости и сохранности, разгром только в жилом помещении. В общем, Дима, – секретарь прокашлялся, – от имени правления кибуца я приношу тебе наши извинения, и, если ты согласен, мы готовы возобновить аренду на прежних условиях.

Дима возвращался в Тверию, не веря себе, не в силах принять случившееся. Поворот оказался столь неожиданным и резким, что он даже не позвонил жене.

«Приеду, поговорим», – в который раз повторял про себя Дима, автоматически управляя машиной. Путь от кибуца до дома он проехал на автопилоте, мысли витали далеко от шоссе и дорожных знаков.

Дома его ждал сюрприз. На празднично накрытом столе горели свечи, огни отражались в темном стекле бутылки дорогого вина, Светлана в платье и туфлях на высоких каблуках улыбалась загадочно и блаженно.

– Что случилось? – спросил Дима, присаживаясь к столу. – У тебя такой вид, будто мы выиграли в лотерею.

– Больше, Дима, больше, – продолжая улыбаться, ответила Света. Диме на миг привиделось в ее улыбке что-то вымученное, будто она заставляла себя улыбаться. Но он тотчас отогнал эту мысль, в самом деле, что могло заставить Свету деланно улыбаться? Это ему просто показалось, от усталости и волнения.

– У меня тоже есть новости, – сказал он, беря в руки бутылку. – И такие, что позволят нам купить к завтрашнему ужину вино покруче.

– Нет, сначала я скажу, – Света присела напротив и, чуть перегнувшись, от чего ее грудь легла на стол, обнажив верхнюю часть красного бюстгальтера, накрыла его ладонь своей. – Произошло то, чего мы с тобой так долго ждали. Я беременна, Димка! У нас, – слово «нас» она произнесла с особенным нажимом, – будет ребенок!

* * *

В один из вечеров, когда Чубайс, изнемогая от жары, сидел по пояс голый на ступеньках вагончика, к нему подкатил черный джип «Лендровер». Из машины враскорячку выбрался неказистого вида крепыш в белой футболке с желтой улыбчатой закорючкой «Don't worry».

– Меня Рашуль прислал, – сразу заявил он, искоса глядя на Чубайса. – Он тут неподалеку. Просил привезти.

– А зачем? – спросил Чубайс. Ему совсем не улыбалось встречаться с чудотворцем. Жизнь наконец начала входить в устойчивое русло, и разного рода мистические приключения могли только помешать.

– Откуда ж мне знать? – пожал плечами «Don't worry». – Я кто, я всего лишь посланник. Давай, забирайся, и покатим. Там ужин застряли, как раз подоспеем.

Он ни секунды не сомневался, что Чубайс поедет с ним, и тот действительно встал и, точно загипнотизированный, двинулся к машине.

– Чаво голым ломишься, – остановил его «Don't worry». – Чай не к теще на блины собрался?

Чубайс вернулся в вагончик, надел рубашку, автоматически засунул в задний карман кошелек с документами и пошел к автомобилю. «Don't worry» услужливо распахнул заднюю дверцу и, когда Чубайс уселся, с силой захлопнул ее.

«Не жалеет машину, – подумал Чубайс. – Значит, чужая. Своей бы дверцей так не хлопал».

Водитель ему попался отороженный – так рванул с места, что Чубайса вдавило в спинку. Сначала джип мчался по накатанной колее, а потом свернул с дороги и затрясся по пустыне.

«Куда он едет? – терялся в догадках Чубайс. – В эту сторону на много километров нет жилья. Наверное, разбили палатки где-нибудь на бархане. Но зачем?»

Джип на полной скорости летел по бездорожью, фары высвечивали то желтый бок песчаного холма, то черный силуэт скалы. Шофер молча крутил руль и не сбавлял газ.

«Почва тут плоская, – подумал Чубайс, – нет ни ущелий, ни расклин, но если так нестись, можно перевернуться и на ровном месте».

Свежий ветерок вривался в открытое окно и приятно освежал. Горьковатый запах пустыни ночью усилился, но потерял остроту, став приятным. Чубайс с наслаждением вдыхал его полной грудью. Мощная подвеска легко компенсировала неровности грунта, джип лишь слегка покачивался, проскакивая острые верхушки барханов. И вдруг все затихло. Мотор по-прежнему ровно шумел, воздух все

так же врывается в окно, но фары светили в ровную темноту, а тряска полностью прекратилась.

Чубайс высунул голову в окошко, посмотрел вниз и обмер. При свете полной луны он четко видел несущуюся под ними поверхность земли. Она находилась метра на три-четыре ниже джипа. Машина мчалась по воздуху, точно самолет. Чубайс в отчаянии попытался открыть дверь, но ручка не поддавалась. «Don't worry» заметил его попытку сбежать и зычно расхохотался. Его смех не походил на человеческий, а напоминал рев животного или завывание дикого зверя. Ведьма, пришедшая из Иордана, издавала подобного рода звуки. Чубайс еще раз попытался нажать ручку двери и вдруг с беспощадной ясностью понял, что попался. Не зря, ох не зря предостерегал его чудотворец!

– Чо ты дергаешься? – прекратив хохотать, бросил водитель. – Поздно пить боржом, приехали, парень!

Джип снова плавно закачался, фары высветили трехэтажный дом с ярко освещенными окнами, стоящий на самом краю холма.

«Нет здесь таких домов, – подумал Чубайс. – И никогда не было. И окнам не с чего светиться, откуда электричеству посреди пустыни взяться? Неужто генератор гоняют?»

Водитель остановил джип у крыльца с мраморными колоннами, выскочил, обежал машину и услужливо распахнул дверцу.

– Прошу!

Чубайс выбрался наружу и огляделся. С вершины холма открывался чарующий вид на пустыню, освещенную лунным светом. Но пейзаж сейчас мало занимал Чубайса. Возле дома горел костер, в его пламени жарилась, насаженная на вертел, целая коровья туша. На крыльце, поджидая его, стоял Рашуль.

«Значит, он и есть главный черт, – сообразил Чубайс. – Ну да, от пингвина до беса рукой подать».

Он поднялся по ступенькам и остановился напротив Рашуля.

– Прибыли! – радостно вскричал тот, в знак благодарности воздевая руки к небу. – Здравствуй, здравствуй, мой родной!

Голос был не тот, чересчур тонкий и слащавый. Да и сам Рашуль вблизи не походил на того, с которым Чубайс встречался в Явниэле. Черты лица были вроде теми, но дальше общего сходства дело не шло. И говорил он, слегка запинаясь и растягивая звуки, словно человек после инсульта.

– Заходи в дом, что стоишь на пороге, – произнес Рашуль, приглашающе помахивая рукой.

Глянув на его руку. Чубайс понял, что перед ним стоит существо, наподобие водяной из Иордана, только, видимо, более продвинутое по лестнице бесовской иерархии. Принадлежность к чертовому роду выдавали кисти; пальцы на них были скрючены, точно когти на звериной лапе, готовые вцепиться в бок или загривок жертвы.

– Не хочу, – произнес Чубайс. – Нечего мне у вас делать.

Лже-Рашуль усмехнулся:

– Поздно. Обрато дороги нет.

Чубайс попробовал повернуться, но ноги не слушались. Он мог идти только прямо, только в дверь, которую уже распахнул перед ним водитель.

Большой зал внутри был переполнен чертями. Настоящими, без маскировки, такими, как их изображали на картинах средневековых художников. Они сидели на лавках, плотно прижавшись друг к другу, точно птицы на ветке, и, хватая руками куски жареного мяса из глиняных чанов, рвали его острыми зубами. Завидев Чубайса, черти зашумели:

– Наш, наш!

Тот шел ни жив ни мертв. Сердце бешено колотилось от страха, а ватные ноги передвигались сами собой. Лже-Рашуль следовал за ним по пятам. Когда они оказались во главе стола, он положил руку на плечо Чубайса и произнес:

– Пришли, сынок. Садись, перекуси с дороги.

Ноги у Чубайса подкосились, и он повалился на скамейку рядом с чертом. Тот придвинул к нему тарелку, наполненную дымящимся мясом.

– Ломани, сынок. Сразу полегчает.

Запах жареного мяса шибал в нос, рот Чубайса наполнился слюной.

– А вилку можно попросить?

– У нас едят руками, привыкай.

– Нет. Не буду. Чего вообще вы от меня хотите? Зачем привезли сюда?

– Мы хотим, чтобы ты стал одним из нас.

– К чему я вам? Вон вас сколько, сесть негде.

Черт усмехнулся:

– Ты и представить себе не можешь, сколько нас на самом деле. Но не о том речь. У каждого своя задача, свой участок работы, которому за него никто не выполнит.

– А для меня что запланировано?

– Как это «что»? – удивился черт. – Ты же Чубайс!

Увидев, что мясо остается нетронутым, он взял бутылку водки.

– Не хочешь есть – давай выпьем. За встречу. И за все хорошее.

– А водка у вас какая? – спросил Чубайс. – Я плохую не пью.

– Что значит «какая»? – снова удивился черт. – Твоя водка, «Чубайска»!

– Нет-нет, – замотал головой Чубайс. – Эту гадость сами употребляйте.

– «Русский стандарт» для тебя хорош? – спросил черт.

– Хорош.

Тут же на столе оказалась нераспечатанная бутылка. Черт сорвал пробку, наполнил два стакана и придвинул один Чубайсу.

– Ну, поехали. За встречу.

Чубайс сделал глоток и тут же понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Эта была вовсе не водка, а что-то ужасно едкое и всепроникающее. Он попытался выплюнуть изо рта жидкость, но не смог. Огненным валом понеслась она по организму, проламывая, подменяя и трансформируя. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли черные круги.

Спустя секунду или вечность, время теперь воспринималось совсем по-другому, Чубайс открыл глаза.

– Ну вот, – будничным тоном произнес начальник, – теперь ты наш. И ты, и твой сын. Отправляйся к костру, покрути вертел, что-то мясо сыровато...

Чубайс хотел было возразить, что никакого сына у него нет и что он вовсе не их, а сам по себе и таковым намерен оставаться и впредь, но вместо этого послушно поднялся, поклонился начальнику и пошел к костру. В каждой клеточке его тела клочкотала бешеная сила, которую он мог высвободить одним движением. Сомнения в непричастности отпали, кружевная завеса тумана, висящая перед глазами, вдруг отодвинулась, и реальность предстала перед ним во всем бесстыдстве наготы. С беспощадной резкостью Чубайс видел механизмы управления людьми и событиями. Он был настоящим хозяином мира и хотел поскорее вступить в свои права.

Будущее манило нескончаемой чередой радужных перспектив. Ох, спасибо начальнику! Скорей бы за работу!

Взявшись за ручку вертела, он принялся вращать тушу. Угли почти прогорели, жар ослаб, и мясо плохо прожаривалось. Раздув угли, Чубайс подбросил дровишки, и вскоре костер весело затрещал.

Далеко внизу, за много километров от того места, где горел костер, в маленьком вагончике возле ущелья вспыхнул огонек. Поначалу едва заметный, почти искорка, он потихоньку разгорался, захватывая все новое и новое пространство, пока весь вагончик не запылал жарко и весело, стреляя во все стороны червонными угольками.

А в Иерухаме Ляля проснулась и заплакала.

– Что с тобой, доченька? – подбежала к ее кровати Люда. – Почему ты плачешь?

– Сон плохой видела про папу.

– Глупости, зайчик. Сны – пустое. Завтра папа вернется и возьмет тебя в бассейн. Хочешь в бассейн?

Но Ляля не успокаивалась. Она плакала, словно от большого горя, слезы текли по щекам, падали на подушку. Люда взяла ее на руки и принялась тихонько раскачивать. Большая холодная луна светила в окна, ночь плыла над пустыней, во дворе шумела молодыми листьями недавно посаженная пальма. И холодно было на сердце у Людмилы. Холодно и горько, как бывает только у молодой вдовы при живом муже.

ПОЭЗИЯ

Хава Пинхас-Козн

ИЗ КНИГИ АХИ, ХА-ЦИМАОН (2012)

Перевод с иврита – Роман Кацман

Это поэзия

זה הריהו

На дороге брошена, от света отгорожена,
Под эвкалиптом тень –
Это поэзия.

Я больше не могла и всё же
Просила большего.

Тень сосны меняет цвет дороги
К тебе, что искала я,
Идя от тебя.

Вся сила красоты

Вся сила красоты вливается
В кувшинчик слов,

Дабы, всё увидев на лице у матери,
Мне промолчать о том,

Дабы умолчать, что искала брата
На перепутьях дорог.

Что может сказать среди листьев клевера
Поникший сверчок?
И что за родник
У меня на пути?

Выглянув едва, за веками чрева
Затаиться спешит.

Книга внутри тела

קרו בתוך הגוף

1

Его встречала я в пустой глуши ракушки на берегу, в морских полях
И в комнате пустой, где свет мерцающий свечей субботних,

В той пустоте, что речью рождена, ведущей тишину
к мощи письма
к моему жреческому труду
к шатру
к компьютеру на коленях.
Там плоть мою огонь сжирает

Там он прольёт себя,
Как семя,
Тот чистый и чужой огонь.

2

Мне было сказано из уст в уста, что язык божества –
Это пустота.
Постигла я течение вод с Кавказских гор в безбрежность океана,
В загадку не-в-меняемого Кто.
В пылающей ране, которой лечения нет,
Что-то уже холодеет от талой воды снегов,
Нет слов в языке, описать их падения силу,
Что вместе приносит и смерть, и спасенье.

Лишь мою кожу твой язык лизнул,
Ты уснул, тобой я говорила и с тобой,

Что моё тело, в переписке с моею книгой,
Преодолеет тело,
Отметив середину – 55 – точно между ног,
Словно пропавших отца и мать
Соединяет то, что скрыто среди вещей и слов.

Ирина Маулер

СЧАСТЬЕ

Запятая, запятая, точка –
Вот и выросли и сын и дочка,
Вот и выросли лимон и слива,
Только все не стану я счастливой.

Вот опять прошли зима и лето,
Вот и осень – разлетелись листья.
Мое счастье обитает где-то
Далеко, а может быть и близко.

Я его кормлю с ладони хлебом,
Я его пою цветочным чаем,
А оно себе – то тучкой в небе,
То– кораблик на волнах качает.

Отзовись, кричу ему я смело,
Возвращайся, говорю печально,
Без тебя мне синий день, как серый,
Приходи скорее, поболтаем.

Приходи, накрою стол по-царски,
Обещаю, будет очень мило,
Разложу перед тобой все маски
я свои, что без тебя носила.

Я зову тебя, а ты – не слышишь,
На каком же звать, скажи мне только –

Я смогу, я овладею идиш,
И французским, и английским с польским.

Даже если ты живешь на Марсе,
Шлю сигнал тебе – тире и точки,
Не нужны мне никакие маски
Без тебя. Я это знаю точно.

Запятая, запятая, точка –
Вот и выросли лимон и слива,
Вот и выросли и сын и дочка,
Вот и я мечтаю стать счастливой.

ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД

Какая странная строка ведет по жизни –
Опять наплывом облака вдали отчизны.
Чужая там была, а здесь – неужто ближе?
Все та же месть, все та же лесть,
И небо – ниже.

Семитских черт не перечеть – лицом не схожа,
В каких же книжках мне прочеть –
Где дом положен?
В какой дали, в каких краях,
в каких пустынях
Живут такие же, как я,
И как их имя?

Согласна на радушный дом на честность речи,
На сад цветущий под окном вблизи от речки,
На шепот кленов и берез, на страсть рябины,
На лето мокрое от слез, крик журавлиный.

Живу на улице пустынь – вблизи от моря,
Из моего окна пустырь – а дальше поле,
И речь нерусская слышна – скажи на милость,
Я сплю, мне кажется со сна, что заблудилась?

И что мне зависть или злость, что чужеродность,
И что с того, что мне пришлось – знать – инородка.
Я не причастна к чудесам, я крепостная,
Меня причислили к местам создання рая.

И здесь, где я своя до пят, с ключом от дома,
Мне через слово говорят – мы не знакомы..

Семитских черт не перечесть – и честь и гордость...
Наверно все-таки он есть – Волшебный город.

Там люди радуются дню, и рады встрече,
И слов других, кроме “люблю”,
Не слышно в речи.
И речки меда с молоком, войдешь – и молод,
И лето нежное волчком – у входа в город.

А там, где я живу, – война терзает нервы,
Все приросли к ней, и она – есть в каждом первом.
И город близкий к чудесам плывет в пустыне,
На новый год – из уст в уста – в Иерусалиме.

Надежда на родимый дом несет по свету,
Как листик сорванный дождем, гонимый ветром.
Надежда на родимый дом – кто в зной, кто в холод.
А он, возможно, за углом – но за которым?

* * *

А листья кружатся опять
В осенней пропасти,
Хотя они наверняка
обратно просятся,
Но хоть проси, хоть не проси –
осенней жалостью
Они уже обречены –
и что осталось им...
Остались силы на опять
надежд цветение,

остались силы, чтобы знать –
придет спасение,
остались силы рассказать
о чем не сказано,
и кто решил, что облетать
они обязаны?
И что такое желтый цвет –
Дыханье осени.
А им бы жить еще сто лет,
Да лето кончилось...

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

На берегу озера – розово,
Кувшинки расположились легко и весело,
А на душе лучше – может быть?
Не может – волшебное место.

Пруд бежит куда-то, бьется о берег,
“Гуры, гуры”, – утки кричат смело,
Можно бесконечно смотреть на зеленое дерево
И улетать вместе с ним вправо и влево,

Можно нырять с головой в остроконечную воду –
Дикое счастье! кричать, про себя шевеля губами,
И ввести это место себе в моду,
И жить в нем ни день, ни месяц – годами.

Время нынче – люди летят в небе,
“Гуры, гуры”, – кричат, смело влетая в тучи,
И выбирают синие страны, белые,
И живут там, где им дышать лучше.

ПОЭТУ

Ловец облаков, с небом на ты,
Любимец кленов, рябин, рябой воды,
Стрекохут кузнечики – тебе воздают хвалу,
Пииту слов, словесному королю...

Море тебе слов, запускай сеть,
Бабочкой можешь, пчелою на них сесть,
выпить нектар слова, его звук,
Можешь не выпускать его из рук.

Можешь, как леденец держать его во рту,
Шариком можешь запускать его в высоту,
Плывать на нем можешь, держать в плену,
Можешь лететь на нем на луну.

Хочешь, пытай слово, хочешь – лечи,
Делай что хочешь, поэт, но – не молчи.

* * *

Собираю стихи в лукошко,
Каждый день считая,
Отворяю на ночь окошко –
Там луна такая...

И в холодную воду пруда
Под легато, меццо
Опускаю душу – упруго
Скачет мячиком сердце.

Собираю слова степенно,
Ну а время мчится...
Я из слов наварю варенье,
Чтоб потом лечиться.

Денис Соболев

Из книги “ОСТРОВА”

Так

Так заглядывает, так ты, так я

Заглядываю в ветер слова в темнеющую воду.

Вдыхаешь ли я обещание обещанное

Обещающее освобождение? Падение, лист, звук воды

Темном воздухе, светлом воздухе времени.

Ты легче дышу? Просторнее ли там в слове, за словом, спрятавшись?

Это ли кажется? Это кажется – нет?

Или снова в плену? В пелену, впелену все глубже? Плеск

Шорох воды в темном, несветлом густом времени воздухе.

Они говорят, говоришь ты, говоришь я, мы говорят

Задыхаюсь. А ты? Ты задыхаешься? Ты хочешь задышаться?

Тебе это льстит? Плеск времени,

падения во времени плеск.

Шестнадцать ступеней словом вверх наверх

(ты уже поверх?)

над воздухом

Шестнадцать ступеней словом вниз в погреб затхлого

времени, времени мы не хотим, но

вот оно, вот оно стоящее, окружающее, многословное.

Тебе страшно? Тебе светло? Тебе хочется наверх

Из-под над водой? Всматривайся!

Всматривайся, как падает воздух в воду,

Как падает речь в пустоту – дышит, душит, задышается. Глазом

тебе слово? Слово дышишь. Словом смотришь.

Всматривайся. Тебе, мне – я.

* * *

Посмотри в провал, загляни в глухо, загляни в темно
В боль. Она загляни заглянет в тебя. Ты прозрачна.
Не увернуться от взгляда провала. Смотрит.
Скалы загляни, слюды прожилки. Пусто там
В пещере скалы. Камень рваный, длинные серые
Стены колодца вниз. Стены падают. Вспомни не
Вспоминай. Горечь темноты на губах,
Горечь падения, острая горечь боли. Ты помнишь
Как падают сквозь туман, сквозь сумеречную
Корону забывения, боли памяти, непамяти
Боли, невозможности бесчувствия. Помнишь
Как падают сквозь мысль тела, сквозь боль сладости
Тела, сквозь взгляд о теле, сквозь присутствие я, как
Падают вниз, как не падают вверх? Помнишь ли
Падение одиночества? Тело в кругу. Мы спим без сна,
Дремлем без сновидений, но не бодрствуем
Без души. Без душно. Душе душно. Падает
В пещеру считая, считалочкой, секунды
Падения, но из секунд считает она годы.
Здесь ли они острова океана, острова пены,
Острова свободы? Бьются волны, ракушки
На берегах островов, зеленочерных скал к воде,
Рифов, смертоносных. Мерцают они на дне
Провала, но падает падает к ним душа,
Считая секунды, считая горечь, считая
Считая предательства, паралич воли и пустую
Речь. Падением полна речь, полна обманом.
Очарование на дне исчезает, горечи
Очарование серится пустотой. Там на дне
Слепящей забытой голубизной неба позади
Там на дне стоит ждет поджидает несуществуя
Провала невидимого камня без дна
Провала ничто.

* * *

В сумерках я пью кофе но нет кофе здесь не дают а пиво
Я не пью по крайней мере сегодня завтра да и не пью вообще,

Сквозь подступающее, волны шума я вдыхаю воздуха горячие
Глотки в полутемном дыхании паба под названием «Гастроном».

О эвкалипты, о стекла окна разбиваются сумерки тусклого вечера но
Это уже не сумерки эта темнота разве вечерело когда же я проспал
И не заметил сумерки прошли уже темно и ярится и хлещет и гремит
Ночь вселенной и я пью все горячий воздух ночи паба здесь

Там за окном стекает по стеклу вода ручьями холодных зимних гор
Там за окном темно но что же руки темноты так липки и густы
Я пью виски ничем не примечательное, а мир там за водой за
коркой окна
Стекла пустеет и безумствует. Там за окном они полны дыханием
ярости

Они полны дыханьем уверенности в правоте себя, и исступлением,
Желаньем выставится напоказ – и в бесновании, и в безымянности,
И в наготе. Тела, направленные взгляду, и речь, кричащая себя, к себе
По направлению к миру, в никуда фантазий и цинизма опустошенных

Душ, цинизма лени, густеющей горячащей силы ненависти, силы
злости.

Здесь маленькая темнота и блики света на столе, руки, знакомых
Незнакомых краткие улыбки ухмылки вспыхивающие, но мокрое
стекло

Это и все что отделяет от прозрачных ворот ада без дна за темнотой

В невидимости под горой, как хорошо не знать, наполнено, и как легко
Тем, кто выбрал, кто вобрал слово толп тусклую пену чужих слов
И ненависти избыточной полноту они уже бегут берут, а тонкое стекло
Дрожит водой и каченеет рябью они все ближе, их больше и мечтают

О страданье, о боле для других. Память о бывшем, память о
небывшем

Смешиваются, стираются, грудью своей кормят силу ярости, политиков
Истертые слова, толпы без лица, тела без голоса, они кричат, звенят
И подступают сквозь стекло, сквозь исступленье, сквозь трупный
запах

Своей мечты о правоте, страха своей ничтожности, страха за свою Жизнь, жажды чужой боли, ненависти к дыханию, ненависти к стеклу. Стекло покрывается тонкими трещинами и начинает рассыпаться.

Я сижу

В пабе «Гастроном» и допиваю виски. На город наступает ночь.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ

В голове голоса звучат шумят кричат перекрикивают
Голоса не может быть иначе конечно же они в ней адово
В голове наверное обычно сходят с ума потому что
Они должны быть в голове не может же быть иначе
Что они потому что конечно же виновата голова в
Ней воют кричат они голоса – так что конечно же виновата
Голова. Они кричат убей! они так хотят убей! Они себе
Убей! Перекрикивают друг друга и кричат друг
Другу убей и немедленно буквально сейчас нам всем настанет
Земной. Рай. Близок. Как прекрасны они себе, как воют они
Разноладно, бродят и дремлют они, но кричат друг другу убей и нам
Станет лучше, и еще сейчас приду и убью, чтобы их, чтобы мне
Настал мой он ведь тут совсем рядом земной маленький сытный рай
Только убей убей убей! Он прополз враг и он злой хитрый
Коварный мешает убей. Враг всюду, он прополз, он проползал
Нам плохо потому что он проползал. О проклятая власть почему
Она, почему она убивает так мало ее тоже нужно убей, но
Включая газету, экран включая, телевизор поющий включая,
Включая глаза и оскал, включая дыхание, руки, лодыжки, голоса
Кричат убей и все станет прекрасным. Но, к счастью,
Это только безумие, как у Вирджинии Вульф голоса кричат
В голове. Как счастлив мир, что есть в нем безумие и
Голоса, глаза, экраны кричат вопят скалятся только в ней голове.

Но как было бы страшно, если бы наяву, а?

ЗИМА

Ночью ступает волна над землей беспросветной беззвездной
Стихией. Инеем медленным делает шаг над безводной темницей

Равнины скалистой, валом уходит на край по ручьям водоносным
Бесплодным. Краткая вечность земли подступает к морскому

Пределу. Свечи огней загорятся на дальних высотах.
Вот и февраль наступил каменный, всецветный,
Миндальный. В светлых скалистых долинах ручьи
Поднялись многоцветной гексаметра пеной и речи

Высокой закрытой оградой. Темнеет, светлеет
Сила бурлящего слова в потоках весны изобильной.
Мир расцветает прозрачною юностью камня
И жаром беспечным. За холодом голос.

Желтых песчаника стен,
Сквозь молчанье смотрящих
Смысл потаенный открытый,
Сжимающих в пальцах

Усталых, незрячих
Смотрит сквозь пальцы
Сквозь холод
Сквозь знаки
Без знаков

И мысль непрворна
Пульсирует
Застывает
Двигается

К краю
В удивлении
В полноте.

* * *

Черный рваный базальт, бахромою, к кромке воды.
Зеленые леса надмирья, пещеры вулкана, заросли
Гидрогений. Небо высокое, бессловесное, открытое.

Горсть олив – зеленых, серых, твердых; серебряный
Свет цветущего миндаля. Из родника их горечи
Течет вода пробуждения. От капли на ладони души

Оглядывается к пещере света, к свету по ту сторону пещер.
Мелкий снег, его раздувает ветер, он густеет. Поземка
Струится мимо высокого леса, к дальнему. Густые чужие

Мысли, подобранные желания отступают за кромку леса.
На столе белая чашка кофе на блюде с широкой тенью,
В ней отражен мир молчания, в черноте, дышит, качается

Воздух. В темноте кофе отражается взгляд, заглядывает;
Разносятся, выплескиваются, ярятся голоса толп.
Но взгляд ищет бытие себя в темноте. Он не свободен,

Он свободен. Но где же он? Как много многословных,
Безобразных на свету, источающих злобу, исчезающих
В пустоте времени. Течение искусства неслышно, уже

Незаметно; плаката, крика и клоунады жаждут лица.
Но не им искать дальнюю лаву черных пещер вулканов,
Не для них летают дельфины над пенною кромкой волн.

Даже когда в темноте, явленные острова сохраняют
Человечность. Даже когда на виду, потаенные острова
Сохраняют душу. Невидимы за страстью невежества,

За страстью злобы. Но нога не спустится к бахроме воды,
Рука не сорвет гортензию, мысль не уснет на теплой
Подушке. Потому что выше и сильнее звука ложится тень.

Над базальтом, гранитом, морем – синева не встретится с синевой,
Руки не встретят оливки, веки не встретит взгляд.
Острова одиноки, но море восходит небом, белизною ночи.

Над волной и лугом, травой и поземкой, сухие ладони ищут двери.

* * *

Р. и Т. К.

О слова желтый воск и острова свободы,
Мне снится музыки ушедшей водопад, в долине
Памяти, в долине непогоды, в долине радости, где
Призрачные всходы восходят городом, рекой

И небосводом, касаньем бытия, забытым камнем
Свода, подземным озером, души земным восходом,
Незнанием полноты и полнотой изгнания, любовью
И землей, небесной пылью знания, сиянием

Светлых глаз и горечью весны, и снова радости
В всецветии прощанья, и встречи наугад с бездомным
Домом дара, чье слово, как земля, наполнено водой.

Так вспомним же о городе, звучащем, неушедшем, где
Пребывающий ступает по земле, где встреча в крови слова
И золе преобразится вечностью невидимого крова.

* * *

Обгорелый остов ворот и заросший травой проселок,
Эти дома сгорели. Сгорели крыши, веранды и кусты
Под окном. Мира, в который мы верили, больше нет.

Он не был богатым, в нем была надежда, он полон иллюзий
Больших и малых. В нем были хорошие люди, были плохие;
Плохие люди убивали, подсаживали девочек на наркотики.

И это волновало, не всех, волновало кого-то. Иногда.
Но это не так. Не волнует ни что. Волнует все для себя.
Хороших и плохих людей больше нет. Это признано.

Это уже не смешно. Не бывает благородных порывов, бескорыстных
Желаний. Все это глупости для толп. Но и толпы не верят, зачем им?
У каждого свои интересы, а еще, о да, психологические проблемы.

У всех теперь психологические проблемы. И это главное.
Те, кто бросались спасать, а зачем это было им нужно?
Их обманывали и использовали. Но и это не так уж важно,

Вероятно. Если не считать растраченные и погубленные жизни.
Слава сытым, хитрым и осторожным. Они поют себе славу.
И все же была весна, весна надежды и весна фантазий, и высокие

Горы земли без края. Во сне в никогда не ступала нога зла,
Топталась на горизонте. Там были голубые деревья свободы,
Серебряные деревья доверия, там были земли снов о друзьях.

Там были улицы, где можно умереть на тротуаре,
Но и дома, куда мы могли прийти, и где нас любили.
Или нам кажется? Падение прошлого неизмеримо.

Не показывая купленные товары, свадебные альбомы,
Одинаковых детей, не раскладывая по тарелкам
Выжатые слова, не надкусывая сушеные воспоминания,

Наверное, там были рады. О, эта радость того, что тебе рады!
Или это казалось? Память неизмерима. Или мы были одиноки?
Но этих домов больше нет. Они сгорели в тусклом огне времени,

А их владельцы покончили с собой под его незаметным грузом –
Непосильным грузом полого времени. Многие из умерших
Еще живы. Им даже можно позвонить. Но и это не имеет значения.

Потому что этого города больше нет.

Ингвар Донсков

ПО ХОЛМАМ ЛЮБОВНОЙ ДРОЖИ

КВО ВАДИС?

Кво вадис, мир? Потерянный щенок
Скулит в провинциальной подворотне.
Не в тысяче... Тем более – не в сотне.
Озяб, проголодался и промок.

Кво вадис, друг? Веселье за столом
Не радует, как прежде, беззаботно?
Ты осознал, что счастье мимолётно?
Всё чаще вспоминаешь о былом?

Кво вадис, время? Тает на глазах –
Как таяло подбрюшье у сугроба.
Течёт песок... Верни его, попробуй!
Харон, ты иногда внушаешь страх!

Кво вадис, потерявшийся щенок?
Холодный ветер, грязь и два окурка...
Негреющая, вымокшая шкурка.
Очередной, усвоенный урок.

ЧТО МНЕ ГЕКУБА?

Что мне Гекуба? Что я ей, Гекубе?
Все мифы – древний мусор, пыль и хлам.
Давно богов и нимф истлели губы.
А новый миф – и мне не по зубам.

И точит, точит червячок сомнений
Мой, выращенный в тайной роще, плод.
Вот оттого и вкус стихотворений,
быть может, мертвечиной отдаёт?

Увы и ах! Иерихонским трубам
На свалке место. Здесь – иной расклад.
“Дарёному коню не смотрят в зубы”.
Ну, пусть не конь, но должен быть богат!

На книжной полке – “Будь успешной стервой!”
Всене непременно – селфи в инстаграм.
Но осетринка – свежести не первой...
“Брокгауз и Ефрон” – не по зубам.

Мы скоро снова встанем на четыре –
Как прежде было. Господи, прости.
Что нам Гекуба? В предзакатном мире
Покоя нет. И мне – не обрести...

БЕЛЕЕТ ПАРУС

Такое чувство – напрочь позабыл.
А днесь проснулся – и немедля вспомнил –
В сияньи солнца белый парус плыл.
И грудью разрезал кораблик волны.

К чему бы это? Что за сон такой?
Мне снились вновь – ночные перегоны.
Мы с мамою – от бабушки – домой.
Молчат и дремлют общие вагоны.

Белеет парус... Парус одиноков...
Я выучу! Ведь утром снова в школу.
Безделица. Коротенький стишок.
Полегче, чем спряжение глаголов.

На здании вокзала врут часы...
Им зябко на ветру и одиноко.

Уездный город. Утро. Брешут псы.
Куда плывём? Что там – в стране далёкой?

Ах, если б знать – куда он держит путь!
А эти бури – мы их не просили.
Не плачь! Всё обойдётся как-нибудь...
Мы плыли по теченью. Просто – плыли.

Плывёт кораблик детства моего.
А на борту – и радость, и обиды.
Лет двадцать... или около того –
До катаклизма Красной Атлантиды.

МОЛИТВЕННОЕ

Какое?!.. удержался на краю...
Я просто падал... падал в эту бездну.
Глупец! Сопrotивляться – бесполезно.
Вот – выпей. И забудешь боль свою.

Я падал в бездну... Мрак и пустота.
Всё понимал и... не сопротивлялся.
И дна почти достиг... но удержался
На краешке тетрадного листа.

У церкви плакал и считал грехи.
Как глупо жил! Как тратил бестолково!
Так чистое молитвенное слово
Вошло с рассветом в робкие стихи.

Стихи мои, что я вам дать могу?
Кормлю с руки прирученную стаю.
Красивых – в поднебесье отпускаю.
Уродцев – от насмешек берегу.

Есть кто-то свyше – кто следит за мной.
Не оттого ли мне ночами снится –
И белое перо в его деснице,
И лист тетрадный – под его рукой...

СВЕРЧОК

Приручен пёс и заклеимён бычок.
Построен дом. А в нём – послушны дети.
Что ищешь ты по свету, дурачок?
Что шепчет тебе в уши вольный ветер?

Угомонись же, право! Так смешон –
Усталый вид и дудочка-жалейка.
Но твой не отвечает телефон.
А без него – попробуй, пожалей-ка.

Ну где ты бродишь, странник-менестрель?
А вы его, случайно, не видали?
Быть может, села лодочка на мель?
Куда ты держишь путь, в какие дали?

Письмо на днях с оказией дошло
С юродивым в лаптях на босу ногу –
За минусом Любви – всё хорошо.
За минусом Любви – всё Слава Богу.

Завёлся в доме жалобный сверчок.
Тебе под стать – тосклив и неприкаян.
Приручен пёс и заклеимён бычок.
Тебя здесь ждут. Вернись домой, хозяин!

Вадим Жук

Я ПЬЮ ЗА ВОЕННЫЕ АСТРЫ...

О.М.

Осень Эмильевна, ясно же, чья вы сестрёнка,
Мальчика бледного катит по Невскому конка.
Осень Эмильевна с гордой своей головою,
Катит невзрачный над осеребрённой Невою.
Цельные улица окна в лепных этажах сохранила.
Вот и письмо с берегов невозможного Нила.
Осень Эмильевна, не сберегли нам братишку.
Астр-то! Астр! Как будто бы даже и лишку.
Надо ответить за Принципа и за Богрова,
Вот мы – лишённые чаши, лишённые крова.
Шерри ли бренди, Эмильевна, шари ли вари.
Астры, Морская, Литейный, Дальстрой, Страдивари.

Нам не позволено каприза и кокетства,
Как мог себе позволить Мандельштам,
Речушкою вьясь, впадая в детство.
А нам не по строке, не по летам.
Там лижет слово лист, как соль седые лоси,
И верная оса земную ось сосет.
И как его божественно заносит,
И как несет!

* * *

Дело давнее, дело забытое.
Не знал, просто не знал. По невежеству.
Вещи евреев, вещи убитых,

Попали и в драматический театр в Паневежисе.
Вещи убитых играли в пьесах,
Может быть, Ибсена, может быть, Чехова,
Жили, плакали, тряслись от смеха,
В декорациях «Грозы», в интерьерах «Леса».
Просто я очень люблю Литву.
Теперь мне любить Литву непросто.
Видя, спрятанные в забвения траву,
Расширенные от ужаса зрачки Холокоста.

* * *

Разгоняется звон. Достигает до самого горла.
Всё пекутся один за одним в колокольной печи
Золотые блины. Звоняря невозможно пропёрло.
Погоди, Людвиг Ван. Отдохни, не звучи.
Не влюбился ли ты, в черноглазую с ближнего рынка?
Не напился ли ты, что ни к рясе тебе, ни к лицу?
Или ты соревнуешься с рыжим звонилой с Ильинки?
Или просто сегодня решил дозвониться к Творцу?
Если так, колокольщик, то вервие в руки,
Украшай своей медью пробуждение белого дня,
Оглушай! И в каком-нибудь маленьком звуке,
не забудь и скажи про меня, про меня, про меня...

ЧИСТОПИСАНИЕ

Были тонкие волосяные,
И поля, и наклон, и нажим.
А мои-то – хромые, больные,
Вкривь и вкось нарушали режим.
Зря Татьяны Егоровны просежь,
Наклонялась к бездарному мне.
Утверждала коварная пропись,
Что таким я не нужен стране.
Чудо-пёрышки – уточки-ути,
Предрекали мне страшный конец,
Плакал бедный игумен Пафнутий,
Мышкин князь и Башмачкин писец.

И туманились жизни этапы,
Предстоящий не радовал путь.
Раздирали куриные лапы
Беззащитную детскую грудь...
Как-то выжил. Отважный и гордый
Я теперь под поэта кошу...
– Подходите, Татьяна Егоровна,
Я вам книжку свою подпишу...

Сельскохозяйственная техника
Среди полей, среди лесов,
Давай-ка ухни-ка, да эхни-ка,
В сто миллионов голосов.
Там, за Мартышкино, за Стрельною,
Артиллерийский долгий вой.
Часы рассветные, расстрельные,
В хороших валенках конвой.
Обувка с плотной обсоюзкою,
Небось, вода не повредит.
Один глядит глазами узкими,
Другой лежит и не глядит.
Не слышит. Езжено здесь, хожено.
Белы снега, черны грачи.
Убитым слышать не положено,
Хоть вся вселенная кричи.

ПРОСНУВШИЙСЯ

На летном поле не осталось места.
Готовые служить исправно мне
За рядом ряд летательные средства,
Все, на которых я летал во сне.
Бывавшие в больших аэропортах,
Мои инициалы по бортам.
Заправлены, почищены, притерты
К мужским, высоким, детским небесам.
Теснит виски. Сжимает, как оковы,
Большую голову чужой ненужный шлем.

Скорее мимо. К выходу. Какого
Мне дьявола лететь? К кому? Зачем?

* * *

Мы потерялись. Раньше впереди
Маячил коммунизм. Кривой, нелепый
Со сломанной и проржавевшей скрепой,
Но что-то сдуру шевелил в груди.
Стоял безумный мальчик на часах.
В лесу метался Данко полуголый,
Размахивал сожженной средней школой
И повисал на горьковских усах.
На выпускной повязывали бант.
Скакал Корчагин в роли Ланового,
Болконский выпивал у Броневого,
Но добирал в гаштете «Элефант».
Потом Лолита Гумберту дала
Почувствовать себя сверхчеловеком,
Эдит с Марлен, прикрывшись прошлым веком
Испуганно глядят из-за угла.
Всё кончено. Как царь глядит с афиш,
Любой винтом раскрученный подсвинок.
И очумелый чаплинский ботинок
Грызья грызёт компьютерная мышь.

* * *

Не кресла на курортных островах,
А вшей давили в швах да головах,
Да падали в окопах и во рвах.
Не уезжали к дальним рубежам,
А по ножам ходили, по ежам.
За солью по соседним этажам.
Журнал переплетали «Новый мир»,
Теснились в безобразии квартир,
Изобрели и ели комбижир.
В кровать ложились за полночный час,
К семи уже горел на кухне газ,
Как, вообще, они зачали нас?

Гордились, что пальто из ГДР,
Не знали, что такое БТР,
В отчётах назывались ИТР.
Они могли бы птицами летать!
Но даже не желая их топтать,
Им время не дало ни быть, ни стать.
На лермонтовский небосвод взгляни,
Роняет август звёздные огни.
Взгляни на небо – это всё они!

НАСТОЯЩИЕ ПОЭТЫ

Они про Путина не пишут –
Чего мараться?
У них стоит скрипач на крыше,
Играет Брамса.
А у меня стукач в парадном
С прицельным цейсом,
И ворона просить пора бы –
Ты, мол, не вейся.
Ну, может, крутовато взял –
Пока не вьётся.
Но не писать, увы, нельзя.
И остаётся
С кривой улыбкою внимать
Тому, кто краше,
И каждый день не забывать
Таскать парашу.

Сергей Попов

СТРАШНО СКАЗАТЬ

* * *

Водяная взвесь, ледяная грязь,
в законном обмороке двоясь,
вызревая там, западает здесь,
зажигает заморозки внутри,
чтоб цвели ноябрьские фонари,
облекая в олово пламень весь.

Волоокий бог обращает в мох
всё, что всуе воспламенить не смог,
и заиндевелый его ковёр
выстилает прежнее на ура,
где блажит, безвылазно зол и квёл,
обладатель зрения во вчера.

Заводной, замшелый, в полубреду,
к обороне, равно как и к труду
до тоски под ложечкой не готов
среди изжитых подвигов и трудов.

В этот долгий волчесобачий час
первородный лёд состоит из фраз
о продрогшем боге, немом огне,
о берлоге, выстуженной извне,
о летейском олове нутряном,
где частил безбашенный метроном.

* * *

Дурной мотор хрипит и воет,
соляжкой харкает, сбоит.
Но если нас в кабине двое –
на том и свет оплечь стоит.

Осклизлой осени подарки –
одни бараки вдоль реки.
Но взгляд простуженной товарки
победен хвори вопреки.

По обе стороны – до неба
одна горелая стерня.
Но неминуема потреба
полёта прочь на склоне дня.

Чернеют баки и комбайны,
колхозом брошенные встарь.
Как ни крути – необычайны
края, где гибнет инвентарь.

Поёт и ноет колымага.
Фырчит и чванится движок.
Он в перебежках до сельмага
не всё горячее дожёт.

И помогает папироска
в кривой усмешке угадать
и блёстки стёршегося лоска,
и близкой ночи благодать.

Ежесезонной разнарядки
поздnezастойные круги
перемещают сердце в пятки
ступившим жить не с той ноги.

Но что им пепельные пятна
по весям прежних лет и зим,
когда становится понятно,
что не закончится бензин.

* * *

Время идёт по верхам и вбок.
Кроны ревут навзрыд.
Всё образуется, видит бог,
с пением аонид,
с опровержением немоты,
с опереженьем тьмы.
Прикорневые дрожат кроты,
трудят свои умы.
Что за умение – вкривь да вкось –
а по-иному – нет?
Всё, что горит, оторви да брось
в жерло ушедших лет.
Там, где подземный гудит костёр
и от слезы рябит,
страх меж кореньями распростёр
нити своих орбит.
Что за несносный на небе рёв?
Кто это, озверев,
выполнил временем до краёв
всю высоту деревьев?
И притаясь в языках огня,
уничтожал дотла?
И кривизну что казну храня,
правил свои дела?
«Всё образуется, – говорил,
точно слепец какой. –
Слову не надобно стрел и крыл,
лишь до поры – покой.
Речь – это лава, а не слова –
в том она вся и есть –
хоть на разрыв голосит листва,
хоть выгорает шерсть».

* * *

День на день не приходится больше.
Ночь за ночью не спится сполна.
Переводчица родом из Польши.
Пикировка на все времена.

Речи про посполитские войны.
Плечи шляхетской лепки вблизи.
Пани Мнительность, будьте спокойны –
всё с контекстом у нас на мази.

Этой книги сквозная интрига,
точно бранного поля трава –
по краям чужеземного ига
без разбору бушуют слова.

И под утро – не конны, а пеши –
стынут тени на стенах времён.
Из издательства злые депеши
добираются в дальний район.

Но куда запястье гордячки
цепенеет в цацапской горсти,
ни в цветочной, ни в белой горячке
и дыханья не перевести.

* * *

Бусины пота на шее горят –
неженка входит во вкус.
Жизнь – это мёртвый кагоровый яд,
рваная нитка от бус.

Бешеный шёпот за совесть и страх:
ну же – ещё и ещё!..
Не отдышаться на первых порах,
но навсегда горячо.

Так, что несчастный дарёный тюльпан
из магазина «Цветы»

на простыню как подкошенный пал
с бог весть какой высоты.

Смерть – это талый фруктовый десерт
после того, что стряслось
с крайней из ряда чумных непосед,
вкривь норвящих и вкось.

Это – до зеркала, наискосок –
бусы составить с утра.
Ноет под ложечкой, точит висок –
определяться пора.

Белый, лиловый, потом золотой –
так оно было ли до?
Подлое качество, полный отстой.
Может, остатки со льдом?

Про позолоту – не верь никому –
лишь на живую нижи
солнечный обморок, потную тьму,
ужас рассветной межи.

* * *

закатывать ясные глупо
а если вослед посмотреть
то позднеосенняя лупа
масштаб увеличит на треть

а может быть даже и вдвое
а может и вовсе в разы
чтоб молча брала за живое
волшебная линза слезы

и прянет шершавая сырость
вовсю разрастаться оплечь
чтоб данная в детстве на вырост
равнялась молчанию речь

и после последнего слова
по кронам сочился свинец
и всё обозренье былого
вело к слепоте под конец

и где там листва где коренья
у зрения спрашивать зря
небесных деревьев оперенье
редееет в конце октября

как в сумерках около школы
где слишком слаба бирюза
но мнят что провидят глаголы
воздетые к небу глаза

Ирина Маулер
“БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ”

Издательство “Время”, Москва, 2012
Серия: Поэтическая библиотека

Ирина Маулер - самобытный, необычный художник слова. Краски у нее обязательно сливаются со звуками, и возникает тончайшая, проникновенная поэтическая цветомузыка. Рождаются поразительно одухотворенные стихи - отринув вечное верчение тяжких жерновов жизни, они парят над повседневностью. Творчество это очень светлое и буквально заряжено солнечным талантом автора. Книгу можно приобрести, обратившись по электронному адресу : mauler13@mail.ru

Андрей Грицман

МОЙ ВАГОН

Задумчиво я пил мохито
и, размышляя о Бахыте,
еще и водки заказал.
И думал я – как мало нужно
нам, в общем-то, чтоб славно жить:
смотреть на чудо пред собою,
в мозаику славянских слов,
когда волшебник пьяный нежно,
небрит, всклокочен, из глубин
вдруг достает свой неизменный
с казахской негой неизбежной
непостижимый клавесин.
Да я и сам по переулкам
иду уже который год,
И счастлив я: то Лешу встречу, то Сашу,
то кого из дев,
прекрасных, нежных и опасных.
Бредет Володя в бороде
в Нью-Джерси, в дальний беспредел.
А то себя вдруг повстречаю.
В такие дни я понимаю,
что жизнь случается, играя.
Плывет Гудзон, за далью даль.
Сидим в моей скворешне светлой
и пьем мы «белое вино».
И так светла моя печаль.
Бахыт напротив, рядом Лена,
Все остальное как-то бренно,

Летит как мусор по ветрам.
У нас тут ветер по долине,
и мы на птичьем языке
ведем беседу, не скучаем
о стародавних временах.
Скучаем лишь о Люсе, Боре,
о Саше, в нашем разговоре
живет безмолвная струна.
И хорошо мне, стих мерцает.
К закату выхожу с крыльца,
Иду к реке, гляжу на воду.
«Я вспомнил по какому поводу»...

* * *

Наконец-то, вокзал. Выхожу к платформам, к доске объявлений.
Поезда идут по любым странным направлениям.
А на доске написано – отправление неизвестно.
Написано – прибытие неизвестно.
Счет ноль – ноль в пользу хозяев. Переучет.
Бегу по перрону, поезд отходит, пахнет дымом, горячей сталью.
В проплывающих окнах, в купе, за столом, на полках – знакомые лица
в поезде дальнем. Докричаться до них невозможно, куда – неизвестно.
Стою на перроне, и сам не рад, что в это ввязался.
В запретной зоне, в полосе отчуждения. Сам виноват, жаловаться
некому,
Все уехали. Съели курицу, допит самогон.
Ну и ладно, теперь мне не к спеху.
Подойдет когда-то и мой вагон.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Л. М.

«Что-то в смешенье времен, в снах забытых вестей,
в земле неземной поразительно резко.
Все совпало и даже не жизнью, но знаешь, с жизнью души
или, лучше, с дыханием памяти мгlistой.

Все три года назад пошло кувырком.
Тот роман был запутан и эпистолярен.
Ну, почти. Накален, все прогорело дотла,
на краю. Да, компьютер стоял в нашей спальне.

Письма шли из Москвы как безумная летопись,
и ночной метроном отмечал получение.
Я глаз не смыкала, ждала до утра, по минутам,
муж – со мной рядом, оказалось – не спал.
Так, мы оба, не зная, длили наше мученье.

Тот, в Москве, писал страшные письма,
обнаженные, резкие, в сердце, вразнос.
Днем мы жили втроем в электронной пурге,
муж за стенкой писал по ASQ, я ему,
он, в Москве – нам обоим.

Треугольник любви, три угла и три угля.
Оказалось, что в центре – зияние черной дыры
в такое пространство, где сжимается угол
жизни в незримую точку волнового безумья,
где в пространстве без времени – мы.

Когда мужа не стало той поздней зимой,
я боялась открыть переписку в усталом РС.
Но потом когда снег... я решилась. Компьютер
хранил гробовое молчанье,
Словно склеп нашей страсти
и стыл.

Так два года прошло, то ли пыль, то ли цепь
электронных событий покрыла сплетенья. Я была безутешна.
В одно ясное утро кто-то память достал и протер,
Вставил в новый РС, промолвив «ничто не забыто».
Но прибор все молчал безнадежно, безгрешно.

И вот, память жива, но забыта и не прочтена,
Словно древний и мертвый язык, только я

храню образы слов. Но даже не слов,
а угли эмоций, как золу Дерриды,
как дописьменный текст,
живыми забытую ткань бытия.

Память глухо лежит в белой старой коробке,
две тяжелых железных пластины на дне,
Две пластины – надгробных плиты, три главы
моей памяти. Когда я не сплю, по ночам слышен шорох
усталый, то звуков, то слов. Словно тот праязык,
на котором молчат о любви».

* * *

Слово никто не расслышал.
Времени не существует.
Дверь в пространство – за лазерным облучением.
Где-то кукушка в пустой избе кукует.
Волки воют на дрон беспричинно.
Вот такая у нас идет катавасия.
Только погода неизбежно меняется.
Тянет ляжку до смерти бедный Савраска.
А умный все так же сосет из пальца:
гной с сиропом, серу с ртутием. Падаль
легко распадается на элементы почвы.
Что гекатомбы? Экая невидаль!
Пока живем, смерть-то она заочна;
как институт – в коридоре портреты страшные.
Их именами мы все клянемся.
Лишь костер последний шевелится непогашенный
на другом конце города на пустом погосте.

Константин Кикоин

Этой осенью, в дождливом израильском ноябре умер Константин Кикоин – известный физик, профессор Тель-Авивского университета. И – талантливый русский поэт. У Кикоина нажитое странствиями, начитанное жизнью, пропитанное собственным опытом, питерской осенью, израильской просинью, серьезной физикой, цельною лирикой – пронзительно сплетается в озвученных значках стихов. Мелос его смело смешивает скороговорку невского дождя и тяжелое запыхавшееся дыхание негевской жары, подмигивающую чечетку первичного понимания и расчисленное марево авторского герметизма. Никаких констант – все дрожит и колыхается, течет и меняется. Окна Кикоина изредка распахнуты, временами прикрыты, а порой – зашторены наглухо. Что ж, участь читателя – достучаться в ставни... (Михаил Юдсон)

МОРЕПЛАВАЮЩИЕ

Расстегнем пуговицы у ворота,
раскроем чакры,
очки поправим,
наверху повернули штурвал Фортуны,
у нас просигналило,
будем готовы
по медному звону тревоги выскочить на палубу
в полном сознаньи
или вообще без оного,
боцман рявкнет, за какой хвататься леер,
или в воду кидаться,
или ждать пока капитан
сверится с лощией, прочистит горло,
примет решенье,
радисту прошепчет

s.o.s.

В конце концов, он на пароходе начальник,
мы билеты купили,
а дальше – как выйдет
или не выйдет.
Спаси мореплавающих,
Христос.

* * *

Эта лестница, если на нее вступил,
доведе́т тебя до самого низа
шаг за шагом, оставляя снимкoты
после каждого поворота.
Ветер снизу навевае́т изморозь
на остатки шевелюры,
время долепливае́т рельеф лица,
воздух постепенно сменяе́тся
настоем тьмы и полыни,
верхние голоса
уходят за пределы пятой октавы,
нижние в суб-контр занимают тылы.
Манометр, термометр, барометр,
хронометр – все показывают
одно и то же. Конец шкалы.

* * *

Кинь мне метафору, кинематограф,
Камнеметатель с пустого экрана.
Дар мeфистофелев в камеру вогнан.
Женщину пыткой переднего плана
Ты искушаешь. Актриска готова,
Как мотылек перед свечкой дрожащей.
Запах попкорна, смех шелестящий.
Дева покорна в последнем ряду. Ей клёво.

* * *

Здесь на земле
я пред ним обреченно немею,

там наверху
все слагатели строчек пируют на равных.

* * *

О, мой Господь без вида и без облика,
Я шлю к Тебе посланья, мною сложенные,
По водам, как бумажные кораблики,
По небу, как журавлики бумажные.

КЕМ БЫТЬ

I

Полуголым аборигеном, умеющим различить
источник каждого звука в родной амазонской сельве?

Рыболовом, понимающим на что клюет
любая рыбка в пруду на краю деревни?

Отпрыском династии виноделов, пять веков возделывающих
один и тот же виноградник на семейном склоне?

Придворным, знающим сто ходов
к бронированному сердцу своего державного повелителя?

Библиотекарем, помнящим наизусть написанное на корешках
изданий, пылящихся на всех десяти этажах книгохранилища?

Дирижером, слышащим каждую тему и каждый аккорд
в каждой партии симфонического опуса без подсказки оркестрантов?

Демииургом, шутя создающим миры
из пустого пространства и равномерно текущего времени?

Уловителем строк и строф, рифм и ритмов, еще не созданных
на единственном до донышка известном тебе языке –

вот с этого места в предпоследней строке,
пожалуйста, поподробнее.

II

Есть еще интересные профессии,
кроме водителя трамвая
и члена президиума –

огранщик самоцветов,
сочинитель рамок для картин,
переплетчик лирики,
обуватель женских ножек,
наклеиватель звездочек на колпаки магов,
мойщик слонов,
разносчик *billets douce*,

надзиратель за мужскими и женскими рифмами
в серале Аполлона,
любимый учитель Саши Пушкина.

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ФОРТУНА

Переменчивая фортуна,
будучи женщиной,
часто забывает,
почему она от тебя отвернулась,
возвращается, не объясняя причины,
обнимает и одаряет, не объясняя причины,
просто потому, что она женщина,
а ты мужчина.

ПРИЗЫВ К НЕПОВИНОВЕНИЮ

*The single one on earth
That ever broke a net*
John Donne

Призыв к неповиновению,
как и любой иной крик,
есть призыв к неповиновению.

Молчание при внутреннем несогласии
есть внутренний крик,
то есть внутренний призыв
к неповиновению.

Знак согласия вместо согласия
в сущности тоже означает
неполное согласие,
то есть неповиновение.
Настоящее согласие
наступает лишь в последнее мгновение,
когда душа покидает тело навсегда,
так и не добившись от него
согласия на исчезновение.

КАМЕНЬ ПЛАЧЕТ, КАМЕНЬ ПЛАЧЕТ...

А Моисей источник покаянья
Иссек из камня. Больше негде взять.

Камень плачет, камень плачет,
По погоде слезы льет,
В кулачок слезу запрячет –
После нищим подает.

Камень трезвому подножкой
Обернуться норовит,
Камень пьяному подушкой –
Дрыхни, воздухом укрыт.

Камень истине послушен,
Камню истины не жаль,
Молчаливо-равнодушен,
Лоб подставит под скрижаль.

Мы пророку в долг не верим,
Эллин он иль иудей,

Мы бульжничком проверим
Чистоту его идей.

Камень истину не прячет –
По почину и почет.
Имя ничего не значит,
Надпись мало кто прочтет.
Камень-город много знает,
Камень-храм перстом грозит,
Камень-Петр ключом играет,
Камень-смерть в висок разит.

СКАЗКА О РОЗЕ ВЕТРОВ

Войдем туда, где роза наших
Ветров шипами шелестит,
Где рощ березовая каша
За каждым полустанком спит.

Сойдем на этом полустанке.
Здесь я родился и возрос,
Мои сутулые останки
Исправит тутошний погост.

Здесь каждый временщик – мессия,
Здесь нет людей, а есть народ,
Здесь мойшей кличут Моисея,
А раб законы издает.

Здесь переделали природу,
Кто был ничем, тот правит всем,
А мы за них – в огонь и воду,
А нас за то – в отвал, в породу.
Кто стал ничем, тот платит всем.

Согнав орла с гербов и башен,
Жить стали лучше-веселей.

Размашист серп, а молот страшен
Друзьям врагов, врагам друзей.

Хоть широка моя родная,
Мала ей матушка-земля.
Своих соседей опекая,
Им пашем танками поля.

Эпоху новую приемлю:
В орлянку объегорим всех.
И каждый раз – орлом о землю,
И каждый раз – ценою вверх.

Russie, Россия, Russland, Russia –
Музей поверий и потерь.
Войдем сюда. Здесь место наше.
И за собой закроем дверь.

ТЕАТР ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ

Все вы, чтицы, лгать охотницы...

Б. Пастернак

Как цезура в строке, застывает над трупом Рашель,
Громко каркает в зал по-английски трагический Гаррик.
Дайте, что ли, мне свечку, а лучше вручите фонарик –
Я пойду, поищу, где кончается слов канитель.

Я увижу за сценой потемки. Летучая мышь,
Уцепившись когтём за стропила и плотно укрывшись ушами,
Ждет, когда на рукастых актеров с раскатистыми голосами
Упадет многоскладчатый занавес, молча скомандовав: ш-ш-ш-ш.

И когда рукокрыл, отцепившись от балки, откроет глаза,
Развернет за спиной перепончатую пелерину,
Я фонарь потушу и ночные кулисы покину.
Спит Расин, спит Шекспир, Мусaget колесницу поставил на тормоза.

ДРАМАТУРГИЯ

Алексей Слаповский

ОТКРОВЕННЫЙ

Комедия в 1-м действии

Действующие лица:

БЕЗИН
АЛЯ

Комната в студенческом общежитии. Чисто, уютно, нежно – здесь живут две девушки. На кровати, прислонившись к стене, сидит АЛЯ. Наискосок, на стуле у стола – БЕЗИН. Он раскачивается, сядет то так, то так – видимо, уже довольно долго здесь находится, и говорит, говорит, говорит...

БЕЗИН. Умным людям, Алечка, часто не хватает ума быть естественными. Они оригинальничают. Им не терпится доказать, вернее, показать, какие они умные. Поэтому они и оригинальничают. Я это я! – а остальные масса, толпа!.. А я не боюсь признаться, что человек из толпы, человек толпы.

АЛЯ. Почему?

БЕЗИН. Я всегда чувствую то, что чувствует толпа. Толпа была покорна – и я чувствовал покорность. Не скажу, что с удовольствием или с горечью – я просто чувствовал покорность, и все. Толпа лезет в автобус, пихается локтями – и я лезу, и я пихаюсь локтями. И даже не делаю при этом приличного лица. Знаете, как бывает? – человек лупит ближнего под ребра, а лицо у него при этом приличное-приличное, будто он на облака смотрит. Я – откровенный. Если я чем и отличаюсь от толпы, то... Ну, во-первых, толпа себя не осознает, не контролирует. А я – контролирую и осознаю. Толпа скрытна, лжива, лицемерна. Я – откровенный. Бытовой пример. Очередь. При-

страивается тетка. На нее кричат: вас здесь не стояло! А она: нет, меня тут стояло, я просто отходила и опять пришла! А я откровенно. Мне говорят: вас тут не стояло. Я говорю: да, не стояло. Значит, вы без очереди? Да, без очереди. Но это же хамство! Конечно, хамство... И пока беседуем таким образом – я достигаю цели... А бывает – гонят взащей.

АЛЯ. Я не верю, что вы человек из толпы. Я думала – как раз наоборот. Вы всегда один. Какой-то одинокий вообще.

БЕЗИН. Это ничего не значит. Можно быть в стороне от толпы и оставаться человеком толпы. Можно даже быть над толпой – и оставаться человеком толпы. Сталин был над толпой и оставался человеком толпы. Обожаю Сталина. Не как человека, как символ. Я представляю себя в толпе, которая с восторгом унижения и преклонения приветствует идола. Именно восторг унижения. Я ведь никогда этого не испытывал. А интересно было бы: заплакать от восторга, даже встать на колени...

Вдруг встает на колени, громким голосом преодолевает свою стеснительность.

Боже мой живой! Жизнь отдам за тебя! Люблю тебя, как извращенная женщина любит насильника! Возьми меня всего или убей – люблю! (Вдруг – спокойно или почти спокойно). Хитрым бывает человек. Как думаете, Алечка, почему я встал на колени?

АЛЯ. Ну, чтобы изобразить. Что как будто любили бы Сталина. Но я не верю.

БЕЗИН. Любил бы. Но дело не в этом. Начнем сначала. Меня, вашего педагога, просят на общественных началах ознакомиться с бытом и жизнью студенческого общежития. Мне, конечно, не хочется, потому что мне все равно, как вы тут живете. Человек из толпы равнодушен к тому, как живут другие, если сам живет хорошо. А я живу неплохо. Но человек из толпы еще и послушен. Я пошел. И вот – вы, Алечка, студентка, которой я симпатизирую. Пьете чай. Я тоже сажусь пить чай и философствовать. Причем, философствую о том, что меня действительно интересует. Но, в то же время, в данный момент не интересует. Я говорю и думаю: дурак, ты видишь, она же одна – смехи, щечки, хватай за ручку – вдруг что-нибудь получится. Но вместо этого я говорю, говорю, и чем больше

говору, чем дольше сижу на этом стуле, тем невозможнее встать и подойти к вам. И вот, когда я говорил о Сталине – причем увлеченно говорил, по-настоящему, я подумал: хороший повод. Сейчас встану на колени, прокричу, а потом стану грустным и уроню голову. И она меня пожалеет.

Роняет голову. И тут же встает со смехом.

Видите, какой я откровенный?

АЛЯ. Мне кажется, вы меня просто разыгрываете.

БЕЗИН. (Усаживаясь на стуле, кряхтит досадливо). Проклятый стул. На кровати-то помягче, да?

АЛЯ. А вы сядьте на Анькину.

БЕЗИН. Я бы на вашу хотел.

АЛЯ. Вы все шутите.

БЕЗИН. Да ничего я не шучу. Я хотел бы к вам подсесть, за талию взять и все прочее. Но так не положено, надо сперва что-то говорить, вот я и говорю... Я не шучу. Я просто откровенный. Мне очень бы хотелось к вам подсесть и так далее. Но вот я вам об этом сказал – и уже невозможно подсесть и так далее.

АЛЯ. Почему?

БЕЗИН. Потому что такие вещи не обговаривают. Это должно происходить естественно, как бы само собой.

АЛЯ. Зачем же вы тогда стали обговаривать?

БЕЗИН. А затем, чтобы как раз сделать для себя невозможным вот это подсесть и так далее. Забор поставить. Ров вырыть... Итак, я человек толпы. Что такое наша толпа? Уже не рабы, еще не хозяева. Промежуточное состояние. Нет ничего хуже промежуточного состояния. И я – в таком же состоянии.

АЛЯ. Не думаю. Вы кандидат наук, доцент. Очень определенное состояние.

БЕЗИН. Это, Алечка, на уровне быта. Кстати, вы знаете, что я холостой? Студентки это всегда знают.

АЛЯ. Не знала.

БЕЗИН. Значит, вы никогда мною не интересовались.

АЛЯ. Просто вы очень скрытный, о вас ничего невозможно узнать.

БЕЗИН. А вы пытались?

АЛЯ. Кто-то пытался из девчонок.

БЕЗИН. Я холостой, живу один в собственной, можно сказать, квартире. Завидный жених, правда? Хотелось бы перейти из общежития в отдельную квартиру?

АЛЯ. Кому?

БЕЗИН. Вам.

АЛЯ. В каком смысле?

БЕЗИН. Ну, выйти за меня замуж?

АЛЯ. Вы предложение делаете? (Смеется).

БЕЗИН. Нет. Пока нет. А вдруг? Вы мне, так сказать, очень нравитесь. Больше всех других студенток. Но вдруг вы выйдете за меня только ради того, чтобы жить отдельно, в своей квартире?

АЛЯ. А я разве собралась за вас замуж? Я только сейчас узнала, что вы холостой и живете в своей квартире.

БЕЗИН. Правильно. Я вам специально это сказал.

АЛЯ. Почему?

БЕЗИН. Понимаете, когда два человека любят друг друга, ничего не зная друг о друге, это просто любовь, без привкуса. Бескорыстная. А я вот, например, однажды встретил разведенную женщину с квартирой. Сам я жил в общежитии гораздо худшем, чем ваше – по пять человек в комнате. Я влюбился в эту женщину. Поженились. Через месяц я понял, что у этой любви был привкус. Я ее целовал и думал: скоро буду жить, как нормальный человек, засяду за дипломную работу. Может, и не думал так явно, но где-то там мысль была. В общем, любовь с привкусом.

АЛЯ. Я-то вас не люблю, поэтому все равно – с привкусом или без привкуса.

БЕЗИН. А если бы любили?

Пауза.

Чего я, собственно, сижу у вас? Знаю причину! Могу сказать – как откровенный человек.

АЛЯ. Ну, скажите.

БЕЗИН. Я все еще на что-то надеюсь.

АЛЯ. На что?

БЕЗИН. Сам не знаю. Я сижу и думаю: разговор идет как-то ненормально, надо его как-то повернуть по-другому. Например, рассказать анекдот.

АЛЯ. Ну, расскажите.

БЕЗИН. Зачем? Ведь анекдот мне нужен не ради анекдота, я хотел бы его использовать как средство, чтобы перевести наше, так сказать, общение в другое русло, а перевести в другое русло для того, чтобы попытаться вас обольстить.

АЛЯ. Ну, и попытайтесь.

БЕЗИН. А вас это не смущает – такая вот игра в открытую?

АЛЯ. А вас?

БЕЗИН. В общем-то... Хорошо. Зачем анекдоты и так далее? Будем считать, что я рассказал вам анекдот, вы рассмеялись, а я, пользуясь моментом, подсяду к вам (подсаживается) и...

АЛЯ. И?

БЕЗИН. А что дальше? Ну, к примеру, – это пошло, но к примеру – я говорю, что умею гадать по руке. Вы даете мне руку.

АЛЯ. А если не даю?

БЕЗИН. Тогда вы все испортите.

АЛЯ. Что я испорчу?

БЕЗИН. Давайте совсем в открытую. Я вам хоть немного нравлюсь?

АЛЯ. Ну, допустим.

БЕЗИН. Тогда я буду гадать по вашей руке.

АЛЯ. Ну, гадайте.

БЕЗИН. Это не обязательно. Это ведь тоже условность, обман друг друга. Будем считать этот этап пройденным.

АЛЯ. Ладно. Какой этап дальше?

БЕЗИН. Я должен поцеловать вас.

АЛЯ. Хорошо. Будем считать и этот этап пройденным. Какой следующий?

БЕЗИН. Ну... Сами понимаете...

АЛЯ. Не понимаю.

БЕЗИН. Потом я пойду выключать свет, а вы разденетесь.

АЛЯ. Хорошо. Будем считать и этот этап пройденным. Дальше.

БЕЗИН. Ну... Как бы это... Как мужчина и женщина...

АЛЯ. Ладно, пусть так. Давайте считать, что и это произошло. Потом мы должны одеться, включить свет. И выпьем чаю. Так ведь?

БЕЗИН. Возможно.

АЛЯ. Ну, давайте пить чай... Славно все у нас получилось, правда? Мне было так хорошо с тобой! Какой мужчина, какой класс!

Пауза.

Безин садится на стул.

БЕЗИН. Издеваетесь? Ваше право... Но, по крайней мере, я был откровенным.

АЛЯ. Да, спасибо.

БЕЗИН. Люди ведь постоянно врут друг другу. Хотят одного, говорят о другом.

АЛЯ. Вы к врачу обращались?

БЕЗИН. Понимаю... Я люблю вас, Аля.

АЛЯ. Вам чай – крепкий?

БЕЗИН. Да, покрепче. Я вас люблю.

АЛЯ. Ну, дальше, дальше? Сахар кладите сами.

БЕЗИН. А что дальше?

АЛЯ. Я не знаю.

БЕЗИН. Я никого еще не любил. Я вам скажу откровенно: я хотел сначала вас... с вами... хотел вами, так сказать, овладеть, а потом признаться.

АЛЯ. Так ведь все уже было!

БЕЗИН. Перестаньте!

АЛЯ. Что, люди толпы все так себя ведут?

БЕЗИН. Я – квинтэссенция толпы, я ее суть. Я сам – толпа.

АЛЯ. Ну нет. Толпа сомнет, раздавит – и никаких разговоров.

БЕЗИН. Это – внешнее. Я – трусливый дух толпы. Я ее дикая похоть и я ее дикая робость. Толпа всегда хочет и всегда родеет. Она ждет команды.

АЛЯ. Может, я вам должна что-то скомандовать?

БЕЗИН. Я люблю вас, Алечка.

АЛЯ. Неубедительно. Ну-ка, еще раз.

БЕЗИН. Что?

АЛЯ. Скажите еще: я люблю вас.

БЕЗИН. Я люблю вас.

АЛЯ. Неубедительно.

БЕЗИН. Я вас люблю.

АЛЯ. Не верю.
БЕЗИН. Я клянусь.
АЛЯ. Не верю.

Пауза.

Какой вы, наверно, несчастный человек. Никогда бы не подумала.

БЕЗИН. Я разучился жить, Алечка.

АЛЯ. А я еще не научилась.

БЕЗИН. Нет, вы умеете. В вас инстинкт жизни, я вижу. Поэтому вы мне и понравились... Чем больше я говорю – тем безнадежней ситуация. Но молчать тоже нельзя.

АЛЯ. А давайте попросту?

БЕЗИН. Давайте.

АЛЯ. Вы пришли делать мне предложение?

БЕЗИН. Нет. Я пришел по долгу службы. То есть меня попросили проверить, как живут студенты. Условия для труда и для занятий. Зашел к вам, увидел, что вы одна. Я подумал: надо попробовать.

АЛЯ. Что попробовать?

БЕЗИН. Сами понимаете. Сначала надо показать себя. Я стал показывать себя, говорить умные слова. Вижу – ни к чему. Надо проще, лиричнее. Тоже не выходит. Думаю: надо признаваться в любви. Опять не подействовало. Видите, какой я откровенный человек.

АЛЯ. Вы удивительно откровенный человек. А что вы еще хотите предпринять?

БЕЗИН. Не знаю... Может, подскажите?

АЛЯ. Что?

БЕЗИН. Ну, как с вами вести себя, чтобы на вас подействовало?

АЛЯ. Ничего себе! Это даже интересно. Сейчас, я подумаю... Надо ведь, чтобы все получилось как бы случайно? Естественно?

БЕЗИН. Конечно.

АЛЯ. Ага. Ну, допустим, так. Вы ходите, проверяете наш быт. Заходите ко мне. Присаживаетесь пить чай. Грустите, у вас что-то на душе. И вдруг говорите что-нибудь вроде: «Алечка, сегодня мне грустно. У меня поминки по собственной юности. Давайте отметим это дело». И достааете бутылку шампанского.

БЕЗИН. Слушайте! (Торопливо). Во-первых, шампанское на поминках не пьют. Но у нас вот что есть! (*Достает из «дипломата» бутылку водки*). Водка! – ее на поминках как раз и пьют!

АЛЯ. Вы все предусмотрели.

БЕЗИН. Ей-богу, случайно. Купил для слесаря, у меня кран на кухне течет, вызвал слесаря, а тот все делает только за выпивку. Ей-богу, Алечка.

АЛЯ. Ну, хорошо. Значит, так... Говорите...

БЕЗИН. Пойдите, я сам! Значит, поминки по собственной юности? Сойдет. Я, Алечка, сегодня справляю поминки по собственной юности. Не хотите присоединиться?

АЛЯ. Не хочу.

БЕЗИН. Почему?

АЛЯ. Как-то кисло у вас получается. Робко. Какой-то вы сразу жалкий – и присоединяться к вам не хочется.

БЕЗИН. Верно. Я человек толпы, а чем берет толпа? Нахрапом, порывом! Нужно именно с азартом отчаянья!.. (Решительно и со стуком ставит бутылку на стол. С гусарской горделивой небрежностью). У меня сегодня праздник, Алечка. Извините, что я так вот нахально, но именно здесь, у вас – меня окончательно осенило.

АЛЯ. Что осенило?

БЕЗИН. Я резко и больно понял, что у меня праздник прощания с юностью.

АЛЯ. Почему именно сегодня?

БЕЗИН. Ну... Сегодня я увидел вас... Или нет. (Ухарски). Почему сегодня? Это не сегодня. Это праздник, который всегда со мной. И давно уже со мной... Может, выпьем?

АЛЯ. Успеется. А почему вы решили отметить этот праздник именно здесь?

БЕЗИН. А мне, собственно, все равно, где отмечать. Дело не в том, где, а по какому поводу. Нет... Почему здесь? Потому что вы, Алечка, как символ той самой юности, которой у меня никогда не будет.

АЛЯ. Неплохо, годится.

БЕЗИН. Так что, давайте выпьем – если вас не оскорбляет этот грубый напиток.

АЛЯ. Ради бога, я и грубее пила.

БЕЗИН. Так я наливаю?

АЛЯ. Не обязательно. Считайте, что налили и выпили. И это правильно, надо выпить. Девушки, когда выпьют, всегда сговорчивее.

БЕЗИН. Да?

АЛЯ. А вы не знали?

БЕЗИН. Знал, конечно... Так. Мы выпили, значит?

АЛЯ. Выпили. Ах, хорошо пошла! Вы раскрепостились и раскрепостили меня. Теперь можем говорить о любых пустяках – и будем казаться себе умными.

БЕЗИН. Будем говорить о пустяках. Когда приходит ваша соседка?

АЛЯ. Кто же так в лоб спрашивает?

БЕЗИН. Что, нельзя?

АЛЯ. Надо задумчиво осмотреть комнату и спросить: «Вдвоем, значит, живете?»

БЕЗИН. (*Задумчиво осматривает комнату*). Вдвоем, значит, живете?

АЛЯ. Вдвоем. С Аней Рыбалко. «Не ссоритесь?»

БЕЗИН. Кто?

АЛЯ. Это вы должны спросить: «Не ссоритесь?»

БЕЗИН. Понятно. Не ссоритесь?

АЛЯ. Все бывает. «Она сейчас, наверно, в библиотеке?»

БЕЗИН. Это я спрашиваю?

АЛЯ. Конечно.

БЕЗИН. Она сейчас, наверно, в библиотеке?

АЛЯ. Нет, к родственникам поехала. У нее мама заболела.

БЕЗИН. Между прочим, я это знаю. Мог и не спрашивать.

АЛЯ. Обязательно нужно спросить.

БЕЗИН. А я и спросил. Значит, вы одна?

АЛЯ. Вопрос лишний.

БЕЗИН. Да знаю, это я в шутку. Вы... Вас... Вам ваша будущая специальность нравится?

АЛЯ. Тоже лишний вопрос. Это – серьезный разговор, тягомотина. Лучше так. Наливайте по второй и говорите: «Музыка, туш! У вас есть музыка, Алечка? Давайте потанцуем на прощание? Один танец – и я пойду. Танец юности!»

БЕЗИН. Почему на прощанье? Почему один танец?

АЛЯ. Потому что вы так туман наводите, вы успокаиваете: сейчас потанцуем чуть-чуть и попрощаемся. И девушке такое предло-

жение удобно. Если вы просто скажете: давайте танцевать, то девушке как-то не прилично соглашаться. А если: потанцуем на прощанье, она обязательно согласится, она этим показывает, что хочет скорее попрощаться и ради этого согласна на танец. Хотя прекрасно понимает, что дает партнеру возможность развить события. В танце обнять можно, на ушко шепнуть, мало ли. Итак, девушка включает музыку. (*Перематывает пленку магнитофона*). Она ищет медленный и долгий танец. Находит. (*Звучит музыка*). Кавалер кланяется – вы должны представиться немного старомодным, хотя и во времена вашей юности уже не кланялись. То есть – поиграть в старомодность, шутливо подчеркнуть свой возраст.

Безин кланяется. Они начинают танцевать.

Они начинают танцевать – и это самый момент сказать что-нибудь на ушко.

Танцуют.

Ничего не слышу.

БЕЗИН. Спасибо, Алечка, что вы меня приютили. Мне с вами очень хорошо. Я разучился жить. То есть, как вам сказать... Я все больше разучиваюсь жить. Что-то со мной происходит. То, что я делал вчера автоматически, вдруг дается с трудом. Месяц назад в метро я бросил пятак и вдруг пошел с другой стороны... Надо слева, да?

АЛЯ. Конечно.

БЕЗИН. А я пошел справа и меня прихлопнуло. И теперь каждый раз, когда я захожу в метро, я смотрю, с какой стороны идут люди. Чепуха какая-то. Больше того. У меня теперь возникает жуткое желание пройти именно справа.

АЛЯ. Зачем?

БЕЗИН. Не знаю. Я и откровенным стал из-за этого. Моя откровенность – это желание идти справа, идти не там, где положено. Так не делают, а я сделаю. Потому что ТАК – я не умею. Разучился.

АЛЯ. А говорите – человек толпы.

БЕЗИН. В толпе всегда живет тайное желание идти не там, где положено. То есть толпа и становится толпой, чтобы защититься от

таких желаний. Каждый по отдельности хотел бы идти справа, но все вместе идут слева, только слева. Я не понимаю...

АЛЯ. Чего вы не понимаете?

БЕЗИН. Прощаюсь с юностью, а прощаться-то не с чем.

АЛЯ. Вы не о том говорите.

БЕЗИН. А о чем нужно говорить?

АЛЯ. Удивительно. То, что для двадцатилетнего пацана пустяк, для вас целая проблема.

БЕЗИН. Да, наверно. А как вел бы себя двадцатилетний пацан?

АЛЯ. Элементарно. Он не держал бы так руки, как вы.

БЕЗИН. А как я держу?

АЛЯ. Вы держите меня как... Ну, не знаю. Как воздушный шарик. Бойтесь надавить – вдруг лопнет.

БЕЗИН. Нужно надавить?

АЛЯ. (*Посмеявшись*). Нужно занимать пустяковым разговором, и в это время свободно, легко, непринужденно сцепить руки у меня на талии. Получатся объятия.

БЕЗИН. Хорошо. Только я без пустякового разговора.

АЛЯ. Разговор беру на себя. Прекрасная погода, не правда ли?

БЕЗИН. Отвратительная погода. Дождь и дождь. У меня вот светлый костюм...

АЛЯ. Руки, руки!

БЕЗИН. (*Исполнив*). Вот... Светлый костюм, очень заметна грязь... Вам не тесно?

Аля хохочет.

В чем дело? Не такой уж я дурак, между прочим! (*Целует Алю и вдруг, словно раздавшись в плечах и увеличившись в росте, поднимает Алю и резко кладет на кровать*).

АЛЯ (*борется с ним*). А ну, прочь! Прочь, я сказала! Отпустите! Отпусти, дурак!

Она вырывается. Поправляет одежду, переводит дыхание.

Напился и лезет!

БЕЗИН. Я не пил.

АЛЯ. Действительно... А у меня было полное ощущение, что вы спьяну... Извините.

БЕЗИН. Это вы меня извините.

АЛЯ. Зачем вы так? Вы что, шуток не понимаете?

БЕЗИН. Не понимаю.

АЛЯ. И зря... Когда... Ну, до этого... Вы мне больше нравились. А это вот (*показывая на смятую кровать*) – это вы как раз пытались сделать как человек из толпы. До этого вы были интереснее. Умнее. Вы были оригинальным. Может, вы вообще мне давно нравитесь.

БЕЗИН. Правда?

АЛЯ. Правда.

БЕЗИН. Ну вот... И вы мне давно нравитесь.

АЛЯ. Начинаете по новому кругу?

БЕЗИН. Нет. Я ведь как оказался в общежитии? Поскольку я ваш преподаватель и человек исполнительный, меня попросили выяснить, почему на зачете не было Ани Рыбалко. Я позвонил в общежитие, мне сказали, что она уехала к родителям, мама у нее заболела. А я ведь знал, что вы с ней живете в одной комнате.

АЛЯ. Откуда?

БЕЗИН. Это мое дело. Я спросил, у себя ли вы. Сказали: у себя. Я поспешил к вам.

АЛЯ. Зачем?

БЕЗИН. Делать вам предложение.

АЛЯ. Серьезно?

БЕЗИН. Вполне.

АЛЯ. Ну, так и сделали бы предложение. И все. Все просто.

БЕЗИН. Все просто для меня никогда не бывает.

АЛЯ. Постойте, а водка, может, не для слесаря, а для меня?

БЕЗИН. Так вышло. Я нигде не мог найти шампанского. Я прохожу с правой стороны, не умею достать шампанского, не умею делать предложение.

АЛЯ. Цветов тоже не могли достать?

БЕЗИН. Мог, но как бы я их пронес в общежитие? Могут подумать неизвестно что.

АЛЯ. В портфеле.

БЕЗИН. Разве поместятся? Портфелишко у меня тощенький.

АЛЯ. Пяток тюльпанов или гвоздик – вполне.

БЕЗИН. Как же я не сообразил... Тюльпаны, они же маленькие, да? Их еще резиночками стягивают, чтобы лепестки не распада-

лись... (Открывает портфель). Правда, тут книги. Но я мог оставить их на кафедре. Кстати, вот это вот – уникальная книга...

Аля смеется.

Да, не вовремя...

АЛЯ. Знаете, что? Вот вы были откровенным – и мне это понравилось. Значит, вы хотите на мне жениться?

БЕЗИН. Хочу.

АЛЯ. Почему? Влюбились?

БЕЗИН. Нет. Но вы молодая, красивая, стройная. А мне нужна женщина, с которой можно жить и иметь детей.

АЛЯ. Откровенность за откровенность. Вы мне нравитесь – совсем немного. Но все-таки. И мне надоело тут жить. Все казенное. Эта Анька – это тихий ужас. Она ложится в три часа ночи, а встает уже в шесть утра. Она не поет только когда спит, то есть три часа. Остальное время она поет. Я хочу иметь свой дом. Это – решающее обстоятельство. Из-за этого я согласна выйти за вас замуж. И ребенка вам рожу. Но учтите, я вам буду изменять.

БЕЗИН. Я не ревнивый. Только изменяйте так, чтобы я не знал.

АЛЯ. Я постараюсь. Сколько вы сейчас получаете?

БЕЗИН. Двести двадцать.

АЛЯ. Прилично! Значит, так. Сорок рублей у меня стипендия. Плюс ваших... Ну, сто хватит. Значит, у вас будет оставаться сто двадцать. Вполне достаточно.

БЕЗИН. У женщин расходы больше. Но есть общие. Обеды, завтраки и так далее. В театр вместе сходить.

АЛЯ. В театр пожалуйста, а готовить я не люблю и не умею. Моих прежних мальчиков, конечно, вы мне прощайте.

БЕЗИН. В каком смысле – прежние мальчики?

АЛЯ. В таком, что я, слава богу, уже с пятнадцати лет женщина.

БЕЗИН. Ну... Это несущественно. Давайте... Давай выпьем!

АЛЯ. Прибережем для свадьбы... Слушайте, что с мужчинами делается? Что с людьми вообще?

БЕЗИН. А что?

АЛЯ. Какой, извините, дурак женится на девушке, которая выдвигает такие условия? Вы что? Вы на каком свете?

БЕЗИН. Я вас люблю, Алечка.

АЛЯ. Опять за свое? Да хоть облюбитеесь, мне-то что? Вы не здесь невесту ищите, вам за невестой надо в дурдом съездить!

БЕЗИН. Значит, вы не принимаете меня всерьез?

АЛЯ. Хотите, скажу одну вещь?

БЕЗИН. Скажите.

АЛЯ. Не хотела говорить, но скажу. Когда у нас, то есть у вас, у нас с вами занятия начинаются в первые часы, то есть в восемь утра, я встаю в пять, это для меня подвиг. И два часа делаю себе прическу.

БЕЗИН. А я с вечера отглаживаю костюм.

АЛЯ. Мы встречаемся два раза в неделю: видите – на календаре кружочки вокруг чисел. Красный кружок вокруг каждого числа. На полгода вперед.

БЕЗИН. Как же так получилось, Алечка?

АЛЯ. Не знаю.

БЕЗИН. Что же... Я рад. Значит, нет проблем?

АЛЯ. Проблема есть. Я за вас замуж не выйду. И любовницей вашей тем более не стану.

БЕЗИН. Объясните. Вы мне нравитесь. Любовь – это слово про-износить не будем. Я вам тоже нравлюсь. В чем же дело? В чем, Аля?

Пауза.

Вы правы. Что я за человек? Увечный человек, человек толпы. (*Садится, откидывается на спинку стула*). Если толпе в чем-то отказывают, она огорчится, она пошумит – и успокоится. Она найдет себе занятие. В толпе легче жить. Надо просто посмотреть, где люди идут – справа или слева. Слева? Ну, и я туда же. Ну скажите, Алечка, почему, когда я иду через турникет даже с левой, с правильной стороны, почему я всегда боюсь, что меня прихлопнет? Вроде, все правильно: опустил монетку, зажегся огонек – иди. А я не иду, я проскакиваю – и, честное слово, весь в поту. Я долго думал об этом и пришел к такому выводу...

Мы никогда не узнаем, к какому выводу пришел Безин – Аля включила магнитофон на полную громкость. Но Безин говорит, словно не обратив на это внимания. Губы его шевелятся, глаза

светятся скромным вдохновением, Аля глядит на него почти с ужасом.

86-88 гг., Саратов, 2016 г., Москва

ЭЙ, ЖЕНЩИНА!

Комедия в 1-м действии

Действующие лица:

ЖЕНЩИНА

МУЖЧИНА

ПЬЯНИЦА (или табличка вместо него)

ПРОХОЖИЙ

Предлагается такое оформление сцены. Свисает на ниточке желтый лист, и на этой ниточке табличка: «Осень». Еще таблички и надписи: «Лужа», «Подворотня», «Автобус №73 СОБОРНАЯ ПЛ. – ПЛ. КОММУНИЗМА», «Солнечный дворик».

Скамейка. Под скамейкой лежит Пьяница (или на куске картона надпись: «Пьяница. Он спит.»)

Итак, осень.

Появляется ЖЕНЩИНА с хозяйственной сумкой. У автобусной остановки – МУЖЧИНА. Из сумки Женщины падает яблоко, катится.

МУЖЧИНА. Эй, женщина! Яблоки теряете!

ЖЕНЩИНА (оборачивается, глядит на Мужчину, на яблоко – и вдруг плачет). Вам-то какое дело? Увидели – ну, и подняли бы.

МУЖЧИНА. Оно в луже.

ЖЕНЩИНА. Значит, вам из лужи поднять нельзя, а мне предлагаете поднять?

МУЖЧИНА. Я не предлагаю. Яблоко упало, я и сказал.

ЖЕНЩИНА. Ну, упало. Вам-то что?

МУЖЧИНА. Вы куда-то спешили? Так идите на здоровье!

ЖЕНЩИНА. Конечно, послать женщину вам ничего не стоит. А яблоко поднять – страшный труд. Ну, будьте мужчиной, поднимите и подайте даме!

МУЖЧИНА (*сквозь зубы*). На вас смотрят.

ЖЕНЩИНА. Это на вас смотрят. На того, кто даже яблоко не может поднять.

Мужчина пожимает плечами, хочет идти прочь.

Эй, мужчина! (*Поднимает яблоко, догоняет*). Натe! Я вам дарю! Берите, говорят! (*Сует яблоко в карман плаща мужчины*).

МУЖЧИНА. Вы что, с ума сошли? (*Вынимает яблоко, бросает. Отходит, оборачивается. Женщина плачет, отвернувшись от прохожих, поставив сумку на землю. Подходит*). Теперь и сумку испачкаете. Грязь ведь. Ну, успокойтесь. Неудобно же, смотрят...

ЖЕНЩИНА. Отстаньте.

МУЖЧИНА. Не понимаю. Я вас ничем не обидел. Ну, сказал и сказал. Просто так, понимаете? Увидел, что яблоко упало – и сказал. Давайте отойдем, смотрят же... Ну?

Берет сумку, идет к подворотне. Женщина следует за ним.

Вот, ей-богу... Ну, успокоились?

ЖЕНЩИНА. Успокоилась. Идите.

МУЖЧИНА. Вы ведь не из-за меня? Что-то на работе или дома, да? Ведь не из-за такого пустяка?

ЖЕНЩИНА. Орет на всю улицу: «Эй, женщина!»

МУЖЧИНА. Совсем не на всю улицу.

ЖЕНЩИНА. Вам бы в опере петь.

МУЖЧИНА. Нет, но ведь я вас не оскорбил, правильно?

ЖЕНЩИНА. Говорят вам – идите.

МУЖЧИНА. Не понимаю! Я, знаете ли, необоснованных обвинений не люблю. За здорово живешь – и вдруг виноват. Вы объясните!

ЖЕНЩИНА. Оскорбил и еще объяснений требует.

МУЖЧИНА. Значит, все-таки оскорбил? Чем? Я сказал: «Женщина, яблоко потеряли». Где тут оскорбление?

ЖЕНЩИНА. Не «женщина», а «эй, женщина».

МУЖЧИНА. Пусть так. Какая разница?

ЖЕНЩИНА. Очень большая. И не «яблоко потеряли», а «яблоки теряете».

МУЖЧИНА. Ну и что?

ЖЕНЩИНА. А то, что все, конечно, устали: вон растеряха идет.

МУЖЧИНА. Устали, когда вы стали кричать.

ЖЕНЩИНА. Эй, женщина!... Свою-то жену не позовете: «Эй, Маша!» – или как там у вас ее.

МУЖЧИНА. Никак у меня там ее. У меня жены, слава богу, нет.

ЖЕНЩИНА. Еще бы, кто за вас пойдет!

МУЖЧИНА. Зато вашему мужу повезло.

ЖЕНЩИНА. Очень повезло. Он внимательный и добрый человек. Таких сейчас просто нет. Вывелись.

МУЖЧИНА. Послушайте, в конце концов, я мог бы и промолчать, как все.

ЖЕНЩИНА. Джентльмен нашелся! Ну и молчали бы.

МУЖЧИНА. Вы успокоились? Прекрасно. До свидания.

Пауза.

Вы мне одно скажите – вы ведь не из-за этого впали в истерику? Так ведь? У вас какие-то нелады, вот вы и сорвали на мне злость.

ЖЕНЩИНА. Да не волнуйтесь вы, идите своей дорогой.

МУЖЧИНА. Я и не волнуюсь. Просто не люблю женской логики, когда все с ног на голову.

ЖЕНЩИНА. Это как?

МУЖЧИНА. Это так, когда ее, то есть женщину, где-нибудь обидят или еще что-то, а она выбирает одного и говорит: ты во всем виноват.

ЖЕНЩИНА. Значит, такая у нас логика?

МУЖЧИНА. Такая вот.

ЖЕНЩИНА. Действительно, из-за пустяка взъелась на хорошего человека.

МУЖЧИНА (*будто не замечая ее насмешливости*). Вот именно. Как говорится, на крайнего напали.

ЖЕНЩИНА. Как вы боитесь быть виноватым, ах, ах!

МУЖЧИНА. Не боюсь. Но долгов за собой не оставляю.

ЖЕНЩИНА. Нигде и никогда!

МУЖЧИНА. Стараюсь.

ЖЕНЩИНА. Как же вы остались неженатым, такой драгоценный? (Без перехода). Спасибо вам. Теперь я окончательно решила. Вы мне помогли. Даже огромное спасибо.

МУЖЧИНА. Не за что. В каком смысле помог?

ЖЕНЩИНА. Мне теперь ничего не стоит. Спасибо, добрый человек.

МУЖЧИНА. Вы что тумана-то напускаете?

ЖЕНЩИНА. Я шла и думала: сколько можно тянуть? Каждый день по этой улице, с это сумкой – куда, зачем? Домой? Не хочу домой. А больше некуда... Зачем мучиться? Голову в газовую плиту или уксуса выпить. Вот и все. За что я держусь? Нам ведь кажется, что мир без нас осиротеет. Ерунда! Ничего не изменится. Все останется, как было. Понимаете?

МУЖЧИНА. Вы что, серьезно.

ЖЕНЩИНА. Человек умирает – весь мир умирает, есть такие стишки. Чепуха. Ну, умрет женщина, одна из миллионов, эй-женщина, только и дел! Надо просто увидеть себя со стороны. А со стороны ты – ничто. Проходящая женщина тащит сумку, эй-женщина. Я это поняла, спасибо вам. Значит, и смерть ничто, если посмотреть со стороны. Нет, ей богу, спасибо вам, я все поняла.

МУЖЧИНА. Перестаньте.

Пауза.

Даже слушать неприятно.

ЖЕНЩИНА. А вы не слушайте.

МУЖЧИНА. У вас что, тяжелая жизнь?

ЖЕНЩИНА. Нормальная. Правда, мужа нет, но это даже лучше. Зато есть сын, тупой и капризный, весь в отца. Вот, несу ему яблоки. Он себе выберет самые лучшие, а мне оставит похуже. Да и тех не достанется, бабушка из них сварит компот для внука. Бабушка – это моя мама, милая старушка, правда, она уже выжила из ума, но это мелочи. Я ее регулярно ненавижу, это тоже мелочи. Скажете: ради них нужно жить. Благородно – жить ради людей, которые пьют твою кровь. Или скажите: им меня будет жалко. Ой ли? Сыночек через год забудет, дети быстро забывают. Мама тоже забудет, ее маразм спасет. Маразматика ведь не чувствуют горя, как специалист знаю.

МУЖЧИНА. А вы кто?

ЖЕНЩИНА. Врач. Неврозы лечим. И сами лечимся, таблеточки пьем. Не помогает, однако. Мне пора.

МУЖЧИНА. Нет, вы серьезно? Ну, про это... Голову в плиту, уксус?..

ЖЕНЩИНА. Вполне.

МУЖЧИНА. А я-то при чем?

ЖЕНЩИНА. Ни при чем, успокойтесь.

МУЖЧИНА. Нет, но вы говорите, что я помог и все такое. Чем помог?

ЖЕНЩИНА. А вот этим своим криком. Эй-женщина, все правильно.

МУЖЧИНА. Не понимаю.

ЖЕНЩИНА. И не надо понимать.

Пауза.

МУЖЧИНА. Я вам знаете, что скажу. Если вы из-за семейных всяких неполадок, из-за каких-то скандалов или сын непослушный – это мелко.

ЖЕНЩИНА. А из-за чего не мелко?

МУЖЧИНА. Мало ли. Из-за несчастной любви. Я в юности хотел повеситься из-за любви.

ЖЕНЩИНА. Я-то не в юности.

МУЖЧИНА. Как сказать. Выглядите вы, по крайней мере...

ЖЕНЩИНА. Но-но-но! Вот этого – не надо!.. Был у меня один пациент. Его бросила жена, ушла к какому-то хоккеисту. Ничего, пережил. На работе подстроили пакость, уволили. Пережил. Нашел женщину, был счастлив, ждали ребенка, выкидыш, женщина уехала. Пережил. А однажды сидел, смотрел телевизор, какая-то серия началась какого-то там фильма. А телевизор взял и перегорел. Он разбил экран и этим же стеклом себе вены перерезал. Спасли, правда.

МУЖЧИНА. Глупо.

ЖЕНЩИНА. Что глупо? Не хочется быть телевизором?

МУЖЧИНА. Кому?

ЖЕНЩИНА. Вам. Вы тот самый телевизор. Эй-женщина.

МУЖЧИНА. Да что вы прицепились-то, ей богу, к этим словам?! Мало ли что скажешь...

ЖЕНЩИНА. Вы никого не убивали?

МУЖЧИНА. Не приходилось еще.

ЖЕНЩИНА. А вы уверены? Вы кем работаете?

МУЖЧИНА. Наладчик котельных установок.

ЖЕНЩИНА. Гармонично.

МУЖЧИНА. Что?

ЖЕНЩИНА. Вы – и котел. Гармонично. Ваши котлы не взрывались?

МУЖЧИНА. Я ведь и обидеться могу.

ЖЕНЩИНА. Ради бога! Неужели вы думаете, что меня это волнует?

МУЖЧИНА. И все-таки знаете... У меня вот знакомые по границам ездят, муж и жена. А сын, у них тоже сын, один растет. Негодяем стал форменным. Не бойтесь, что если ваш один будет расти? – *(Неопределенный жест)*.

ЖЕНЩИНА. Ну и что? Негодяем станет? А кто сказал, что он со мной им не станет? Я злая, я психованная, я его порчу.

МУЖЧИНА. Надо сдерживаться.

ЖЕНЩИНА. Хорошо сдерживаться, когда ни детей, ни плетей.

МУЖЧИНА. Вы это обо мне? У меня и дети, и плети. Были.

ЖЕНЩИНА. Развелись? Жена плохая оказалась?

МУЖЧИНА. Я плохой.

ЖЕНЩИНА. Неужели? Первый раз вижу: мужчина сознается, что он виноват.

МУЖЧИНА. Я считаю, честнее всегда на себя вину взять. Женщинам и так нелегко приходится.

ЖЕНЩИНА. Это вы нарочно говорите?

МУЖЧИНА. То есть?

ЖЕНЩИНА. Успокаиваете. Развеселить хотите своими парадоксами? Чтобы эй-женщина ушла с улыбкой. А у вас на душе – легко. А там выпьет она уксус или нет, это не ваше дело. Вы свое дело сделали – утешили. Спасибо.

Пауза.

МУЖЧИНА. Что мы тут стоим, зайдем во дворик. Видите, какой солнечный дворик. Скамеечка. Хорошо как. Бабье лето начинается.

ЖЕНЩИНА. Пьяный лежит.

МУЖЧИНА. Ну, и пусть лежит.

ЖЕНЩИНА. Похож на моего мужа.

МУЖЧИНА. Тоже пил?

ЖЕНЩИНА. Нет. Лежал по вечерам как этот. Бездыханный. Оживал, когда есть хотел. Кричал мне в кухню: «Любименькая, чего бы скушать?» И это вот «любименькая» на самом деле значило – «эй, женщина!»

МУЖЧИНА. Послушайте...

ЖЕНЩИНА. Ну что, что?! Успокойтесь, вы ни в чем не виноваты. Просто совершенно случайно стали последней каплей.

Пауза.

МУЖЧИНА. Опять вы... Знаете, это слишком серьезно, чтобы говорить вот так, наспех. Я свободный человек, вы тоже. Пойдемте вечером в ресторан? Посидим, поговорим.

ЖЕНЩИНА. Как вам не хочется быть убийцей!

МУЖЧИНА. Бросьте! Убийца, скажете тоже.

ЖЕНЩИНА. Он все думает, что перед ним комедию ломают. Хватит болтать. Еще раз спасибо. Запомните меня веселой.

МУЖЧИНА. Пойдите. Сядьте. Я прошу.

ЖЕНЩИНА. Ну? Только не надо про ресторан, ненавижу рестораны. И вообще, это пройденный этап. Один живете?

МУЖЧИНА. Да.

ЖЕНЩИНА. Хотите, скажу, о чем думаете?

МУЖЧИНА. Попробуйте.

ЖЕНЩИНА. Вы думаете: поведу ее в ресторан. Шампанское с водкой или коньяком – действует безотказно. Потом веду или везу домой. И тому подобное. В результате от гибели спасу психопатку, и любовницей, может, обзаведусь. Не высший класс, конечно, не двадцать лет, и фигуру можно бы получше, но я и сам не Аполлон, надо рубить дерево по плечу. Так или нет?

МУЖЧИНА *(медленно думая)*. А вы не допускаете... что я не строил никаких планов?... Может, я не только вас хочу послушать... а и сам поговорить? Может, я сто лет... ни с кем не говорил?

ЖЕНЩИНА. Еще лучше! И бабу облагодетельствовать, и душу излить! Неинтересно мне это все, гражданин. Было, было – и не раз. Надоела мне эта ваша идиотская жизнь!

Пауза.

МУЖЧИНА. Значит, хотите бросить вызов судьбе?

ЖЕНЩИНА. Да не надо умничать, не надо! Какие еще вызовы, какая судьба?! Просто жить надоело, надоело! Устала. А жизнь, жизнь – это только слово. Символ. Я недавно думала. Работа – что такое для меня работа? Слово, символ. Семья, материнство – тоже одни слова, за ними нет ничего. Понимаете? У меня один больной почти ничего не ощущает. Берет горячую сковородку голыми руками – ничего. Берет лед – не чувствует. Колет иголкой, кровь выступает, а ему хоть бы хны. У меня то же самое. Вот – осень. Листики желтые, небо прозрачное. А я не чувствую. Не понимаю. Мне все равно. Осень – это только слово, голое слово.

МУЖЧИНА. А вдруг?

ЖЕНЩИНА. Что?

МУЖЧИНА. Вдруг что-то еще будет?

ЖЕНЩИНА. Ага. Вы меня очаруете, я в вас влюблюсь и пойму, что жить стоит! Так, что ли?

МУЖЧИНА. Почему обязательно я? Кто-то найдется.

ЖЕНЩИНА. Не будет ничего. А если и будет... Как начнется, так и кончится, и опять – тоска. Опять – это улица, лужи, троллейбусом на работу, в ребра пихают. Эй, женщина, вы выходите?

МУЖЧИНА. А вдруг после этого, после давки – кто-то ждет? Любит.

ЖЕНЩИНА. Вы романтик, что ль?

МУЖЧИНА. Наоборот.

ЖЕНЩИНА. Наоборот – это как?

МУЖЧИНА. Циник.

ЖЕНЩИНА. Не похоже.

МУЖЧИНА. А вы представьте: муж застал жену с другим. С другом – с другом... Мы участок купили, я привез туда на первое время, ну, вроде вагончика, фургон такой старей, металлом такой обитый фургончик. Ну, поехали с женой, с другом – участок вскапывать, забор ставить. Пойду, говорю, искупаюсь. До реки минут двадцать. Друг остался: насморк. А жена захотела срочно цветочки посадить. Цветочки так цветочки, кто против? Минут через десять я вернулся.

Пауза.

Закрыл их в вагончике на замок. Хороший замок, крепкий. Уехал. Приехал через четыре дня.

ЖЕНЩИНА. И они не выбрались?

МУЖЧИНА. А как? Участок на отшибе, хоть кричи, хоть стучи... И взломать нечем, а окошко – голову не просунешь.

ЖЕНЩИНА. Они же умереть могли. От жажды хотя бы.

МУЖЧИНА. Вода у них была, это я учел. Ну, циник я или нет?

ЖЕНЩИНА. Честно?

МУЖЧИНА. Честно.

ЖЕНЩИНА. Скорее – просто дурак.

Пауза.

МУЖЧИНА. Я тоже теперь так думаю. А вы мужу не изменяли?

ЖЕНЩИНА. Я фригидная.

МУЖЧИНА. Фригидных не бывает.

ЖЕНЩИНА. Вы это врачу говорите? Ну, валяйте дальше, я эту песню знаю: не бывает фригидных женщин, просто вам не попался настоящий мужик. То есть с намеком, что вы и есть настоящий мужик.

МУЖЧИНА. А вдруг?

ЖЕНЩИНА. Слушайте, бросьте вы эту байду! Я не повешусь и укуса не выпью. Это вам надо услышать? Я буду жить. Жизнью жизнь поправ! Успокоились? Вы ни в чем не виноваты. До свидания.

МУЖЧИНА. Да мне-то что. Вешайтесь, травитесь на здоровье. От вас людям ни тепло, ни холодно, никто и не заметит, в самом-то деле.

ЖЕНЩИНА. Что вы обо мне знаете? Ни тепло, ни холодно! Мне больные со всей страны письма пишут, если хотите знать!

МУЖЧИНА. Контора пишет. Вы что, счастливы от этого? До свидания, пора травиться. Считайте, что я поверил.

ЖЕНЩИНА. Не верите?

МУЖЧИНА. Конечно, нет. Женский психоз. Сейчас придете, поругаетесь с матерью, с сыном – и успокоитесь. Будете варить компот. Из червивых яблок.

ЖЕНЩИНА. Вы действительно циник. Подозреваю, что вы просто мерзкий человек.

МУЖЧИНА. Даже очень. И психопаток не люблю.

ЖЕНЩИНА. Я не пойму. Вы нарочно меня дразните?

МУЖЧИНА. Я толкаю вас к самоубийству.

ЖЕНЩИНА. Знаете, что? Наверно, вас просто жизнь не была как следует.

МУЖЧИНА. А вас? С мамой ругаетесь, сын непослушный, муж надоел, прогнали – ваша ведь инициатива? – это называется – жизнь была?

ЖЕНЩИНА. Это чепуха! В котлах вам разбираться, а не в людях. Главное: абсурд жизни. Вам не понять. Нет веры и высшей цели. Этого вам тоже не понять.

МУЖЧИНА. Лаптем щи хлебаем, куда нам.

ЖЕНЩИНА. Вы мелкий человек. Я знаю, какие у вас интересы. Зарплата, премия, бабешку найти, на футбол сходить. Любите футбол?

МУЖЧИНА. Обожаю.

ЖЕНЩИНА. Мой бывший тоже обожал.

Долгая пауза.

(Садится). Я боюсь, что если не я сама, то меня убьют.

МУЖЧИНА. Кто? Вы о чем?

ЖЕНЩИНА. У меня какие-то предчувствия. Зашла вот на рынок. Толпы, толпы... Две бабы лаются, продавщица и тетка какая-то. Вокруг народ смеется. А мне страшно. Я вдруг представила: продавщица плюнет в тетку и тетка в продавщицу. Кто-то вступится за тетку, кто-то за продавщицу. Драка. Кто-то еще бежит. Общая драка, весь рынок с ненавистью дерется – все равно с кем, бьют кого попало, по морде, по глазам, дети кричат, на них никто не обращает внимания, их топчут! Драка переходит на улицу, люди мечутся, как бешенные, люди выплескивают свою ненависть друг к другу, и я ясно вижу, как вся страна превращается в общее побоище, и меня сминают, забивают до смерти ногами. Лежу с растоптанным лицом, задранной юбкой... Голые, синие, мертвые ноги. Я не хочу этого дожидаться. Надену глухое длинное платье, загримирую заранее лицо, чтобы румяным казалось. Вымоюсь – чтобы не обмывать.

МУЖЧИНА. И гроб закажете?

Женщина встает.

Извините, ради бога! Пойдите! Ну, дурак, идиот, простите идиота! (*Берет ее за руку*).

ЖЕНЩИНА. Уберите руки! Мне некогда!

МУЖЧИНА. Десять минут, я прошу. Что вам стоит, десять минут...

Пауза.

(*Показывая на пьяницу*). Вот кому хорошо. Дрыхнет, ничего не чувствует.

ЖЕНЩИНА. Мухи на него садятся. Лужа под ним.

МУЖЧИНА. И брюки расстегнуты.

ЖЕНЩИНА. А одет-то, одет! И лицо, наверно, месяц не мыл. Это ведь не лучше смерти.

МУЖЧИНА. Откуда вы знаете? Может, он по-своему счастлив?.. Вы для меня посторонний человек. Мне, в сущности, все равно, что вы с собой сделаете. Думаете, я вас уговаривал? Я себя уговаривал. У меня такие же мысли, как у вас.

ЖЕНЩИНА. Бросьте трепаться.

МУЖЧИНА. За свою жизнь я запустил около пятидесяти котлов. Некоторые были величиной с дом. Ну и что? Запущу еще пятьдесят, сто. Не такая уж хитрая работа. А женщина, которую любил и люблю, она с другим. А дети – у меня сын и дочь – уже называют отчима папа Миша. Папа Миша, вот так! Тот самый, что с ней в вагончике был. Жить одними воспоминаниями? Это не жизнь, это отравка.

ЖЕНЩИНА. Какая трагедия! Вы еще молодой мужик, найдете женщину по душе, влюбитесь.

МУЖЧИНА. Циники не влюбляются. Знаете, как у меня бывает? Если женщина нравится... Ну, не только как женщина, а вообще – я начинаю ей хамить. Гадости делаю. И всячески показываю ей, что мы занимаемся всего-навсего мелким бытовым развратом. Скучным даже, без паскудства, так... Вы правильно сказали, исчезну я – и ничего не изменится.

ЖЕНЩИНА. Дети совершеннолетние?

МУЖЧИНА. Нет еще.

ЖЕНЩИНА. А говорите – не изменится. Алименты дети перестанут получать.

МУЖЧИНА. Не дети, а жена. Думаете, она сейчас много получает? У меня всегда есть работка на стороне. Неучтенные живые деньги. Чтобы ей поменьше досталось. Ну, и детишкам соответственно. Вот такой я человек.

ЖЕНЩИНА. Нехорошо от детей деньги утаивать.

МУЖЧИНА. А я о чем говорю? Остановишься, подумаешь, сделаешь вывод: ты порядочное дерьмо. Сам себя убеждаю, что люблю бывшую жену, сам себя растравливаю: обидела! Работу свою не люблю, халтурую. В общем, черт знает что. Мне, понимаете, надоело наблюдать собственную мелочность, убогость, понимаете? А другим быть уже не могу. Сейчас вот каюсь, слезы лью, а завтра начну жить по-прежнему. Буду опять халтурить, работу искать на стороне, чтобы деткам и их сволочи-маме денег поменьше досталось. Злорадствовать буду, а кому досадил? Не хочу. Вот я вам крикнул: «Эй, женщина!» Почему-то даже на вас рассердился. На самом деле – на себя, на людей вообще. И так в душе поганно, под ногами грязь, автобуса все нет, и тут какая-то халабуда, извините, шлепает по грязи, яблоки роняет. Одно к одному.

Пауза.

ЖЕНЩИНА. Странно.

МУЖЧИНА. Что?

ЖЕНЩИНА. Вот вы говорите о себе: мелкий, циник. Если вы это понимаете, можно попробовать стать другим.

МУЖЧИНА. Зачем?

ЖЕНЩИНА. А просто так. Выдумать себе такое занятие: стать другим. Я вот голоданием лечусь. От чего лечусь, не знаю, но – занятие. Думаешь об этом. Других агитируешь. Оно как-то и... И еще: попробуйте сравнить себя с кем-то. Я вот ною, всем не довольна, а надо мной женщина живет, моложе меня, а почти парализованная, не встает. Ей что, лучше? Она играет на гитаре и поет песни, на магнитофон сама себя записывает. И знаете, к ней столько людей приходит! Я слышала ее песни, хорошие песни.

МУЖЧИНА. То песни. Творчество.

ЖЕНЩИНА. А у вас котлы. Без песен еще можно, а без тепла не проживешь. Ваши ведь котлы тепло дают? Или вот этот алкоголик. Может, он хотел бы вылечиться, а сил нет. Может, он вам страшно завидует.

МУЖЧИНА. Сейчас он никому не завидует.

ЖЕНЩИНА. Не сейчас, а в принципе...

МУЖЧИНА. В принципе – ему лучше. Проснется – опохмелку пойдет искать. О смерти думать нельзя.

ЖЕНЩИНА. А давайте напьемся! Пойдем в ресторан, не вечером, а прямо сейчас.

МУЖЧИНА. А голову в духовку, а травиться?

ЖЕНЩИНА. Разве нас кто-то торопит? Обсудим, как это лучше сделать. У меня одна знакомая составила целый список способов самоубийств. Вариантов двести собрала.

МУЖЧИНА. Зачем?

ЖЕНЩИНА. Выбирает, какой эстетичнее, красивее. Пока так и не выбрала.

МУЖЧИНА. Лучше всего камень на шею и в реку, где глубоко. Без следов.

ЖЕНЩИНА. А если вытащат? Труп будет вздувшийся, жуткий, раки присосались, тьфу! Думаете, родственникам приятно будет смотреть? И ко дну идешь, захлебываешься – страшно, долго.

МУЖЧИНА. Тогда под поезд. Одна секунда.

ЖЕНЩИНА. А пока поезда ждешь? И труп обезображенный. Нет, надо действительно без следов. У подруги есть один уникальный способ, ей соседка с мясокомбината рассказала. В огромную такую мясорубку. Перемешаешься с фаршем – и нет тебя.

МУЖЧИНА. Или в котел, в топку, если углем топится, там топки большие. Горсточка пепла.

ЖЕНЩИНА. Вот и обсудим!

МУЖЧИНА. Обсудим!

Смеются. Уходят.

Появляется торопливый ПРОХОЖИЙ. Бодро озирается по сторонам, пристраивается в углу. Делая свое дело, видит пьяницу. Внимательно смотрит. Хочет уйти, но какая-то мысль его остановила. Подходит к пьянице. Разглядывает. Щупает пульс.

ПРОХОЖИЙ. Ни фи́га себе!.. Соседи! Эй, жильцы!.. (Куда-то на-
верх). Ба́бка! Привет, ба́бка, звони в милицию, у вас тут мертвец
лежит. А мне некогда, прощай, ба́бка, не хвора́й! Набро́сают мер-
твецов, негде пройти приличному человеку!

Хихикая, уходит.

86-88 гг., Саратов, 2016 г., Москва

«ВЕДЬМА НА ИОРДАНЕ»

такого вы еще не читали

Израильский прозаик Яков Шехтер уверенно вошел в еврейскую литературу в конце XX века, заняв место рядом с Ш.-Й. Агноном и Исааком Башевисом Зингером.

На страницах книг Шехтера герои талмудических дискуссий встречаются с «инкарни-рованными» персонажами Набокова, Бунина, Умберто Эко и других.

Подчас это создает удивительные столкновения, параллели и конфликты, ранее не ведомые еврейской литературе.

В рассказах и повестях сборника «Ведьма на Иордане», выпущенного издательством «Книжники», обыденное и житейское нередко пронизано гротеском и соседствует с мистикой каббалы.

Поистине новаторским является стремление писателя решить теологическую задачу - увидеть Высшее присутствие в столкновении и переплетении человеческих судеб.

Книгу можно заказать на сайте издательства, в разделе «Проза еврейской жизни»

«СУДЬБА БАБЕЛЯ БЫЛА ПРЕДРЕШЕНА...»

Сборник «Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век» (2016), выпущенный в серии «Чейсовская коллекция», – уникальный совместный проект издательства «Книжники» и Государственного литературного музея (Москва) – стал лауреатом на XX Международной книжной ярмарке «Зелёная волна» в Одессе.

С редактором издания, ведущим российским бабелеведом, сотрудником Государственного литературного музея Еленой Погорельской беседует журналист Елена Константинова.

– И всё-таки позвольте начать нашу беседу не со сборника. Как и когда на вашем пути появился Бабель?

– Проще всего было бы ответить: так уж случилось. Но в случайности и простые совпадения не верю. С Бабелем (не как читатель, а как исследователь) я встретила довольно поздно. Опять-таки, по моему глубокому убеждению, всё в жизни происходит ровно тогда, когда должно произойти. Видимо, судьба подарила мне счастливую встречу с Бабелем именно в тот момент, когда я была к ней готова.

Однажды я написала, что Бабель мог бы вслед за Маяковским, исследованием творчества которого я прежде занималась, сказать о себе: «Три разных истока во мне речевых...» Правда, будь подобные слова произнесены Бабелем, они имели бы иное смысловое наполнение. Иначе говоря, Бабель – наследник трёх литературных (шире – культурных) традиций: русской, еврейской и западноевропейской, точнее, французской. Так вот, мой исследовательский интерес к Бабелю начался с французской темы. В рукописном отделе Государственного литературного музея, где сейчас работаю, я обнаружила письма Бабея Валентине Александровне Дынник, замечательной переводчице с французского и специалисту по французской литературе, и её мужу, знаменитому профессору-фольклористу Юрию Матвеевичу Соколову. Речь в этих

письмах шла о трёхтомном собрании сочинений Мопассана, которое выходило в 1926 – 1927 годах под редакцией Бабеля в издательстве «Земля и фабрика» и для которого он сам перевёл с французского три рассказа – «Идиллия», «Признание» и «Болезнь Андре». Моя первая работа по Бабелю, напечатанная в журнале «Вопросы литературы» (2005, № 4), так и называлась: «И. Э. Бабель – редактор и переводчик Ги де Мопассана». Ну а дальше всё идёт как идёт. Вот как-то так, если вкратце.

– За исключением изъятого при обыске и аресте 15 мая 1939 года в Переделкине и на московской квартире в Большом Николоворобинском переулке, вы изучили вдоль и поперёк всё, что Бабель написал, напечатал, оставил в рукописях, всё, что уцелело у его друзей и знакомых, а также всё, что так или иначе связано с его именем, не так ли?

– Я бы не стала говорить ни о ком, тем более о себе, что изучила всё вдоль и поперёк. К тому же о Бабеле нельзя знать всего: несмотря на короткую жизнь и компактность сохранившегося наследия – простите, говорю о том, что стало общим местом, – Бабель оставил нам множество загадок. Не буду развивать эту тему, просто всё изучить досконально невозможно, что-то я знаю лучше, что-то хуже. Но иногда мне действительно очень везёт, например, с архивными находками.

– Ваше замечание об архивных находках требует пояснений. Какие из них самые непредсказуемые и ценные?

– Расскажу о трёх самых неожиданных, просто фантастических. Первая из этих находок связана с детскими годами Бабеля. Было известно, что через какое-то время после рождения Исаака семья переехала в Николаев и что в Николаеве, в июле 1897 года, родилась младшая сестра будущего писателя Мария, по-домашнему – Мери, Мера. Но ведь три года – слишком большой промежуток для хронологии жизни писателя, и мне хотелось как-то этот промежуток сократить. Вернулся Бабель в Одессу в конце 1905 года. В рассказе «Первая любовь» мы читаем о том, что герой провёл в Николаеве десять лет своего детства. То есть выходит, что переехать они должны были в 1895 году. Однако доверять «фактам» из рассказов Бабеля нельзя. Но в данном конкретном случае это оказалось правдой. Я поехала в Николаев, чтобы выяснить, когда умерла старшая сестра Бабеля Анна. В Государственном архиве Никола-

евской области мне удалось просмотреть все книги Николаевского раввина о родившихся и умерших за период с 1894 по 1905 год. Дата смерти Анны – по старому стилю 7 июня 1898 года – не приблизила меня к цели моих поисков. Но зато я не поверила своим глазам, когда увидела, что 1 декабря 1895 года у родителей Бабеля родилась дочь Ида (умерла она через полгода, 14 июня 1896-го). Таким образом выяснилось, что семья переехала в Николаев не позднее осени 1895 года. Мало того – обнаружилась умершая в младенчестве сестра Бабеля, о которой никто ничего до этого не знал.

– *А те две другие, не менее значимые?*

– Они связаны с пребыванием Бабеля в рядах Первой Конной армии во время советско-польской войны 1920 года в качестве военного корреспондента газеты «Красный кавалерист».

В Российском государственном военном архиве я искала что-нибудь для реального комментария к конармейским рассказам. Но среди многих других очень ценных документов мне посчастливилось обнаружить справку, выписанную секретариатом Реввоенсовета Первой Конной армии 26 июня 1920 года в Фастове, о снятии с довольствия в столовой штаба армии Бабеля (Лютова) с 24 июня. Эта справка свидетельствует, во-первых, о том, что из штаба армии он был переведён в 6-ю кавалерийскую дивизию в эти числа, а во-вторых, что его настоящая фамилия наряду с псевдонимом Лютов также была известна в Конармии. Вообще очень неожиданно было обнаружить имя Бабеля в фонде Управления Первой Конной.

Ещё одна головокружительная находка ожидала меня в том же военном архиве, в фонде Управления 3-й кавалерийской бригады 6-й кавалерийской дивизии Первой Конной. Это машинописная копия инструкции по ведению журнала военных действий в Конармии, заверенная К. Лютовым (это единственная на сегодняшний день известная собственноручная подпись писателя как Лютова). На обороте инструкции тоже имеется его автограф.

Из походного дневника Бабеля мы знаем, что ему было поручено вести журнал военных действий. Подобный журнал – обычный отчётный документ, очень важный для военной истории, который ведётся в подразделениях регулярной армии во время военных компаний.

Записи в дневнике Бабеля, связанные с журналом военных действий, относятся к середине июля 1920 года (первая из них сделана

12 июля). А найденная копия инструкции не датирована и подшита в архивном деле между документами от 11 и 12 декабря. Дневник же Бабеля позволяет датировать выход инструкции 10–12 июля 1920 года, а соотнесение дневника, инструкции и заверительной подписи Лютова даёт возможность говорить о том, что именно в эти июльские дни и началось ведение журнала военных действий в Первой Конной армии. Ещё одно доказательство военно-исторической ценности дневника Бабеля.

– *Выходит, и Бабель вам каким-то образом помогает – и, надо полагать, не только в архивах?*

– Конечно, помогает, он ведь не только загадывает загадки, но и даёт подсказки.

– *Что на сегодня известно об изъятом архиве самого Бабеля?*

– До сих пор ничего неизвестно. В том числе о тех папках, в которых были его рукописи.

Находясь во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке, 11 сентября 1939 года Бабель написал заявление наркому внутренних дел Л. П. Берии с просьбой разрешить привести в порядок отобранные при аресте рукописи: «Они содержат черновики очерков о коллективизации и колхозах Украины, материалы для книги о Горьком, черновики нескольких десятков рассказов, наполовину готовой пьесы, готового варианта сценария. Рукописи эти – результат восьмилетнего труда, часть из них я рассчитывал в этом году подготовить к печати. Я прошу Вас также разрешить мне набросать хотя бы план книги в беллетристической форме о пути моём...»

Привести в порядок рукописи Бабелю не дали. Были ли они в то время на Лубянке, тоже неизвестно. Однако никаких актов об уничтожении архива Бабеля нет, поэтому остаётся надежда на его обретение.

Перед арестом он работал над подготовкой сборника «Новые рассказы», ведь его последний прижизненный сборник, в который целиком вошёл конармейский цикл, издан в 1936 году.

– *За Бабеля после ареста не заступился ни один из писателей. Чем это объяснить?*

– А кто бы мог заступиться? Тот, кто сам висел на волоске? Впрочем, мы не располагаем точными сведениями о том, пытался ли кто-нибудь заступиться. В любом случае, судьба Бабеля была предопределена, никакое заступничество ничего бы не изменило.

Зато мы знаем другое. Бабель арестован, как было сказано, 15 мая 1939 года, а уже 8 июня председатель правления Литфонда СССР К. А. Федин пишет письмо тому же Берии с просьбой дать распоряжение о передачи переделкинской дачи Бабеля «Литературному фонду для дальнейшего использования её по прямому назначению путём предоставления её членам Союза писателей для творческой работы и отдыха». 15 июня Берия ставит положительную резолюцию. Комментарии, как говорят, здесь излишни.

– *Несмотря на связь с конкретным событием – Международной научной конференцией «Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век» к 120-летию со дня рождения писателя (Москва, июнь 2014), одноимённый сборник, по-видимому, ожидает долгая литературная жизнь. С учётом же тиража пятьсот экземпляров он скоро станет библиографической редкостью...*

– Да, по сути, это первый за всю историю литературоведения сборник на русском языке, посвящённый Исааку Бабелю. Доклады конференции к 100-летию со дня рождения писателя, проведённой на базе Российского государственного гуманитарного университета, печатались лишь в специальных выпусках журнала «Литературное обозрение». В 2009 году в США по материалам посвящённой Бабелю конференции в Стэнфорде вышла книга на английском – под редакцией доктора славянской филологии, профессора Стэнфордского университета Григория Фрейдина – с символическим заглавием «The Enigma of Isaak Babel: Biography, History, Context» («Загадка Исаака Бабеля: Биография, история, контекст»).

Стоит принять во внимание не только широту обсуждаемых тем, но и географический охват нынешнего сборника. Его авторы – филологи, литературоведы, многие с мировым именем, из России, США, Израиля, Франции, Германии, Венгрии, Украины, Грузии, причём это не только специалисты по творчеству Бабеля, но и те, кто занимается русской и зарубежной литературой XX века. Представлены разные литературоведческие школы, разные методики и подходы к произведениям писателя.

– *Из каких разделов – если в общих чертах – состоит сборник?*

– Открывает сборник раздел, посвящённый «Конармии» – главной книге Бабеля. Первые рассказы конармейского цикла публиковались в одесских «Известиях». С появлением этих рассказов в

московской печати, ещё до выхода отдельного первого издания книги в мае 1926 года, Бабель становится одним из наиболее популярных советских писателей. «Самый знаменитый писатель в Москве», – назвал его в письме Максиму Горькому от 4 марта 1926 года Сергей Григорьев.

В этом разделе обсуждаются вопросы текстологии и комментариев, анализируются композиция цикла и характеры персонажей, освещается полемика вокруг конармейских рассказов.

– *Одна из текстологических проблем конармейского цикла – опечатки, и довольно грубые...*

– К сожалению, эти опечатки сохраняются во всех российских изданиях – начиная или с последних прижизненных вариантов «Конармии», или с первого посмертного сборника Бабеля «Избранное» 1957 года. Вне сомнения, их необходимо, по какому бы изданию ни воспроизводилась «Конармия», наконец исправить. Приведу только два наиболее ярких – если можно употребить подобное слово применительно к ошибкам – примера.

В рассказе «Смерть Долгушова» есть фраза: «Поляки вошли в Броды и были выбиты контратакой». В третьем издании 1928 года из слова «поляки» выпала буква «я», и с тех пор фраза печатается в таком виде: «Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой». Если бы это изменение внёс сам Бабель, он обязательно бы обозначил, какие полки – по крайней мере польские или наши, а скорее всего, назвал бы номера полков. Речь же в рассказе идёт именно о поляках.

Другая ошибка – поистине курьёзная – появилась в рассказе «Эскадронный Трунов» в первом посмертном сборнике. В самом начале рассказа говорится о похоронах «всемирного героя» Пашки Трунова, и во всех прижизненных публикациях эта фраза дана одинаково: «Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте – в общественном саду, посреди города, у самого собора». А далее сообщается, что первый пушечный выстрел произведён «по соборным часам». В «Избранном» 1957 года «собор» превратился в «забор», и с тех пор в российских изданиях конармейского цикла «всемирного героя Пашу Трунова» хоронят «на торжественном месте <...> у самого забора».

– В 1954 году благодаря настойчивости вдовы писателя Антонины Пирожковой Бабель был посмертно реабилитирован. Его первый посмертный сборник «Избранное» вышел после двадцати одного года забвения в «Гослитиздате» тиражом всего семьдесят пять тысяч экземпляров с предисловием Ильи Эренбурга, который в феврале того же 1957 года в «Литературной газете» напечатал большую статью о писателе – «Необходимое объяснение»...

– ...а затем понадобилось ещё девять лет, прежде чем появились два новых сборника Бабеля – в Москве и в Кемерово. И лишь в 1990-м Антонине Николаевне Пирожковой, преодолев многие трудности, удалось издать его сочинения в двух томах.

– Символично присутствие в сборнике сразу трёх представителей Франции – филологов Эмиля Когана («Ранняя проза И. Бабеля: От реализма к модернизму (1916–1917 гг.)») и Мирей Коган-Брудер («Бабель и Эйзенштейн: Конфликтный монтаж в сценарии “Карьера Бени Крика”»), преподавателей Института восточных языков и цивилизаций (Париж), и переводчика Софи Бенеш («И. Бабель во Франции и на французском языке»). Именно французский язык пятнадцатилетний Бабель, прекрасно им владевший, выбрал для своих первых рассказов. Не говоря уже о том, что он был влюблен во французскую литературу. И французский – это, кажется, первый из иностранных языков, на который были переведены его произведения?

– Если верить «Автобиографии» Бабеля, он действительно свои первые не дошедшие до нас рассказы написал по-французски. Что касается переводов – чуть раньше Бабель был переведён на немецкий язык (1926) и на испанский (1927). Французские переводы появились в 1928 году.

Однако абсолютно верно то, что у французских классиков, как и у русских, Бабель учился писательскому мастерству. Своему кумиру, Мопассану, он посвятил рассказ «Гюи де Мопассан», впервые напечатанный в июньском номере журнала «30 дней» за 1932 год. О небольшом трёхтомнике Мопассана, где Бабель был редактором, уже говорилось. Интересно в связи с этим замечание Софи Бенеш: «Когда я переводила Бабеля, я внимательно прочла его переводы, заодно перечитала все рассказы Мопассана и убедилась в том, что у них с Бабелем действительно есть что-то общее – и в стиле, и в ощущении жизни».

Впервые Бабель приехал в Париж 20 июля 1927 года. Пробыв здесь около трёх месяцев, из-за обострившейся астмы переехал в Марсель, очень полюбившийся ему из-за сходства с родной Одессой, и прожил там полтора месяца. Первое пребывание во Франции длилось четырнадцать с половиной месяцев. Но всей душой любя Францию и Париж, Бабель вместе с тем прекрасно осознавал, что только в России может быть верным самому себе – оставаться писателем. По возвращении на родину в середине октября 1928 года он признавался матери: «Несмотря на все хлопоты, чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно, но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я всё больше чувствую, как с каждым днём я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не своё, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь». Второй раз писатель прожил в Париже почти год – с середины сентября 1932 по август 1933-го. Впечатления Бабеля от этого города вылились в один из поздних его шедевров – рассказ «Улица Данте».

В июне 1935 года в Париже состоялся Международный антифашистский конгресс писателей в защиту культуры. Изначально Бабель не был включен в состав советской делегации. И только по настоянию Андре Жида и Андре Мальро его вместе с Пастернаком выпустили на конгресс. Бабель и Пастернак выехали в Париж 21 июня, в день, когда конгресс уже начался. Выступление Бабеля состоялось 25 июня. Илья Эренбург вспоминал: «Исаак Эммануилович речи не написал, а непринуждённо, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе». 27 июня Бабель писал матери и сестре в Бельгию: «Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи), имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать, как волк, в поисках материала – хочу привести в систему мои знания о ville lumière [город-светоч (фр.)] и, м. б., опубликовать их...»

Эта поездка за границу оказалась последней.

– Простите, пожалуйста, не только за бестактный, но и абсурдный вопрос. Но с учётом современной политической ситуации не задать его вам невозможно. Почему, на ваш взгляд, Бабель – с одинаковым «успехом» и в России, и на Украине – становится

камнем преткновения для тех, кто страдает националистической болезнью? Какому народу Бабель принадлежит?

– Но националистическая болезнь, как вы сказали, – это болезнь не только нашего времени или нынешней политической ситуации. Антисемитизм, как и русофобия и тому подобные «измы» и «фобии», существует с незапамятных времен. Чтобы далеко не ходить за примерами, возьмём их из произведений Бабеля. В рассказе «Замостье» из «Конармии» мужик говорит Лютову: «– Жид всякому виноват <...> и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется». Или вспомним холодящий душу эпизод из рассказа «Дорога». Но ведь не только о национальной ненависти идёт речь. Часто эта ненависть распространяется на талантливых, да просто интеллигентных и образованных людей любой национальности. «...Тут режут за очки», – из той же «Конармии» («Мой первый гусь»).

Я бы видоизменила второй ваш вопрос: «Какой литературе принадлежит Бабель?»

Для меня лично ответ на этот вопрос однозначный: Бабель – русский писатель. Не могу согласиться с той точкой зрения, что язык для «национальности» литературного произведения не является определяющей категорией. Ведь язык – это не только средство общения, но и образ мыслей, а у писателя с языком, на котором он создаёт свои произведения, связана и его художественная система. Но, не стану спорить, Бабеля можно причислить и к русско-еврейским писателям. На эту тему, в частности, есть прекрасная статья «Шабос-нахаму в Петрограде: Бабель и Шолом-Алейхем» Эфраима Зихера в обсуждаемом сборнике. Ещё надо назвать уже давнишнюю статью «Русско-еврейская литература и Исаак Бабель» Шимона Маркиша. В упомянутой статье Григория Фрейдина речь идёт о русской еврейской литературе – это нечто иное. Памятуя об «Одесских рассказах», месте действия «Конармии», вероятно, можно говорить и о русско-украинском писателе Бабеле. Безусловно, Бабель – ярчайший представитель южнорусской литературной школы. Нельзя забывать и о его связи с западноевропейской культурной традицией и о том, что на сегодняшний день произведения Бабеля переведены не только на основные европейские и славянские языки, но и на португальский, норвежский, шведский, датский, даже исландский, а также на китайский, японский, турецкий

и многие другие. Следовательно, Бабель принадлежит мировой литературе. Думаю, любящие Бабеля не станут спорить с таким определением: «классик русской и мировой литературы».

– В последние годы интерес к Бабелю, никогда, впрочем, и не стихавший, заметно возрос, что очевидно и по книжным полкам, которые заполняются всё новыми и новыми изданиями его книг. Назовем, к примеру, те, где вы указаны как составитель, комментатор или редактор: «Исаак Бабель. Письма другу: Из архива И. Л. Лившица» (2007); «Исаак Бабель. Рассказы» (2014), в которое включены все сохранившиеся рассказы Бабеля, а также все четыре выполненных им перевода – три из Мопассана и один с идиша Давида Бергельсона, расстрелянного в 1952 году по делу Еврейского антифашистского комитета; библиофильское издание «Исаак Бабель. “Улица Данте”» (2015). В настоящее время вы работаете, если не ошибаюсь, над жизнеописанием Бабеля для издательства «Вита Нова» (в соавторстве со Стивом Левиным) и готовите «Конармию» Бабеля для издания в серии «Литературные памятники»...

Чем можно объяснить читательский интерес к Бабелю?

– Думаю, в первую очередь яркостью и необычайным своеобразием его литературного дара, безупречностью стиля. Лично меня Бабель завораживает: даже анализируя его тексты, выявляя приёмы, я не могу понять до конца – как он это сделал. Но, конечно, и содержанием. Непревзойдённый мастер короткого рассказа, талантливый драматург и киносценарист, отразив в своём творчестве трудную эпоху первой трети XX века – время революции, гражданской войны, коллективизации, Бабель, как бы, возможно, банально это ни прозвучало, сумел наполнить свои произведения вечными ценностями добра, справедливости и гуманизма.

В письме Анне Григорьевне Слоним от 7 декабря 1918 года Бабель признается: «В характере моем есть нестерпимая черта одержимости и нереального отношения к действительности». Мне кажется, что эту самохарактеристику можно отнести и к его произведениям. Ведь в основе творческого метода Бабеля лежит заостренное сочетание факта и вымысла, достоверности и точности со сдвигами и смещениями действительных событий, географии, иногда дат. Об этом сам писатель говорил не раз. Например: «Полученные от действительности впечатления, образы и краски я за-

бываю. И потом возникает одна мысль, лишённая художественной плоти, одна голая тема... Я начинаю развивать эту тему, фантазировать, облекая её в плоть и кровь, но не прибегая к помощи памяти... Но удивительное дело! То, что кажется мне фантазией, вымыслом, часто впоследствии оказывается действительностью, надолго забытую и сразу восстановленную этим неестественным и трудным путем. Так была создана «Конармия». Напомню и знаменитый пассаж из рассказа «Мой первый гонорар»: «Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь из всех сил старается походить на хорошо придуманную историю».

– *Были ли у Бабеля стихотворные пробы?*

– Бабель тот редкий писатель-прозаик, который не начинал со стихов и стихов не писал. Во всяком случае, история об этом умалчивает. В Одесском коммерческом училище он вместе со своим школьным другом Исааком Лившицем пробовал издавать литературный журнал. Может, там что-то и было, хотя не думаю. Бабель начинал с того жанра, в котором прославился, – с короткого рассказа. А поэзия, как вы сами заметили, растворена в его прозе.

– *Вы, конечно же, помните это стихотворение Бориса Слуцкого:*

*Кем был Бабель? Враль и выдумщик,
Сочинитель и болтун,
Шар из мыльной пены выдувший,
Лёгкий, светлый шар-летун.*

*Кем был Бабель? Любопытным
На пожаре, на войне.
Мыт и катан, бит и пытан,
Очень близок Бабель мне.*

*Очень дорог, очень ясен
И ни капельки не стар,
Не случаен, не напрасен
Этот бабелевский дар.*

Этот портрет Бабеля удачный?

– И да и нет. Первое четверостишие кажется мне довольно легкомысленным: враль, выдумщик, сочинитель – это Бабель. Но вот болтун – всё же к Бабелю совсем не подходит, и уж тем более его произведения никакой не лёгкий «шар-летун», выдутый «из мыльной пены». Два других четверостишия, по-моему, не плохи – правда, они несколько банальны по форме, но не банальны по содержанию.

– В Одессе, на родине Исаака Бабеля, в сентябре 2011 года на углу улиц Жуковского и Ришельевской, напротив уже упоминавшегося дома № 17, где семья Бабеля поселилась в 1909 году, появилась композиция из бронзы, выполненная скульптором Георгием Франгуляном – именно его проект был одобрен родными писателя: автор «Одесских рассказов» и «Конармии» сидит на ступенях с блокнотом, рядом с ним – символическое катящееся колесо.

Что мешает открыть там же, в Одессе, ещё и музей, посвящённый этому писателю? В Одесском литературном музее, расположенном, кстати, в красивейшем дворце, который некогда принадлежал представителю высших кругов русской аристократии, одному из первых граждан Одессы князю Дмитрию Ивановичу Гагарину, «у Бабеля» лишь экспозиция в зале одесской литературной школы...

– Безусловно, такой писатель, как Исаак Бабель, заслуживает «своего» музея. Но музея экстра-класса. А это практически неразрешимая задача. Говорю как музейщик с более чем сорокалетним стажем. И дело не только в деньгах.

Во-первых, в Одессе, коль уж мы говорим об Одессе, нельзя создать мемориальный музей: дом на Дальницкой улице на Молдаванке, где родился писатель, не сохранился, а в его квартире на Ришельевской, 17 живут люди.

Во-вторых, музей невозможно сделать без музейной коллекции. Скажем, рукописные материалы в виде хороших копий (оригиналы всё равно в постоянной экспозиции не могут находиться по условиям их сохранности) можно было бы с миру по нитке собрать. Изобразительные материалы тоже можно найти. Но почти нет личных вещей Бабеля, а без них музей будет скучным... Делать полностью интерактивный музей, по-моему, не имеет никакого смысла.

В-третьих, для музея, пусть не мемориального, а чисто литературного, всё равно нужно найти подходящее помещение или построить новое. Ну и так далее.

Мне кажется, скорее, может речь идти о каком-нибудь культурном центре или литературном клубе, носящем имя Бабеля, не включая и музейную составляющую.

– Вернёмся в Москву. Почему до сих пор не установлен памятник Бабелю в центре, в Большом Николоворобинском переулке, где он жил с 1932 года? Ведь точного подтверждения того, что прах Бабеля, расстрелянного 27 января 1940 года, захоронен именно в общей могиле № 1 на территории Донского монастыря, нет и, видимо, уже не будет...

– Вопрос об установке памятника в Москве, насколько могу судить, упирается в первую очередь в финансирование.

– И вполне уместен, возможно, памятный знак в Санкт-Петербурге – городе, с которым, как и с Одессой, Николаевом, Киевом, у писателя связано немало воспоминаний – здесь в 1916 году он стал студентом четвёртого курса юридического факультета Петроградского психоневрологического института, здесь осенью того же года в редакции журнала «Летопись» на Большой Монетной улице встретился с Горьким...

– ...и не просто встретился. Горький сыграл особую роль в его жизни и творческой судьбе. «И вот – я всем обязан этой встрече, – писал Бабель в «Автобиографии», – и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением». И ещё из очерка «Начало», в котором Бабель рассказал и о начале их дружбы, и о начале своего творческого пути: «Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провёл в редакции “Летописи”».

Кстати, Бабель снимал комнату у Анны Григорьевны и Льва Ильича Слоним в доме № 9а, совсем недалеко от редакции журнала «Летопись», которая помещалась на той же Большой Монетной, в доме № 18. Поэтому легко представить состояние юного Бабеля, когда Горький принял к публикации его рассказы – из редакции он, не помня себя, пошел не домой, а в противоположную сторону и оказался у Чёрной речки.

В «Летописи» Горький напечатал два рассказа молодого Бабеля – «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла».

«Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте, – вспоминал Бабель. – Я приносил ему всё, что писал, а писал я по

одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем чтобы впасть в противоположную крайность). Горький всё читал, всё отвергал и требовал продолжения. Наконец, мы оба устали, и он сказал мне глуховатым своим басом: – С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом... Ступайте-ка посему в люди...»

Когда Горький умер, Бабель не только потерял друга и учителя. Неслучайно он сказал жене: «Теперь мне жить не дадут». Спустя почти три года Бабеля арестовали. В части тиража альманаха «Год XXI» (1938), попавшей в библиотеки, текст очерка «Начало» был вырван, а фамилия его автора в оглавлении тщательно вымарана.

– *Что бы Бабель, будь он живым, сказал о нашем сегодня?*

– Фантазировать о том, что сказал бы Бабель о нашем сегодня, не хочется. Вероятно, что-то он воспринял бы положительно, к чему-то отнёсся бы отрицательно. Ведь в каждой эпохе есть хорошее и дурное. Как и в том историческом периоде, в котором он жил... Посмотрите, ведь не будь революции и братоубийственной гражданской войны, у нас, возможно, не было бы такого писателя, как Исаак Бабель, не будь порождённого той же революцией террора 1930-х годов, он прожил бы дольше, и мы бы читали сегодня многие другие его произведения...

– *Замечания о писательском ремесле, психологии творчества у Бабеля «разбросаны» «повсеместно». Причём не обязательно в его собственных вещах, интервью или выступлениях. Многие такие «высказывания» Бабеля широко известны, например, по воспоминаниям Константина Паустовского: «– У меня нет воображения <...> Я не умею выдумывать. Я должен знать всё до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моём щите вырезан девиз: “Подлинность!” Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там к чёрту моцартианство, веселье над рукописью и лёгкий бег воображения! <...> Когда я пишу самый маленький рассказ, то всё равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно скрыть до основания Эверест <...>*

Я беру пустяк – анекдот, базарный рассказ – и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных ча-

стиц. И сила этого сцепления такова, что её не разобьёт даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить».

Что если подобные бабелевские замечания собрать воедино?

– Все эти высказывания из мемуаров Паустовского часто используются даже в научных работах о Бабеле. Но всё же надо сделать поправку на то, что воспоминания Паустовского – это в первую очередь художественное произведение, а не документальная проза. Мне с трудом верится, чтобы Бабель в дружеской беседе произносил подобные тирады о литературном труде. Тем более что известно, как он не любил разговоров на литературные темы. Думаю, что для Паустовского, прекрасно знавшего произведения Бабеля, возможно, какие-то его интервью и выступления, именно там находился основной источник необыкновенно привлекательных «высказываний» Бабеля о литературном методе. Хотя какие-то разговоры между друзьями, безусловно, велись. Реальны или сконструированы эти высказывания, но суть отношения Бабеля к писательскому труду они выражают, на мой взгляд, точно. А если все замечания собрать воедино, то мы получим портрет Бабеля – Мастера слова и самого требовательного к своей работе Художника.

Книга Эдуарда Бормашенко “СУХОЙ ОСТАТОК”

Возможна ли философия в современном мире?
Как сложить мозаику, включающую узор заповедей
и паутину уравнений современной физики?

Как сопрягаются воля к истине и воля к смыслу?
Автор, не возводя 1001-ю философскую систему,
предлагает запись своего духовного опыта
и размышления о текстах,
сформировавших его внутренний мир.

Книгу открывают автобиографические зарисовки.
Издательство Москва-Иерусалим, 2014 год, 308 страниц. Цена
книги с пересылкой – 75 шекелей.

Для заказа чеки на имя Эдуарда Бормашенко
пересылать по адресу:

Ariel, 40700, P.B. 2369, Avner str. 17, apt. 2, Israel.
Электронный адрес автора: edward@ariel.ac.il

Эдуард Бормашенко

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ТЕЛЬ-АВИВА В МОСКВУ

В мою электронную почту залетело письмо: уважаемый Эдуард Юрьевич, просим Вас посетить... Первое чудо состояло в том, что я его не стер. Письма, начинающиеся подобным образом, я проворно стираю, экономя на движениях “мышки”. Приглашают выступить на симпозиумах, конференциях и коллоквиумах, заманивая бесплатной и скоропостижной публикацией в трудах Греко-варяжского научного общества. Аспирантам и их боссам необходимо накачивать списки публикаций. Ведь без пухлого перечня статей, какие ж они ученые?

Но это письмо я прочел. Меня приглашал еврейский центр “Яхад”, проводивший в Подмоскovie летние молодежные посиделочки. И тут свершилось второе чудо: я согласился. Со времен застоя испытываю стойкую личную неприязнь к коллективным мероприятиям. Не люблю общее выражение лиц присутствующих. Но сердце мое стукнуло и на мгновенье провалилось в неизжитые глубины бедного моего, советизованного подсознания, и я решил: ехать надо, очень хотелось повидать еврейскую молодежь в массе, а удобнее всего это было сделать в раскованной обстановке кашерного пикника, сервированного под встречи с интересными людьми.

Мне предложили прочесть лекцию, что ж меня даром-то возить в Москву? Я с ходу брякнул: “наука и религия”. Тема была принята. Расписание себе положил тугое: прилет в Москву, лекция и немедля домой, чтобы поспеть к Субботе. Субботу могу проводить только дома. В гостях и Суббота не Суббота.

В июньскую тель-авивскую жару приятно вкатываться с чемоданом в прохладу аэропорта имени Бен-Гуриона. Литой основоположник государства встретил меня на входе в зал ожидания,

лысиной напоминая Владимира Ильича, а непреклонным, борцовским взором – Маркса. За спиной основоположника в бесчисленных лавчонках аэропорта шевелился и приторный, и пряный, суматошный, взбалмошный и неряшливый израильский капитализм (буква “ш”, кстати, поспешила в кириллицу из иврита). У памятника фотографировалось марокканско-российское семейство: семипудовый сефард придерживал смуглую, русую девчужку, нежно поглаживающую плешь Давида Грина, поодаль благодушествовала пушистая, надушенная, белая, как сугроб, мама.

Поднимаюсь на борт аэрофлотовского “Сухого”. Стюардессы, прыгнувшие с лубочных иллюстраций к русским народным сказкам, вежливы и предупредительны. Легко составил из них матрешку. Заползаю в кресло у аварийного выхода. Эка повезло: можно и длинномерные ноги вытянуть. Меньшая из матрешек приносит стопку газет. С наслаждением впиваюсь в кириллицу. Тут же бьет в нос дух новой либеральной публицистики: немного фронды, неладно что-то в государстве российском; где-то кое-кто у нас порой ворует; но несомненно одно – без патриотизма и помазанника на царство нам – никуда, а патриотизм и любовь к царю-надеже – вещи нераздельные.

Оглядываюсь, рядом со мной негабаритный по росту, ломкий хасид уютно сбрасывает ботинки. По излому шляпы понимаю – хабадник. Лицо – тонкое, осененное. Лет, навскидку, – до сорока. Борода сильно размывает возраст. Взлетели, сосед немедля достал из битого портфельчика книгу на иврите и испарился в текст. Я тоже уткнулся в “Топологию для физиков”. Через полчаса лету хабадник стал коситься на перетекающие друг в друга пластилиновые тела и каббалистические письма, подмигивавшие из моей книжки. Еще через полчаса не выдержал:

– А что это вы читаете?

– Физику.

– А что такое физика?

Изумление соседа было искренним и сострадающим. Как может человек в кипе и при бороде читать такую бредятину? Я тоже осведомился:

– А у вас, любезный, что за книга?

– Я в московской ешиве преподаю афтарот к недельной главе, вот готовлюсь к занятиям.

Ученейший, утонченнейший человек, сидящий в брюхе “Сухого”, понятия не имеет о том, почему эта железяка летит, а крыльями не машет. Впрочем, столь же смутные представления о подъемной силе и реактивном движении плавают в головах всех пассажиров, включая дипломированных и остепененных.

Вскипевший на топологической премудрости разум требовал отдыха, и я принялся готовиться к лекции. Как за полтора часа рассказать недорослям в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти о невозможном и неизбежном со-бытии веры и разума? О том, как легко вера, накидывая узду на свободную мысль, искренне и одухотворенно скатывается в начетничество и мракобесие; о том, как наука, отняв у религии триаду: чудо (разве самолет, в котором мы летим не чудо?), тайну (что там варят химики в своих колбах, давно уже никто не понимает, кроме дюжины их коллег) и авторитет (с авторитетом сегодняшней науки состязаться немислимо), сама превратилась в злобную, костенеющую церковь. Об идеях рава Кука, грезившего синтезом разума и веры, реальным настолько, насколько возможно одновременно вдеть две лохматые нитки в игольное ушко.

Исписав полблокнота заметок, раскланявшись с озадаченным хасидом и распавшейся матрешкой стюардесс, направляюсь к выходу. Споро пробегаю паспортный контроль и спешу к выходу. Меня ждет водитель Володя, лет пятидесяти, приятной наружности советского солдата эпохи фильмов социалистического реализма. Едем в Подмосковье. Москва из окна автомобиля смотрится внушительно: везде копают, строят, на каждом углу подъемные краны. Знакомая мне серая брежневская Москва обрела цвет, лавки броско, кричаще размалеваны. Кризис не заметен; впрочем, не хочется уподобляться Бернарду Шоу, объявившему человечеству, что, так вкусно, как в Москве тридцать первого года, его никогда не потчевали, так что слухи о каком-то голоде в России – вранье.

Приезжаем в снятый под мероприятие санаторий. Меня любезно встречает мой знакомец по переписке, оказавшийся рыжеватым, грустным хабадником, и просит пройти в зал, моя лекция – вторая. Опять чудо. Мне не предложили и стакана чаю. Я привык к еврейскому гостеприимству, дивно расцвеченному Жаботинским, не “русскому гостеприимству, активно-радушному, милости просим”, а Песаховому: “Всякий пусть приходит и ест”. “А гас? Мит-н коп ин

ванд, т.е. открой ему, гостю, двери на звонок, скажи: вот стулья, а вот чай и сдобные булочки; и больше ничего, не потчуй его, не заботься о нем, пусть делает, что угодно – “хоть головой об стенку” (“Пятеро”).

Ну, хорошо, вторая лекция, так вторая, мы люди тренированные, перебежамся без чаю. А кто же у нас первым номером программы? Захожу в громадный зал: слушателей с полтысячи, на счет слушателей я погорячился – половина уткнулась в мобильники, так что скорее – зрителей. Но видно, что всем не скучно, комфортно и расслаблено; мордочки – хорошие, незлые, студенческие.

На сцене раввин-стэндапист: твердо обещает юношеству – если будете соблюдать заповеди, на ваш бизнес никто не наедет, и будете вы и есть, и насыщаться, и плодиться. И все с прибаутками, все весело. От эстрадной проповеди у меня свело зубы. Я почитаю раввинов и не возражаю послушать конференсье, если он не вполне Жорж Бенгальский. Эстрадник – прежде всего актер, и если он заразительно произносит: “кролики, это не только ценный мех”, – мне смешно, и я гогочу. Но раввин, говорящий сплошь беспримесные плоскости, ничего кроме недоуменного презрения у меня не вызывает. В любой самой лучшей и глубокой лекции есть конференс, вопрос в пропорциях.

Представление затягивается, и я начинаю озлобленно поглядывать на часы: времени на мою лекцию не остается, наплывает обратный рейс. Конференсье не унять; по невозможности оторвать ему голову, дослушиваю репризу до конца, и тут объявляют перерыв. Детки утомились.

На мою лекцию остается менее часа. Но вот еврейская молодежь очень неохотно тянется в зал, и я начинаю говорить. Здесь происходит следующее чудо: я позорно проваливаю лекцию. Недорослям – скучно. Я не нашел в зале ни одной пары глаз, за которую мне удалось бы зацепиться взглядом. Я – достаточно харизматический лектор и легко приковываю к себе аудиторию. Не без домашних заготовок, апробированных шуток и легкого актерства, но притягиваю зал и ташу за собой. Но здесь провал был очевидный и трескучий; была взята фальшивая нота.

Никого не интересовала драма взаимоотношений веры и разума, присутствующие никогда об этом не думали и ничего об этом не читали. Они, кажется, вообще ничего не читали; о “Братьях Карама-

зовых” имеют в лучшем случае представление, доставляемое добротно-заунывным сериалом. Но скорее не смотрели; скучно, тягучие разговоры в трактирах; какой-то Великий Инквизитор, и опять же, долго и занудно рассуждает невесть о чем...

Я “пустил петуха”, но не только потому, что нет никакой возможности читать дифференциальное исчисление людям, не знакомым с таблицей умножения, но по самому отсутствию интереса аудитории к теме. Выросло поколение еврейских мальчиков, совершенно не озабоченных ни верой, ни разумом. А чем же озабоченных? Не знаю... Ну, что ж, дети, как дети, вот только мобильник их испортил.

Заткнув фонтан, поспешил к мужественно-простецкому Володе, которому надлежало меня доставить в Домодедово. Мы немедленно оказались в еле ползшей пробке. Я принялся разглядывать унылое автомобильное стадо и заметил, что новое восьмирядное шоссе через каждые полста метров заткнуто недвижимыми “Газелями”. Поинтересовался у Володи, что это – на них падучая напала? Володя терпеливо объяснил: “Лето. Жарища. У “Газелей” мотор закипает. Брак заводской. Это уж которое лето из-за них – пробки”. Я наивно осведомился: “Так, если брак известен, отчего не устраняют?” – “Да что там той жары, пару месяцев”.

Стоим, для уравнивания нервных систем начинаем трепаться. Володя косится на мою кипу и спрашивает: “А что у вас там, в Израиле, еврей-слесаря есть?” Я, кривя душой, с некоторым ненатуральным нажимом говорю: “Есть”. Есть-то они есть, но вымирают, арабы-слесаря точно есть. Но в тонкости ближневосточной жизни вдаваться неохота.

Приближается время моего рейса. Стоим. Володя, желая сделать мне приятное, говорит: “Плохо вот живем”. – “А отчего же плохо?” – “По двум причинам: во-первых, Медведев гадит. Путин еле разгреб дерьмо, которое ему после своего президентства Дмитрий Анатольевич оставил. А, во-вторых, все лучшее арабам посылаем. Нам самим не хватает, а мы арабам шлем”. Помнится, в дни моей молодости, все лучшее поедали поляки. Стало совсем тоскливо. Воистину, все бедствия человека происходят от человека.

Когда подскочили к аэропорту, регистрация на рейс “Москва – Тель-Авив” была уже закрыта. Я рванулся к стойке “Аэрофлота”, за которой обреталось главное российское чудо – сердобольная женщина, протаскивавшая меня через все потенциальные барьеры к открывающейся двери “Сухого”. Я успел на Субботу.

Илья Корман

ГОЛОС НАСТАВНИКА

– Ну, так и есть! – злобно вскрикнул Порфирий,
– не свои слова говорит! – пробормотал он ...
Ф. Достоевский, «Преступление и наказание»

Песня Александра Галича «Командировочная пастораль» не относится к числу популярных. Но и неудачной её никак не назовёшь. Это глубокая, сильная песня, но отчего же она столь тяжёлое впечатление производит?

Вроде бы в ней не происходит ничего страшного: описывается любовное приключение в гостинице – но откуда же эта «всемирно-историческая тоска»?

Насколько нам известно, эту песню – вернее, стихотворение – не пытался анализировать никто, кроме Е.Эткинда (статья «Человеческая комедия Александра Галича», журнал «Континент», 1975 год, № 5), да и он высказался очень кратко, к тому же фрагментарно. Фрагменты эти (их два) мы можем привести полностью, по их краткости.

Первый: «... командировочный, который «подклеил» в гостинице дамочку и экономит на угощении...» (этот фрагмент есть последний элемент длинного списка, перечисляющего героев стихотворений Галича).

Второй: «В малых бытовых деталях – уважение к реальности, к трудовой жизни людей, не привыкших быть в центре писательского внимания; после того как в литературе не стало Зощенко, про них забыли, вроде и нет на свете, городских этих горемык. Александр Галич присматривается к ним с неторопливостью и добрым вниманием, и такая щемящая тоска охватывает нас, когда мы узнаём убожество их прозябания, беспросветное их одиночество, повседневность их беды – особенно одиноких женщин, которым хуже всех.

«Командировочная пастораль» – монолог служащего, который живёт в гостинице, и вот повёл он в ресторан женщину, которая надеется на дорогой ужин, а он ей:

*Под столом нарежем сальца
И плевать на всех на тутошних.
Балычок? Прости, кусается,
Никаких не хватит суточных.*

Про ту женщину мы знаем мало, но и, кажется, достаточно: «туфли-лодочки», «юбка чёрная», «в глазах червоточина». А роман их может длиться только до полуночи, потому что – «курва здешняя коридорная». Боже, какая тоска!»

Вот и Е.Эткинд говорит о тоске, только не о «всемирно-исторической».

Сама по себе статья Е.Эткинда весьма интересна, но для понимания «Командировочной пасторали» мало что даёт.

Что же делать?

Давайте пройдемся с героем «Командировочной пасторали» по всему стихотворению – может быть, что-то нам и откроется.

КОМАНДИРОВОЧНАЯ ПАСТОРАЛЬ

*То ли шлюха ты, то ли странница.
Может, хочется, только колется.
Что-то сбудется, что-то станется,
Чем душа твоя успокоится.*

*А то и станется, что подкинется.
Будут волосы все распатланы,
Общежитие да гостиница –
Вот дворцы твои клеопатровы.*

*Сядь, не бойся, выпьем водочки,
Чай, живая – не покойница.
Коньячок? – четыре звёздочки!
Коньячок, он – тоже колется...*

*Гитарист пошёл тренди-брендями,
Саксофон хрипит, как раздавленный.*

*Всё, что думалось, стало бреднями:
Обманул Христос новоявленный!*

*Спой, гитара, нам про страдания,
Про глаза нам спой и про пальцы:
Будто есть страна Пасторалия,
Будто мы с тобой – пасторальцы.*

*Под столом нарежем сальца,
И плевать на всех на тутошних.
Балычок? – прости, кусается!
Никаких не хватит суточных.*

*Расскажи ж ты мне, белка белая:
Чем ты, глупая, озабочена!
Что ты делала? где ты бегала?
Отчего в глазах червоточина?*

*Туфли-лодочки на полу-то чьи?
Чья на креслице юбка чёрная?
Наш роман с тобой – до полуночи:
Курва здешняя коридорная!*

*Влипнешь в данной ситуации –
И пыли потом, как конница...
Мне к семи, тебе к двенадцати –
Очень рад был познакомиться!*

*До свидания, до свидания!
Будьте ж счастливы и так далее ...
А хотелось нам, чтоб – страдания,
А хотелось, чтоб – Пасторалия!*

*Но, видно, здорово мы усталые.
От анкет у нас в кляксах пальцы!
Мы живём в стране Постоялии,
Называемся: постояльцы.*

1966

Итак, начинаем обход.

– «Командировочная пастораль». Первое слово – вполне из лексикона героя, тут всё в порядке. Но вот второе... Пастораль – это жанровое определение, термин литературоведения и термин истории живописи; вряд ли наш герой с этим термином знаком.

Таким образом, мы можем предположить, что название стихотворения дано не героем его, а кем-то иным.

– «То ли шлюха ты...». Да, командировочный может так сказать (или подумать).

– «...то ли странница». А вот так – уже не может. Потому что странница – не его слово. Оно выводит слушателя из гостинично-ресторанного советского быта на дореволюционный простор, на «дорогу дальнюю», по которой идут «божьи люди» – странники. Подобные выходы, подобные скачки невозможны в речи нашего героя.

– «может, хочется, только колется». Ну, это обкатанное выражение, вошедшее в активный фонд языка; герой вполне может им воспользоваться, тут всё в порядке. Отметим только, что здесь не зафиксирована точка зрения. Кому «хочется, но колется»? ему? Может, и ему. А может, ей? Может, и ей. Полная ясность наступит уже в следующем пункте; ясность внесёт слово «твоя».

– «Что-то сбудется, что-то станется, чем душа твоя успокоится». Да, наш герой может так подумать. Но только это, как и в предыдущем случае – «хочется-колется» – не совсем его речь. Это – видоизменённое название известного карточного гадания: «Что было? Что будет? Чем сердце успокоится?»

Надо сказать, что карточное гадание в литературе, в том числе советской, вещь обычная. Так, в «Двенадцати стульях», в главе «Слесарь, попугай и гадалка», мадам Боур гадает мадам Грицацуевой. «Дом» и «корабль» – составные части названия известного романа Александра Крона – суть четвёртая и третья карты малой гадальной колоды Ленорман.

Отметим, что тут уже возникают сомнения, способен ли герой воспользоваться лексиконом карточных гадалок, или же он (герой) слишком для этого ограничен. Мы будем «трактовать сомнения в пользу подсудимого».

– следующие три строки проблем не создают, это – мысли нашего героя.

Но четвёртая... «Вот дворцы твои клеопатровы»... Вот тут уж никаких сомнений нет. Снова, уже в который раз, наш герой «не свои

слова говорит». Он говорит слова, которые слишком сложны для него; слова, выводящие его – и нас – в какое-то другое историческое измерение, делится с нами каким-то иным историческим опытом...

Чьи слова?

Прервём ненадолго наш обход. И зададимся вопросом: если герой стихотворения, командировочный, временами «не свои слова говорит», то – чьи же?

Тут нам придётся предположить наличие в стихотворении дополнительного героя – тайного, неназываемого. Его культурно-исторический кругозор шире, чем у явного героя. Культурно, идейно и психологически тайный герой (будем его называть: наставник) близок к Галичу.

Ничего странного (тем более – пугающего) в нашем предположении нет; ведь не пугается же читатель, встречая в стихах не совсем обычных персонажей: «музу» или «гения»!

Вот, например, стихотворение А.Ахматовой:

Муза

*Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.*

*И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?" Отвечает: "Я".*

Что, собственно, необычного в гостье? что пришла – ночью; да ещё – Муза, и общалась с Дантом. А так: гостья как гостья, молодая женщина. «Вошла», «взглянула», «отвечает».

Но совсем другая ситуация в цветаевском «Разговоре с гением». Тут нет никаких «вошёл», «взглянул», «ответил»... Нет никакой дудочки в руке, да и рук-то самих нет: герой невидим, не локализован в пространстве (возможно, и вообще бесплотен. Интересно, что в

стихотворении нет обращений поэта к гению, хотя обращения гения к поэту – имеются: «Будешь!», «Брось, не морочь!» и т.д. Потому нет обращений, что как-то неловко, затруднительно обращаться к невидимке. Да, поэт «слышит» гения, отвечает ему, возражает ... но обращений всё-таки избегает).

Само пространство никак не размечено, не очерчено (отчасти поэтому и отсутствует слово «вошёл»: некуда входить).

*“Львов, а не жен
Дело”. – “Детей:
Распорошен –
Пел же – Орфей!”*

*“Так и в гробу?”
– “И под доской”.
“Петь не могу!”
– “Это воспой!”*

Но по-прежнему о присутствии необычного действующего лица нас извещают уже в заглавии: «Разговор с гением»; по-прежнему реплики нового лица выделены графически, с соблюдением правил пунктуации (заклучены в кавычки и т.д.).

У Галича же ситуация ещё сложнее и, так сказать, тоньше. О наличии наставника нас не предупреждают ни в заглавии, ни в основном тексте. Реплики наставника графически никак не выделены; местоименные формы в них те же, что и в прилегающих строчках командировочного. И только по содержанию, по «культурной наполненности» реплик можно угадать, чьи они.

Таким образом, там, где кажется, что герой «не свои слова говорит», на самом деле говорит наставник.

Продолжение обхода

– Вся третья строфа принадлежит нашему герою, и первые две строки четвёртой – тоже. А вот следующая строка – «Всё, что думалось, стало бреднями» – это нечто новое. Потому что так может сказать (подумать) наш герой, но так может сказать и наставник. Эта строка находится в зоне пересечения их сознаний.

– «Обманул Христос новоявленный!» Очень интересное высказывание. Принадлежит, конечно, наставнику – и больше никому. «Христос новоявленный» – это Ленин... или советская власть... или вообще коммунистическая идея.

За частным, локальным наблюдением командировочного (музыка в ресторане – не самой высокой пробы) наставник обнаруживает глубинный исторический смысл (причём, что немаловажно, трагический) и высказывает его так, чтобы казалось, что это – открытие самого командировочного.

– «Спой, гитара, нам про страдания, // Про глаза нам спой и про пальцы» – пожалуй, можно считать, что это двуединый голос командировочного и наставника.

Какие страдания имеются в виду? Дело в том, что существует такой фольклорный (частушечный) жанр – страдания (воронежские, саратовские). Но здесь, очевидно, имеются в виду страдания в более «высоком», «романтическом» смысле – быть может, с «цыганской» (утрированной) манерой исполнения. Нашему герою хотелось бы видеть себя и свою даму охваченными сильными и здоровыми чувствами, чувствами «детей природы» – пастухов и пастушек: «Будто есть страна Пасторалия, // Будто мы с тобой пасторальцы», да только искусственно сконструированные термины – Пасторалия, пасторальцы – нашему герою не могут быть известны. Стало быть эти две строки опять-таки принадлежат наставнику, подсказаны, нащёптаны им нашему герою.

– Семь следующих строк, от «Под столом нарежем сальца» до «Что ты делала? где ты бегала?» принадлежат нашему герою, командировочному.

– Восьмая («Отчего в глазах червоточина?») может принадлежать как герою, так и наставнику, причём в последнем случае слово «червоточина» обретает некую многозначность.

– Восьмая, девятая строфы и первая половина десятой – голос командировочного. – «А хотелось нам, чтоб – страдания» – двуединый голос явного и тайного героев. «А хотелось, чтоб – Пасторалия!» – только тайного.

– «Но, видно, здорово мы усталые» – командировочный.

– «От анкет у нас в кляксах пальцы» – командировочный и наставник.

– «Мы живём в стране Постоялии, // Называемся: постояльцы»
– наставник.

Наш обход закончен. Сделаем ещё несколько замечаний.

Фон для наставника

Формально «Командировочная пастораль» есть рассказ героя (Е.Эткинд использует термин «монолог») о некой истории, с ним приключившейся. Таких «рассказов героя о приключившейся истории» у Галича немало. В них герой говорит «своими словами», в характерной языковой манере, присущей именно данному персонажу:

*Не то он зав, не то он зам,
Не то он – печки-лавочки.
А что мне зам! Я сам с усам,
И мне чины до лампочки.*

*Мне все чины
Да ветчины
До лампочки!*

Но речь героя «Командировочной пасторали» не такова. Она не индивидуализирована – а напротив: максимально объективирована. Объективирована для того, чтобы стать неотличимым фоном для реплик наставника, чтобы затруднить опознание речи наставника как самостоятельной, отдельной, со своим особым содержанием, со своей особой направленностью. Наставник должен скрывать своё существование, и потому он не может пользоваться местоимением «я» и его падежными формами. Но в таком случае, для неотличимости фона, ими не должен злоупотреблять и герой.

Стихотворение Галича есть объективированный монолог заурядно-ограниченного героя, в который вклинены реплики наставника – носителя более высокого и более трагического сознания.

Уходящая конница

«И пыли потом, как конница»... Тут важно понять, что конница уходит, удаляется от наблюдателя. Это разбитая, отступающая кон-

ница. Нечто похожее мы обнаруживаем и в стихотворении Галича «Уходят друзья»:

*Уходят, уходят, уходят друзья!
Уходят, как в ночь эскадрон на рысях...*

Вообще – образы коня, всадника, конницы и т.д., «будучи романтическими по происхождению», у Галича зачастую погружаются в совсем не романтическую обстановку; романтизм подвергается испытанию (а то и осмеянию: «Подрулила птица-тройка, // Сел стукач на облучок») – и его не выдерживает.

*По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В чёрной бурке на коне.
...Но оставь, художник, вымысел –
Нас в герои не крои,
Нам не знамя жребий вывесил –
Носовой платок в крови.*

Конница уходит, пасторальная любовь не получилась, «наши пальцы в кляксах от анкет»...

«Командировочная пастораль» – песня уходящих, отступающих, терпящих поражение. Время пасторалей – прошло; попытка возродить пасторальное мировосприятие – заранее обречена. И если этого не понимает командировочный, то с лихвой понимает наставник. Понимает, и его трагическое понимание делает всё стихотворение тоскливо-трагическим.

Жанровый ключик Владимира Фрумкина

С вышеприведённым текстом ознакомился музыковед, теоретик бардовской песни Владимир Фрумкин. Ниже следуют его соображения по поводу «Командировочной пасторали».

Я послушал «Пастораль» в авторском исполнении. Так сказать, возобновил его в памяти. Перечитал текст. И пришел к выводу, что стилистику и лексику песни задает выбранный автором жанр.

*То ли шлюха ты, то ли странница,
Вроде хочется, только колется...*

Узнаете ритм? Волнующее, завораживающее соединение хорей и дактиля? та-та—та-та-та/та-та—та-та-та

Ну, конечно, “Очи черные, очи страстные...”

А мелодия? Минорный вальс, тоже напоминающий “Очи черные” и подобные же старинные русско-цыганские песни. Таков 8-строчный запев, повторяющийся 4 раза. Он чередуется с 4-строчным припевом-попевочкой в плясовом, невальсовом ритме (“Сядь, не бойся, выпьем водочки”). (Точно так же, на таком же контрасте, вальс—плясовая, построен куплет в песне о Блоке — “Цыганском романсе”: “Повстречала девчонка бога”).

Что получается? Образ рассказчика, лирического героя этого стихотворения вставлен в рамки широко известного жанра русско-цыганской песни, но штука в том, что Галич этот жанр не копирует, а трансформирует, внося в него резко диссонирующие черты нового времени, иной, советской культуры. В старинном романсе был пир горой — “скатерть белая залита вином”, и язык красивый, и страсть неподдельная — душа нараспашку. А теперь что? “Коньячок — он тоже колется”, “Балычок? Прости, кусается”, “Курва здешняя коридорная”, “От анкет у нас в кляксах пальцы”.

Есть тут и аллюзия на Вертинского (которого Галич знал наизусть), на его “Попугай Флобер”:

На кресле в комнате белеют ваши блузки...

Галич этот образ огрубляет, СНИЖАЕТ (в буквальном смысле слова, от блузок — к юбке и туфлям...):

*Туфли-лодочки на полу-то чьи?
Чья на креслице юбка черная?*

Сдвиг в культуре и быте страны изображен через искажение жанровой традиции, через ее вульгаризацию. Тот же прием — в галичевском “Прощании с гитарой”, стилизованном под Аполлона Григорьева (“Поговори хоть ты со мной”), но так, что — уверен — Григорьев не раз перевернулся в гробу:

*...Что, может, та, курносая,
"Послушает и даст"...*

*Плевать, что стала курвою,
Что стать под стать блядям,
Зато номенклатурная,
Зато нужна людям.*

Мне кажется, что "жанровый ключик" лучше приоткрывает глубинный смысл песни – "Вот как мы опустились, как опошлились..." И лучше объясняет неоднородность ее лексики: автор берет за основу традиционный, "дореволюционный" музыкально-поэтический жанр и модернизирует его, подвергает вульгаризации. При такой трактовке вряд ли нужен "наставник". Повествователь — рядовой советский интеллигент, который пытается разговаривать со случайной "дамой сердца" на родном с детства языке старинного русско-цыганского романса, но невольно вставляет в него чуждые этому языку словечки, рожденные новым и далеко не прекрасным временем...

Так чьи же слова?

Подход В. Фрумкина, безусловно, очень интересен. Но главный вопрос – чьи слова (и почему) говорит командировочный – остаётся без ответа.

«...стилистику и лексику песни задает выбранный автором жанр», – пишет В. Фрумкин.

Но на самом деле: если музыкальный жанр и определяет лексику, то – лишь частично.

«Повествователь – рядовой советский интеллигент», – считает В. Фрумкин. Но в том-то и дело, что **не** интеллигент! (Е. Эткинд выражается осторожнее: служащий). В том-то и дело, что лексикон нашего командировочного ограничен, и таких слов и выражений, как *пастораль/Пасторалия* или *дворцы Клеопатровы* содержать не может и не должен. Они, эти выражения, не советские и не антисоветские – они пришли из других эпох, из других культурных слоёв. (И в лексиконе цыганских романсов подобных выражений тоже нет).

Тем не менее, командировочный ими пользуется. Откуда же они берёт?

Где подслушано? Кем напето? Естественно предположить наличие некоего наставника (или, если угодно, суфлёра).

Астрономам известно такое явление, когда одно небесное тело, оставаясь невидимым, искривляет орбиту другого – видимого – небесного тела (и именно этим искривляющим воздействием обнаруживает себя). Суфлёр-наставник «растворён в тексте», его не видно, но его скрытое присутствие обнаруживается при анализе «странным образом обогащённой» лексики командировочного.

Наталья Зейфман «Еще одна жизнь»

Осенью 2016 года в московском издательстве «Время» тиражом 1000 экз. вышла книга воспоминаний Натальи Зейфман – об отъезде семьи в Израиль в 1991 году (воспринятом как конец жизни и начало новой), о московском лефортовском детстве в сороковых-пятидесятых, о работе в Отделе рукописей ГБЛ, о Каверине, о историке П.А.Зайончковском...

Дина Рубина, представившая книгу в аннотации, говорит о ней так: "Эта книга – не триллер и не детектив, – необыкновенно увлекательное чтение!".

Книгу можно приобрести у автора, обратившись по электронной почте: nataliazeifman2015@gmail.com.

Павел Амнуэль

МОЗАИКА ПАМЯТИ

Первый свой рассказ (естественно, фантастический) я написал лет в тринадцать, под впечатлением только что опубликованной в «Технике – молодежи» «Туманности Андромеды» И. Ефремова. Не помню, что это был за рассказ – но могу себе представить... Читал я много, и как-то в журнале «Знание – сила» мне очень понравился рассказ Георгия Гуревича «Инфра Дракона». О том, как наши космонавты обнаружили неподалеку от Солнечной системы невидимую звезду, настолько холодную, что светила она только в инфракрасном диапазоне. Такие наполовину звезды, наполовину планеты сейчас действительно обнаружили и довольно много, правда, не в окрестностях Солнечной системы, а гораздо дальше. Называют их горячими юпитерами. Но это сейчас, а в 1958 году идея инфракрасной звезды была фантастикой. Эту идею я и присвоил, но сделал наоборот: в моем рассказе разумные обитатели инфры посещали Солнечную систему. Рассказ назывался «Икария Альфа».

Главный герой был по нынешним понятиям анекдотичным: соборание всех возможных штампов. У нас ведь жилось хорошо, а в Америке плохо? И американские коммунисты только и думали, как свалить в СССР? Об этом писали в «Правде»! Герой мой был сыном американского коммуниста, удравшего в СССР от гнусной капиталистической жизни. А еще у нас писали, что там негров угнетают. Вот герой мой и был негром, о чем и объявлял в самом начале рассказа. «Здрасьте, – мол, – я негр».

Я аккуратно переписал рассказ в тетрадку, отправил в «Технику – молодежи» и месяца через два получил письмо от редактора:

«Дорогой Павел! Редакция получила твой рассказ «Икария Альфа». Рассказ редакции понравился. Он будет опубликован в № 10. С уважением, редактор отдела фантастики Ю. Келер».

Рассказ, действительно опубликованный в октябре, занимал четыре журнальных полосы, а под заголовком в рамочке было написано: «Рассказ, который мы публикуем, написан учеником девятого класса Бакинской средней школы № 1. Автор рассказа комсомолец, ему 15 лет». Будто так важно было, что автор – комсомолец! Все дети старше 14 лет были комсомольцами, эка невидаль.

Еще через месяц получил на почте свой первый гонорар: 1322 рубля. Мне это казалось огромной суммой, чуть меньше месячного оклада мамы и папы вместе.

Воодушевившись, я принялся строчить рассказ за рассказом. Следующий рассказ назывался «Ветка сирени», его я тоже отправил Келеру и был уверен, что не позднее чем через месяц получу письмо, что рассказ принят. Но письма не было, я отправил еще один рассказ и написал Келеру, спросил, в чем, мол, дело, отправляю рассказы, а ответа нет.

До конца января я отправил Келеру три или четыре письма с запросами и, наконец, получил долгожданный ответ, который стал ушатом холодной воды – и поделом, конечно:

«Тем, что Вы забрасываете редакцию письмами, Вы ничего не измените в решении о публикации. К сожалению, Вы пишете все хуже. Мы решили, тем не менее, опубликовать Вашу подпись под картиной в № 2 за 1960 год, но редакция не может постоянно делать скидку на Ваш возраст. В дальнейшем мы будем относиться к Вам так же, как к любому автору. С уважением, Ю. Келер».

Вот так. И даже на «Вы»...

* * *

После публикации «Икарии Альфы» из Москвы стали поступать письма от читателей. Они писали в редакцию, редакция пересылала мне. Писем, как мне тогда казалось, было очень много. Сейчас понимаю, что не так уж. Десятки, да, но не сотни. Одним из корреспондентов, с которым я довольно долго переписывался, был Толя Фоменко, тоже в то время ученик девятого класса, из Донецка. Когда в журнале вышел мой рассказ, у Толика в «Пионерской правде» из номера в номер печаталась повесть «Тайна сгоревшей

планеты». Повесть мне нравилась, и я очень обрадовался, получив письмо от автора. Оказалось, что Толик тоже интересуется астрономией, физикой, любит фантастику – в общем, нашлось много тем для разговора. Обсуждали мы проблемы мироздания – сейчас, конечно, не помню, какие именно. Письма, к сожалению, не сохранились, хотя было бы очень интересно их перечитать, учитывая, кем стал впоследствии Толик.

Свои письма Толик печатал на пишущей машинке, как настоящий писатель, а я свою первую машинку, старый дореволюционный Ундервуд, приобрел значительно позже. Прервалась переписка, когда мы не сошлись во мнениях по поводу опытов Резерфорда. Не сошлись не в принципиальном вопросе, просто я поймал Толика на неточности, и он, видимо, обиделся. Он написал что-то о «французе Резерфорде», я напомнил, что Резерфорд был англичанином, и на это письмо Толик не ответил. Поскольку других причин для разрыва отношений я не видел, то решил, что Толик обиделся за Резерфорда. Может, и не так, не знаю.

Я вспомнил о Толике много лет спустя, когда появились первые исследования академика Анатолия Фоменко по поводу «неправильной датировки исторических событий». Я не сразу понял, что академик-математик Фоменко и Толик – одно и то же лицо. Но лицо действительно было одно и то же – отождествил по фотографии. Конечно, за много лет Толик сильно изменился, но узнать все-таки было можно. Так что, в некотором смысле, я тоже стоял у истоков фоменковщины...

* * *

Школьная учительница математики Эсфирь Израилевна Мантель меня долго подбивала поучаствовать в какой-нибудь математической олимпиаде, а я отказывался. Не был в себе уверен, несмотря на «отлично» по алгебре и геометрии. Один-единственный раз поддался на уговоры и в десятом классе попал на городскую математическую олимпиаду. Закончилось это конфузом.

Задач было три, и времени на решение – три часа. В классе, где мы сидели, часов не было, время я проверял по наручным часам, которые купил год назад на свой первый гонорар. Задачи не показались мне особенно трудными, я сидел, размышлял, как лучше написать. Посмотрел на часы и ахнул: оказывается, прошло уже два

с половиной часа, а я и не заметил! Надо спешить! Огляделся – все сидят, спокойно пишут. Пришлось быстро записать решения, и, когда на моих часах оставалась минута до окончания, я встал и пошел сдавать листки. На меня удивленно посмотрели, и председатель комиссии спросил: «Уже? Так быстро?» Я не понял: где ж быстро, уже время! Отдал листки и вышел. Коридор был пуст, и я удивился: почему никто не торопится? Посмотрел на большие часы, висевшие на стене, и только тогда понял: оказывается, прошел всего час! Секундная стрелка на моих часах вращалась, как ошпаренная. Не знаю почему, не знаю, какая биофизика сыграла роль, но мои часы начали в тот день (именно во время конкурса!) идти втрое быстрее! Через пару часов после этого они опять пошли нормально – секунда в секунду. Как объяснить этот феномен – не знаю.

Вернулся я домой, уверенный, что написал ерунду, и, конечно, призового места не займу.

Результат стал известен через неделю. Занял я третье место. Но! Две задачи я решил правильно, как в учебнике. А третью, которую решал второпях, за минуту до «конца» срока, я решил тоже правильно – в том смысле, что получил правильный ответ. Но никто не мог понять, КАК я его получил. Там была числовая последовательность, и нужно было найти ее сумму. Существовала формула, которую надо было использовать. А у меня написано было три строчки текста без единой формулы. Что-то вроде «поскольку первый член равен тому-то, а коэффициент... то...» и дальше сугубо логически был выведен ответ. Правильный. Случайно написать это число было невозможно. Меня потом позвал председатель комиссии, и они с Эсфирь Израилевной добивались, чтобы я объяснил, как пришла мне в голову идея логического решения. Я не смог, за что мне и снизили балл...

После этого стресса я больше на олимпиады не ходил.

* * *

В пятом классе я записался в астрономический кружок при Дворце пионеров. Вообще-то небо меня всегда... манило, наверно, пышно сказано, но действительно... иные миры, звезды... Когда отец сказал, что во Дворце пионеров есть астрономический кружок, я, естественно, пошел записываться. Руководил кружком Сергей Иванович Сорин – личность уникальная. Он был совершенно одинок –

и тогда, и всю жизнь. Никогда о себе не рассказывал, и я лишь много лет спустя узнал, что у него была любовь – на фронте случился роман с девушкой-санитаркой. Обычная по тем временам история. Девушка погибла, и Сергей Иванович никогда больше не посмотрел ни на одну женщину. Астрономический кружок составлял весь смысл его жизни.

В десятых классах в те годы изучали астрономию, и как-то Сергей Иванович устроился преподавать этот предмет в одну из школ. Проработал он полгода, и его попросили уйти, потому что в первом же полугодии он выставил всем ученикам по единице в табели, и только одному – двойку. Когда изумленный завуч спросил, что это значит, Сергей Иванович объяснил, что никто ни черта не усвоил и ни бельмеса не знает. Поэтому – кол. И только один ученик знает, но плохо, вот и получил плохую оценку, то есть двойку.

Летом кружок выезжал на наблюдения в Пиркули – туда, где потом построили обсерваторию. Но меня мама не отпускала в экспедиции, боялась, что в горах мне станет плохо – врачи диагностировали у меня комбинированный порок митрального клапана и запретили физические нагрузки. Поездка в горы – нагрузка. К тому же, высота полтора километра. Потом я в той обсерватории проработал почти четверть века. Оказалось, что высота на мое сердце не влияла, но это уже другая история, загадку которой я не разгадал до сих пор...

* * *

Когда я оканчивал школу, повели меня к лучшему детскому врачу города, доктору Листенгартен, ей было уже немало лет, и опыт в лечении любых детских болезней у нее был огромный. Она меня послушала и сказала: «Молодой человек, вы, в принципе, можете и до восьмидесяти дожить, но при одном условии: жесткая дисциплина, режим, не пить, не курить, тяжести не поднимать, физической работой не заниматься...» И добавила: «Может, когда-нибудь научатся такие пороки оперировать, тогда вам сделают операцию...»

Так и жил, все знали, что у меня больное сердце и пытались относиться соответственно. Регулярно, раз в года три, делали кардиограмму, которая, естественно, показывала то же, что прежде. Всякий раз я ловил на себе сочувствующие взгляды врачей: мол, не повезло человеку, до пенсии не дотянет...

Последний раз в Баку делал кардиограмму перед отъездом в Израиль. В эпикризе было написано все то же: «комбинированный порок митрального клапана».

В Израиле, как положено, записался в больничную кассу и отправился на прием к домашнему врачу: встать на учет. Домашний врач прочитала документы, покачала головой, послушала и направила на новую кардиограмму и на ультразвук. И там, и там диагноз подтвердили.

Так и жил – с ощущением, что завтра может что-то заклинить, и...

Через пару лет у меня поднялось давление – первый раз в жизни. Мы успели за это время переехать и жили не в Иерусалиме, а в Бейт-Шемеше. Там я еще в поликлинику не ходил, и домашний врач меня не знала. Померила давление, сделала укол, спросила – на что еще жалуюсь. Я сказал: на сердце. Рассказал свою историю, она посмотрела эпикризы и отправила в соседнюю комнату – сделать кардиограмму.

Врач налепил на меня датчики, посмотрел на ленту, выползавшую из самописца, смотрит, сделал удивленное лицо и сказал:

«Это вы на сердце жаловались?»

«Я».

«Ничего у вас нет, – сердито объявил он, распознав, видимо, во мне симулянта, – абсолютно здоровое сердце! Четкий ритм, ровные зубцы, никаких отклонений от нормы».

Немая сцена.

Для проверки меня отправили на обследование ультразвуком. Там посмотрели и сказали: абсолютно здоров.

Вторая немая сцена...

И финал этой очень странной истории: домашний врач заявила, что раньше, может, и был порок, раз столько кардиограмм это показывали, но сейчас нет ничего.

«Как это возможно?» – спросил я.

«Никак, – ответила она. – Не встречала в медицинской литературе случая, чтобы митральный клапан вдруг сам собой исправился. Это же не функциональное нарушение, это физический дефект перегородки!»

«И что дальше?» – спросил я.

«Желаю вам, – сказала она, – дожить до ста двадцати. С таким сердцем, как у вас, это вполне реально».

А в компьютер записала: «Спонтанная реабилитация».

Лет десять спустя я написал повесть «Маленький клоун с оранжевым носом», где с главным персонажем происходит примерно такая же история. Но то фантастика...

А что произошло в реальности?

* * *

Сергей Иванович уговаривал меня ехать после школы в Москву и поступать в МГУ, а мама с папой были против: не было денег, чтобы меня в Москву отправить.

После второго курса я все же решил попробовать перевестись в МГУ. Деньг к тому времени дома не стало больше, но я был немного увереннее в себе и решил попробовать. Прочитал несколько книг и трудов конференций по космологии, написал в тетрадке что-то вроде реферата и отправил в ГАИШ (Государственный Астрономический институт имени П.К. Штернберга при МГУ) самому Якову Зельманову – он был тогда ведущим космологом в СССР, известный в то время ученый. Ни на что не надеялся, но неожиданно получил от Зельманова письмо: работа ему понравилась, и он был бы не против видеть меня своим учеником. С этим письмом я после второго курса отправился в Москву.

В ГАИШе все прошло хорошо, Зельманов поговорил со мной, подписал нужные бумаги, потом поставил свою подпись директор ГАИШ академик А. Михайлов, милейший старичок, он со мной целый час беседовал, совершенно не помню о чем. Потом бумаги подписал декан физфака В. Фурсов. Оставалась формальность: утверждение на деканском совещании. После бесед с Зельмановым, Михайловым и Фурсовым я был уверен, что в Баку не вернусь.

Но... Было лето, август, все разъехались, уехали отдыхать и Зельманов, и Фурсов, и Михайлов. Деканское совещание вел В. Саломатов, заместитель декана. Как это происходило, я четверть века спустя описал в повести «Высшая мера». Эпизод о том, как герой повести пытался перевестись в МГУ, описан там один к одному:

«Вопрос решался на деканском совещании. На физфаке толстенные двери, а нам – нас пятеро переводились из разных вузов страны – хотелось все слышать. С предосторожностями (не скрипнуть!) приоткрыли дверь, в нитяную щель ничего нельзя было увидеть, но звуки доносились довольно отчетливо. Анекдоты... Лимиты

на оборудование... Ремонт в подвале... Вот, началось: заявления о переводе. Замдекана:

– Видали? Пятеро – Флейшман, Носоновский, Газер, Лесницкий, Фрумкин. Прут, как танки. Дальше так пойдет... Что у нас с процентом? Ну я и говорю... Своих хватает. Значит, как обычно: отказать за отсутствием вакантных мест.

Мы отпали от двери – все пятеро, как тараканы, в которых плеснули кипятком».

Домой я возвратился из Москвы, уверенный, что работать астрономом мне не суждено. Тогда и произошло событие, какие случаются раз в жизни. Когда я учился на пятом курсе, как-то у двери в аудиторию меня поджидал молодой мужчина, серьезный, лет тридцати. Спросил: не моя ли фамилия Амнуэль.

«Мое имя Октай, – сказал он, – я замдиректора Шемахинской обсерватории по науке. Недавно назначили. Сам я только что защитил кандидатскую диссертацию и хочу взять студента, работать с ним над дипломом. Декан мне сказал, что вы интересуетесь астрономией. Хотите работать со мной?»

Конечно! Октай Хангусейнович Гусейнов стал моим научным руководителем. Сначала я писал с ним дипломную работу «Некоторые особенности наблюдения нейтронных звезд». Потом он, как заместитель директора по науке, прислал в университет персональный вызов – и, защитив диплом, я оказался в той самой обсерватории, о которой мечтал. С Октаем мы работали вместе 23 года, пока я не уехал в Израиль, а он вскоре – в Турцию, потому что в конце восьмидесятых в Азербайджане наукой заниматься стало невозможно.

Много чего мы сделали с Октаем за годы совместной работы. Например, за три года до открытия предсказали рентгеновские пульсары. В начале семидесятых писали, что в Галактике должно быть десять тысяч слабых рентгеновских источников. И природу их описали. Нам говорили, что слабых рентгеновских источников вообще не должно быть, поскольку, чем слабее излучение, тем оно «мягче», слабые источники окажутся не рентгеновскими, а ультрафиолетовыми. Через несколько лет оказалось, что мы были правы, сейчас в Галактике известны тысячи слабых рентгеновских источников...

В середине семидесятых мы составили самый большой по тем временам каталог рентгеновских источников и не знали, где его пуб-

ликовать. Огромная работа, больше ста страниц, в московский «Астрономический журнал» ее не приняли бы из-за объема.

Летом 1978 года в городе ученых Протвино, под Москвой, состоялось первое (и последнее) советско-американское совещание по рентгеновской астрофизике. Мы с Октаем поехали и взяли с собой каталог: это была коробка с карточками из плотной бумаги, для каждого источника была отдельная карточка, на которой записаны все известные к тому времени параметры: координаты на небе, область ошибок, интенсивность излучения, переменность, данные о спектре... Из США на совещание приехали руководители американской космической рентгеновской программы. Наш каталог я показал главному «рентгенщику» Джорджу Кларку. Он поглядел и сказал: «Надо срочно отправлять в “Astrophysical Journal”». Я объяснил непонятливому американцу, что это невозможно, потому что этот журнал (ведущий в мире по астрофизике) платный. Чтобы опубликовать статью, нужно платить 60 долларов за каждую страницу, в нашем каталоге страниц двести, а у нас даже одного доллара нет!

«Ничего, – сказал Кларк, – присылайте, остальное вас не касается».

Месяца через два мы получили письмо из журнала: материал представляет большой интерес и будет опубликован в таком-то номере. К письму была приложена бумага, согласно которой мы должны были заплатить за публикацию около шести тысяч долларов.

Мы написали письмо Кларку, но на публикацию уже не надеялись. Шесть тысяч! Огромные деньги! Прошел еще месяц, и из США пришло новое письмо, в котором говорилось, что вопрос оплаты улажен, за нас заплатил Колумбийский университет.

Каталог был опубликован в «The Astrophysical Journal, Supplement series». Наш каталог оказался вообще первой публикацией советских астрофизиков в этом журнале.

* * *

В 1976 году неподалеку от обсерватории Азербайджанфильм снимал картину «Дервиш взрывает Париж» по произведению классика азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундова. Как-то под вечер шеф мне сказал, что прибыл актер Юрский, здесь он впервые, и хорошо бы ему показать обсерваторию.

«Ты, – говорит, – все тут знаешь, зайди к нему»...

Я не представлял, как приду к незнакомому человеку, известному и любимому актеру... Что скажу? Для храбрости позвал с собой Сашу Рольникова, электронщика, тот был гораздо более коммуникабельным, и вдвоем мы могли рассказать Юрскому все, что надо.

Постучались в номер, получили приглашение войти. Юрский (я его сразу узнал, такое узнаваемое лицо!) сидел за маленьким столиком у окна, перед ним стояли два пустых граненых стакана, а под столом – пустая бутылка «Столичной».

Мы с Сашей переглянулись, и наше мнение о Юрском катастрофически упало. А Юрский нас подозрительно осмотрел, особенно руки (ничего мы с собой не принесли), после чего пригласил сесть и спросил:

– Ребята, что за странные порядки в вашей обсерватории?

Мы удивились: в чем дело?

– Понимаете... – продолжал Юрский. – Приехал я, только разложил вещи, открывается дверь, входит молодой человек, представляется оператором картины и говорит: «Давайте выпьем за знакомство по стакану водки». Я вообще-то не любитель этого дела, но... У него с собой и бутылка, и стаканы. Выпили, минут пять поговорили, и он ушел. Тут же опять открывается дверь, входит другой молодой человек, представляется помощником режиссера и говорит: «Давайте выпьем за знакомство по стакану водки». Стаканы мне оставил оператор, а бутылка у помрежа была с собой. Знаете, что меня поразило больше всего? Я понимаю – выпить за знакомство, ладно. Но было сказано очень конкретно: по стакану водки. Это тут обычай такой?

– Нет, – сказал я. – Вообще-то мы вино пьем.

– И сколько человек с вами сегодня знакомилось? – мрачно спросил Саша, прикидывая нанесенный здоровью Юрского ущерб.

– Трое. Третьим был осветитель, он вышел только что. А вы, вижу, не принесли...

– Нет, – смутились мы, решив, что надо бы, наверно...

– Слава богу! – обрадовался Юрский. – Так давайте поговорим! Тут у вас прекрасно!

И мы поговорили. Обо всем на свете. Собеседником, несмотря на три выпитых стакана водки (как потом оказалось, еще и вино

было добавлено), Юрский был замечательным. Сейчас я уже не помню деталей, но время пролетело быстро. Почему-то вспоминается один момент:

– Ребята, – вдруг спросил Юрский, – не знаете ли вы, что такое лесная шишига?

Мы не знали Видимо, речь шла о русском фольклоре, и шишига, скорее всего, что-то вроде лесной феи? Этот вариант я и представил на рассмотрение.

– Это я и сам понимаю, – вздохнул Юрский. – Фея, нимфа... Но кто конкретно? Понимаете, я не могу читать со сцены стихотворение, если хотя бы одно слово в нем мне не совсем понятно или не могу схватить интонацию. А здесь в библиотеке ни одной книги по русскому фольклору!

Естественно. Откуда в астрономической библиотеке такие книги? И найти их негде.

Посетовали мы на недостаток информации, а Юрский неожиданно вспомнил другое:

– Да! – сказал он. – Меня в Баку предупреждали, что в Шемахе потрясающее вино (мы закивали – так, мол, и есть). И можно дешево купить целый бочонок (верно, кивнули мы опять, мы платим рубль за литр). Так что когда меня сюда привезли, я еще вещи не распаковал, приходит ваш какой-то начальник, вроде замдиректора, и говорит, что, если мне нужно хорошее вино, то прямо сейчас меня могут отвезти в совхоз и налить полный бочонок.

И Юрский описал свое путешествие. Его посадили в «уазик» (как мы с Сашей поняли, это была машина замдиректора Фатуллаева) и повезли по грунтовой дороге, сворачивая то вправо, то влево. Мы с Сашей переглянулись – вообще-то, если выехать за первый пост, то дальше дорога асфальтовая, разветвляется и ведет в разные села, в том числе и в совхоз. Грунтовая дорога только на территории самого поселка, да и то не везде. Куда же повезли Юрского?

– Приехали мы к какому-то дому, похожему на сарай, рядом высокая желтая труба...

Мы поняли: беднягу несколько раз покрутили вокруг обсерватории и привезли к котельной, до которой можно было дойти от гостиницы пешком за три минуты.

– Вошли мы в темное помещение, и там действительно стояла большая деревянная бочка.

Мы поняли: это был директорский винный запасник. В обсерваторию часто наезжали высокие и не очень высокие гости, всех надо было поить вином и кормить шашлыками, вот и поставили большую бочку, в которой всегда было хорошее вино.

– А дальше, – продолжал Юрский, – начались приключения. Открыли кран, а вино не течет. Парень, который меня привез, говорит: «Уровень низкий, нужен шланг». Ищет вокруг и ничего подходящего не находит. Лезет в багажник уазика и вытаскивает резиновый шланг, от которого несет бензином. Вытаскивает из бочки затычку, сует туда шланг и протягивает мне второй конец со словами: «Надо немного пососать, чтобы потекло». Я с опаской сую шланг в рот и сосу... чистый бензин. Отплеываюсь, глаза на лоб, а парень говорит спокойно: «Ничего, это остатки, сейчас вино пойдет». И действительно: когда я выпил весь бензин, что оставался в шланге, потекло вино, но вкуса его я уже не ощущал. Оно действительно хорошее?

– Замечательное! – подтвердили мы, покосившись на стоявший в углу бочонок.

– Так выпьем за знакомство! – воскликнул Юрский.

Отказываться мы не стали. Саша сбежал в коттедж за снедью (огурцы, помидоры, баклажаны жареные, что-то еще, не помню), и мы провели остаток вечера за хорошей беседой, попивая хорошее вино.

Около полуночи Юрский сказал:

– А теперь, ребята, я хочу посмотреть небо с купола телескопа. Мы с Сашей переглянулись.

– Можно посмотреть, – сказал Саша. – Вокруг купола идет смотровая площадка, и вид оттуда...

– Вы меня не поняли! – воскликнул Юрский. – Я хочу взобраться на вершину купола! Вот где настоящее небо, а на смотровой площадке – ерунда!

– Но это опасно! Это и днем опасно, а ночью...

Особенно после трех стаканов водки и – вина, но об этом мы не сказали.

– Ерунда! Мы же втроем! – И Юрский принялся натягивать куртку: ночи в обсерватории очень прохладные даже в разгар лета.

Возражений он слушать не стал, и мы пошли к двухметровому телескопу. Ночь, дорога идет через овражек, кругом колючие кусты.

Саша впереди, Юрский за ним, я замыкающий. В темноте натыкались на стволы деревьев, на кусты ежевики. Наконец вышли на тропинку, и вот перед нами башня, тоже темная – во время наблюдений свет, конечно, выключали.

Вахтер нас-то знал, так что внутрь башни мы прошли без приключений, про Юрского сказали: «Этот с нами». Поднялись из-под купола наружу, на круговой обзорный мостик. Небо обалденное... Можно было хоть до утра любоваться, но Юрский хотел наверх!

На верхушку купола вела металлическая лестница вроде пожарной. Начиналась она с обзорной площадки, постепенно изгибалась, и на верхушку нужно было забираться ползком, а сорваться – в два счета, особенно в полной темноте.

– Может, не надо? – в последний раз начали мы с Сашей уговаривать гостя.

– Надо! – твердо заявил Юрский, взялся за поручни и бодро полез наверх.

Что нам оставалось делать? Саша полез следом, а я за ним. Сашина нога то и дело срывалась со ступеньки, и каблук колотил меня по темени, приходилось притормаживать. Сверху слышалось кряхтенье Юрского, Саша продолжал его уговаривать не бузить и спускаться, но...

Вообще-то, подниматься надо было невысоко – диаметр купола десять метров, высота, соответственно, всего пять, но ощущение было такое, будто ползли вечность. Когда стоишь на лестнице, то видишь не небо, а кусок металла перед носом. А как же Юрский собирался увидеть небо с вершины? Неужели начнет там поворачиваться? Свалится, это точно!

Я все ждал, что сейчас раздастся вопль и удар упавшего тела... Так прошло довольно много времени, а потом я услышал довольное мурлыканье. Видимо, Юрскому удалось повернуться, и он кайфовал, мурлыча под нос какую-то мелодию.

А спускаться-то как он будет? Опять начнет поворачиваться – упадет!

– Саша! – говорю. – Ты там контролируешь?

Саша пробормотал что-то непонятное – по-моему, он еле удерживал сам себя, а ноги Юрского поддерживал собственной головой.

Наконец послышалось кряхтение, каблук Саши двинул меня по затылку, и я понял, что надо спускаться.

Через минуту мы стояли на обзорном мостике и поспешили внутрь купола, где горела неяркая лампочка, и можно было хотя бы видеть друг друга. У Юрского было совершенно счастливое выражение лица. Счастливое и умиротворенное. Такое лицо, наверно, бывает у человека, достигшего цели в жизни.

Он увидел небо с вершины купола телескопа!

...Съемки фильма продолжались недели две, и мы с Сашей почти каждый вечер, если Юрский не был занят, приходили к нему в номер, разговаривали, иногда выходили погулять по поселку. На телескоп он больше не лазил, а содержание наших разговоров я не помню! Почему-то запомнился лишь тот первый вечер. Все-таки странная штука память...

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»:

Павел АМНУЭЛЬ	«ДОРОГА НА ЭЛИНОР»
Павел АМНУЭЛЬ	«ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО»
Марьян БЕЛЕНЬКИЙ	«ЧЕМ ВАМ НЕ КНИГА?»
Владимир ГОПМАН	«ЛЮБИЛ ЛИ ФАНТАСТИКУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ»
Влад БОРИСОВ	«ЧИТАТЕЛЬ АМФИБРАХИЯ»
Таня ГРИНФЕЛЬД	«КВЕСТ»
Таня ГРИНФЕЛЬД	«ЭСКИЗ»
Таня ГРИНФЕЛЬД	«КРУГИ ВРЕМЕН»

**ЗАКАЗАТЬ КНИГИ (БУМАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ)
МОЖНО ПО АДРЕСУ:**

<http://litgraf.com/shop.html?shop=1>

Майя Гельфанд

От редакции: Майя Гельфанд – выпускница философского факультета Тель-Авивского университета, прозаик, блогер, автор нескольких книг плюс жена знаменитого шахматиста Бориса Гельфанда.

БОРЕНЬКА ЗАПОМНИТ

(Из книги «Как накормить чемпиона?»)

Софья Львовна красит губы красной помадой, тщательно укладывает волосы, берет в руки сумочку, в тон обуви, придирчиво осматривает себя в зеркале. Ой, бусы забыла. Она возвращается в спальню, достает из шкатулки нитку жемчуга и повязывает вокруг шеи. Теперь все готово. Бабушка Софья Львовна ведет на прогулку четырехлетнего внука Бореньку.

Она родилась еще до революции, в еврейском местечке под Витебском. В 16 лет переехала в Минск, где начала свою трудовую деятельность. Она родилась, чтобы стать знаменитой певицей или популярной актрисой. Но двадцатый век распорядился иначе, и Софья Львовна трудилась вначале машинисткой в ОГПУ, а затем – бухгалтером в цирке.

В парке Боренька бегает и играет с детьми в мяч, а Софья Львовна ведет беседы с соседскими пенсионерками. Она их называет старухами и смотрит на них с легким презрением. Ведь она – не старуха, а дама. У нее по-прежнему много поклонников. Например, Исаак Пинхасович. Бодрый старик в шляпе и старомодных круглых очках, похожих на пенсне. Он недавно овдовел и явно имеет виды на Софью Львовну.

– Может быть, поделитесь своим номером телефона? – деликатно интересуется Исаак Пинхасович.

– Лучше дайте свой, – отмахивается она.

– Так ручки же нет, – не сдается Исаак Пинхасович, – записать нечем.

– Боренька запомнит.

И она подзывает внука. Тот послушно запоминает цифры, которые Исаак Пинхасович сердито и недоверчиво диктует.

Через полчаса, возвратившись домой, Боренька поднимает трубку и крутит пальчиком на диске цифры, повторяя каждую вслух.

– Алё! – раздается скрипящий голос Исаака Пинхасовича.

– Ну я же говорила – Боренька запомнит! – торжественно сообщает Софья Львовна и гордо бросает трубку.

Враг не дремлет

– Р-р-р-раз, два, левой! Р-р-р-раз, два, левой! Сто-о-ой! Кругом марш! – завуч Херсонский командует самозабвенно, чеканя каждый слог. – Газы!

Мальчишки жмутся на холоде. Еще бы! На улице плюс 10, а этот заставляет с противоголозом бегать. Живодер!

– Отставить разговорчики! Враг не дремлет. Газы!

Мальчишки быстро достают свои противоголозы. Холодно, и ветер дует, и дождик подленький начинает накрапывать. Они не удерживаются – прыскают со смеху, тычут противоголозами друг друга.

– Гельфанд, а ты чего стоишь? Скучаешь? Ты что ж, и перед американским врагом так стоять будешь...

– Да каким врагом, Григорий Израилевич, что вы в самом деле...

– Разговорчики в строю! Еще раз – газы! Американские военные разрабатывают план по нападению на Советский Союз! Американские ракеты направлены на территорию нашей страны! Американские ядерные боеголовки находятся в полной боеготовности! Мы должны быть готовы защитить Родину! Слушай мою команду – бегогом, марш!

Прошло двадцать лет.

– Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует радиостанция «Радио Чикаго» на русском языке. Как всегда, мы встречаемся с вами по вечерам, чтобы приятно провести время. Сегодня нас ожидает много интересного. Сначала – встреча с очень особенным гостем. У нас в студии – знаменитый шахматист, гроссмейстер Борис Гельфанд. Но это еще не все: нас ждет предсказание астролога, гадания на картах Таро, и, конечно же, беседы с вами, наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Борис.

– Здравствуйте.

- А вот у нас сразу же вопросик от радиослушателя.
- Алё! Алё! Я в эфире? Это радио?
- Да, да, говорите.
- Боря, ты меня помнишь? Это Херсонский!
- Конечно, Григорий Израилевич!

Париж существует

«Дорогой Боря! Мое имя Борис Гельфанд, я родом из Минска. А теперь живу в Париже.»

В 12 лет получить письмо из Парижа от человека с твоим собственным именем – это все равно, что выйти на связь с пришельцем из космоса. Париж! Оказывается, он существует! И там даже живут люди! И один из них – тоже Борис Гельфанд.

«Я был рад, прочитав в журнале о твоём успехе. В молодости (а теперь мне 78 лет), я играл в шахматы, и даже был игроком 1-й категории (далеко от тебя, ты – будущий гроссмейстер).»

Тоже шахматист! Нет, такого не бывает. Какой он? Пожилой человек, одетый в изысканный костюм, с тростью и бородкой? Наверное, похож на постаревшего Атоса. Хотя бы потому, что невозможно представить себе старого Д'Артаньяна.

«Напиши, что бы тебе хотелось получить из Парижа, буду рад прислать тебе маленький подарок.»

Подарок? Из Парижа? Эх, если бы можно было весь Париж взять и переслать по почте! А так?..

«Поклонник твоего молодого таланта Борис Гельфанд. Мой адрес...»

Эта встреча так никогда и не состоялась. Спустя пятнадцать лет молодой Борис Гельфанд приехал в Париж. За месяц до приезда он отправил письмо старому Борису Гельфанду. Но ответа не было. Он решил пойти по адресу, указанному в письме, но старика не нашел. Портье с трудом объяснил, что месье Гельфанд был очень болен и скончался в возрасте 89 лет. Шахматы? Да, момент. Портье нырнул под стол, долго шуршал, передвигал, ругался по-французски. Наконец, выудил маленькую, потертую и пыльную шахматную доску. Мы часто играли с месье Гельфандом. Хотите? Берите! На крохотной доске из дорогого красного дерева, где игровое поле было украшено искусной серебряной окантовкой, выгравирована надпись: Борис Гельфанд, Париж.

Леонид Луцкий

ПОЗАДИ У НЕЕ ДЛИННЫЙ ХВОСТ

До дождей таки попал на тель-авивский рынок – Шук Кармель. Младшее, пресыщенное нашими замечательными ресторанами поколение, иногда в порядке социального протеста там лакомится. Благо любовно сохранен стиль ностальжи тель-авивских рабочих столовок (не путать с кибуцной едой и антуражем, это для ремесленников-индивидуалистов): деревянные столы под навесом, суданские повара (рабами были в Египте мы), а приметой времени – пивные краны всех сортов и колдун-шеф. Англоязычные девочки-туристки в поисках приключений на свои очаровательные попки осваивают иврит. Взяли две порции «меурав Иерушалми». Для своих зарубежных читателей поясню: иерусалимская смесь готовится из куриной печенки, сердечек, кто-то добавляет индюшатинку, либо куриное филе, отварные куриные желудочки, можно селезенку. Все это обязательно жарится на плите – металлическом листе с оливковым маслом с луком и специями (как минимум зира, куркума). Затем все запихивается в питу. В нашем случае половинка питы, разрезанная вдоль, была предварительно протомлена в соусе (это на дне плоски) а сверху расположился меурав с жареными на огне овощами – куском баклажана, помидора, кабачка и моркови. Вдогонку шел изумительный хлеб (макать) и три вида соуса – свежих помидор, маринованной зелени и жгуче-острый. Глаза голодные успели выхватить и занять очередь за венесуэльской кукурузной лепешкой (тесто пекут при вас) с мясным фаршем. Еврейские индейцы нам родня. Каждое из блюд стоит всего 39 шекелей. Погасили все пивком за 25 шекелей (пол-литровая кружка).

Все, пора отправляться в мясные ряды, где мне попались сразу два бычьих хвоста и свежайшие почки. Еда для плебса стала дели-

катесами и подают ее в самых изысканных ресторанах мира за немалые деньги. Вот хвост присутствует в любой еврейской кухне. Йеменские ремесленники, бухарские ткачи, литовские кузнецы, одесские биндюжники и бобруйские балагулы его очень уважали.

– Кто такие балагулы? – лениво и томно спросила сытая одеситка.

– На иврите звучит гордо – «баал хаагала», хозяин колесницы. А на идиш balagole – еврейский тарантас, кучер. Однолошадное транспортное средство с вечно голодным, продрогшим возницей. Кому еще мечтать о горячем хвосте?!

Национальное блюдо Древнего Рима, испанской и голландской кухни. В аристократической квартале Барселоны мне подавали его разобраным, строгий шеф вынес лично.

Перебрав все рецепты, вышел на собственный, эдакий микс предложенных. Килограммовый хвост, порубленный на куски 3-4 см., быстро обжарил на сильном огне с крохотным количеством оливкового масла. Он пустил сок-жирок, лег передохнуть, а в эту сковороду пошли мелко порезанные лук-порей, фенхель, лук репчатый и чеснок. Следом натертая морковь, перец чили, чуть позже кубиком нарезанные три помидора (ошпаренные, без шкурки) и полпучка петрушки. Классический рецепт предполагает еще и томат-пасту. Привет украинскому борщу, венгерскому гуляшу, марокканской рыбе-храйме и молдавским фаршированным перцам. Один народ – одна судьба. Нет, я за вкусовое разнообразие. Затем налил стакан вина, половину выпил за свое здоровье, а вторую пожертвовал на блюдо. Когда спирт выпарился, вернул хвост на место, посолил-поперчил, поигрался со специями, добавил воды, чтобы она покрыла мясо, довел до кипения и поставил томиться часика на три. К моменту, когда мясо начнет отставать от кости, его ждет гарнир – молодая зеленая плоская фасоль, порезанная на манер клецок и под конец оставшиеся полпучка зелени. Передайте покорным бакинским женщинам, что струну из фасоли вынимать не нужно, она у нас очень нежная. Одновременно добавил черешки сельдерея, пару веточек тимьяна и палочку корицы. Так, наверное, поступили бы римские евреи, угнанные Титом после разрушения Храма. У них специи росли прямо за окном. А бобруйский балагула обошелся петрушкой, не бежать же ему за корицей в колониальную лавку. Так что не заморачивайтесь ингредиентами. Испанцы еще

добавляли шоколадный соус и кедровые орешки. Видите, нет предела прекрасному. Что бы у вас ни нашлось в холодильнике, хвост будет густой, наваристый и нежный. Остается мечтать о доброй чарке водки под него в холодную погоду.

Вот сию терпеливо, предвкушаю. Шабат – дело серьезное. А жена у меня смотрит голодной кошкой, как бы к концу готовки не превратилась в пантеру.

СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина МОРОЗОВСКАЯ

Дуэт, а чаще трио Светлана и Александр Менделевы и Вит Гуткин – это замечательная возможность вспомнить слова Окуджавы: "Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим!" – и отрешиться, и воспарить. На некоторое время вырваться из плоскостей нашего бытия, из времени, плотно обступившего, из реальности, в которой мало ли чего с нами происходит. Вылететь не орлом, а вот такой маленькой голубой птичкой, трогательной в своей наивности.

Невинной в самом лучшем смысле – что вижу, то пою. А видения поэта – это именно то, что берёт нас на хрупкие крылышки и приподнимает, вот это вот всё...

Послушайте сами.

Раздел "Стихи и струны" можно увидеть на сайте журнала:
<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Александр Генис

БРАЙТОН-БИЧ, ИЛИ ГОСТИ

1

В начале было слово и слово было «гласность». Каждый понимал его по-своему, но все произносили с надеждой. Прелый социализм отличался от зрелого тем, что дела окончательно заменились словами.

– Мантра важнее сутры, – рассуждали философы партаппарата, – мир не поддается толкованию, но его можно заклясть, озвучивая магическую, как «ом мани падме хум», ритуальную формулу, перед которой не устоит реальность: «Экономика должна быть экономной».

Привыкнув мерить прогресс тем, что позволяли публиковать власти, каждый устанавливал планку гласности по своей вере. Бродский объявил, что публикация полного Платонова навсегда изменит русскую жизнь. Солженицын считал, что такое произойдет, когда напечатает полного Солженицына.

Пока этого не произошло, советская пресса все равно упивалась свободой. Ведя фронтальную борьбу с цензурой, редакторы защищали фланги от рвущих подметки конкурентов. На поле боя стало тесно, и редакторы стремились ко всякому вольному слову, очертя голову и теряя ее. Возможно, поэтому я удостоился чести напечататься с Синявским в одном выпуске газеты. Называлась она «Советский цирк». Кумир эзотерической интеллигенции Сергей Аверинцев выступил с новым переводом Евангелия в журнале «Литературная учеба». Из-за наплыва авторов, помимо Марка, публикация шла с продолжением, и читатели с нетерпением ждали, чем все кончится. Но Большой Бертой гласности стал роман «Дети Арбата».

– Чтобы полностью удовлетворить спрос, – пугали читателей реакционные эксперты, – надо свести на целлюлозу все леса, не исключая Беловежской пуши.

За маршем гласности следили с одинаковым азартом по обе стороны ржавеющего Железного занавеса. И чем быстрее он разрушался, тем важнее становился вопрос: зачем нам Запад, если им становится Восток?

Оценивая свободу запрещенными книгами, мы млели от сладкого ужаса, предвидя момент, когда их не останется вовсе и опустевшее коромысло весов взмоет к небу, открыв границу и для нас. Готовясь к этому часу, советская власть пригласила эмигрантов к себе – еще не в Москву, но уже в Вашингтон. От других представителей общественности мы отличались тем, что Вайль явился в советское посольство без галстука, а я сидел в приемной, разинув рот. Роскошный особняк, некогда принадлежавший строителю мягких вагонов Пульману, украшала единственная картина, и я вникал в ее сюжет, пытаюсь понять, что она здесь делает. В степи замерзал ямщик. Заснеженные просторы не радовали глаз и ограничивались богатой рамой. На фоне бесконечной природы ямщик казался гномом, лошадь – пони, ситуация – безнадежной.

– Кто автор? – не выдержав, спросил я шепотом секретаршу

– Забыли, видать, родину, – звонко ответила она, – Айвазовский.

– Но он же море рисовал?

– Только летом, – вывернулась она и проводила в кабинет.

– Миру – мир, – произнес посол, открыв аудиенцию.

– Шалом, – ответил за всех издатель бруклинской газеты, отличавшейся тем, что она поздравила с Нобелевской премией другого Бродского, жившего на Брайтон-Бич авеню и подписывавшегося Шурик.

– Родина, – поморщившись продолжил посол, – готова закрыть глаза на прежние ошибки, признать в эмигрантах соотечественников за рубежом и устроить вам Русский дом любви, за ваши, разумеется, деньги.

Соотечественники приосанились, а я задал давно заготовленный вопрос:

– Когда гласность доберется до Солженицына?

– Солженицын, – развел руками посол, – целая держава, и мы будем строить с ним отношения, как одно государство с другим.

Я не понял, что это значит, но мне объяснил Бахчанян.

– Александр Исаевич, – предположил Вагрич, – вернется домой тогда, когда в отечестве его напечатают повсюду, в том числе и на деньгах.

Наши еще не добрались до родины, но она зачастила к нам. Первыми в Америку прорвались родичи. Поскольку мы прощались навсегда, их встречали как любимых зомби. Они тоже отличались зверским аппетитом и сметали все, предпочитая электронику, особенно – видеомагнитофоны, позволявшие, наконец, посмотреть запрещенное властями кино – Антониони, Феллини, «Глубокую глотку». (Книги брали неохотно, даже писатели: Битов – только свои, Рейн оставил и подаренные).

На второй раз радость встречи с близкими утихла, на третий – иссякла, на четвертый гостей стали звать пылесосами, уменьшительно – совки, хотя никто еще не вкладывал в этот долгоиграющий термин ничего обидного, кроме безразмерной любви к американскому ширпотребу. Моей теще, однако, он не приглянулся.

– В Америке слишком много товаров, – сказала Елизавета Спиридоновна, поджав губы.

Надувшись, она сидела дома, приводя в порядок наше безалаберное хозяйство. Теща варила борщ, убирала квартиру и столько стирала, что я спрятал мыло. По вечерам она смотрела по телевизору фигурное катание, жалея, что его редко показывают. Когда теща все-таки выбралась на улицу, экспедиция чуть не окончилась обмороком. Зная, что она совсем не понимает английского, я боялся отпускать ее одну, но она меня успокоила.

– Один не говорит, другой не говорит, но уж третий точно поймет по-человечески.

Час спустя теща вернулась.

– Вы не поверите, – заикаясь от пережитого, с трудом выговаривала она, – захожу в лифт, а там негр.

– Ну, – заторопили мы ее, подозревая худшее.

– Я же говорю: захожу в лифт, а в нем негр. Черный, как сапог.

– А дальше?

– Вам мало? Хорошо еще, он на пятом вышел.

Если родственники стали неизбежным добром, то неизбежным злом были писатели. Они шли стеной и кучковались вокруг «Свободы», где тогда, вопреки американским правилам, платили гонорар за интервью. Понятно, что на антисоветское радио приходили либералы, кроме одного еврея-почвенника, который считал необходимым построить цементный завод на азовском пляже.

– Мы вам – не Берег Слоновой Кости, – горячился он, – и не позволим превратить Россию в курорт.

Остальные вели себя в студии вальяжно.

– Миру – мир, – говорили они в микрофон, а дальше я не слушал, ибо читал те же газеты и знал, что мои собеседники не превысят разрешенного уровня гласности, уже добравшейся до Бухарина.

Сказав положенное и получив причитавшееся, гости охотно выпивали в кабинете Гендлера, всякой закуске предпочитая мучнистые бананы, отдаленно напоминающие вареную картошку. К нам они относились хорошо и снисходительно.

– Вижу тянет тебя, шельму, домой, – говорили они после четвертой.

Хуже, что все писатели просили меня показать Нью-Йорк, и я знал, что это значит. Достопримечательности согласились осмотреть самые первые – делегация литературных дам с шестимесячной завивкой и скромным орденом «За дружбу народов» в лацкане двубортного пиджака. На музей «Метрополитен» они обиделись, не обнаружив в нем передвижников.

Следующие гости, понаторев в заграничной жизни, уже не давали себя надуть. Небоскребы они видели с самолета, статую Свободы продавали на каждом шагу, музеи есть хоть и в Кинешме, а в секс-шоп сподручней заглянуть без провожатого.

– Нью-Йорк, – твердо знали они, – начинается с Брайтон-Бич, и не побывать там так же глупо, как вернуться домой без видеоманитофона.

Зная маршрут наизусть, я вел экскурсию по Брайтону, останавливаясь у всех магазинов. Максимальный энтузиазм вызывали доморощенные вывески с орфографическими ошибками, в стихах и с вызовом.

– Нашими перожками, – гласила одна, – Горбачев кормит голодную перестройку.

Не позволяя разменять аппетит, я вел их в ресторан-старожил «Одесса». Вечером там гремел оркестр «Молдаванка», замолкавший лишь для того, чтобы уступить эстраду московской негритянке Елене Ханге, которая временно перебралась в Америку и пела на Брайтоне нескромные куплеты с группой «Канотье». Но днем в «Одессе» было достаточно тихо, чтобы делиться впечатлениями

под солянку, пельмени и водку «Смирнофф», соблазняющую американским окончанием.

Всех без исключения Брайтон-Бич повергал в сладкий ужас.

– Местечковый рай, – говорили прозаики.

– Освенцим духа, – соглашались поэты.

– Капитализм с нечеловеческим лицом, – вторили публицисты.

Зато драматурги мотали на ус молча, собирая материал для «Одессы без границ», искрометного шоу с песнями и плясками.

– Брайтон, – объясняли мне гости, – справедливая расплата за ветчинно-рубленый ассортимент гастронома «Интернационал». Кому нужна свобода, если она ведет на Брайтон-Бич?

– Мне, – злился я и оставался в дураках, вынуждая себя защищать то, что и сам терпеть не мог.

Со временем, правда, все устаканилось, и мы научились не ругаться. Во всяком случае, с тех пор, как перебрались к Римме в ресторан «Кавказ», который мой приятель переименовал в «Кафказ». Абсурдным здесь было не меню, а посетители. Говоря на одном языке одно и то же, мы не понимали друг друга, и я не знал, почему, хотя мне это объясняли на пальцах.

– Эмигранты, – говорили мне гости, – выбрали легкий путь, уклонившись от борьбы с реакционным крылом партаппарата, не признающего заслуг Бухарина и не желающего сделать экономику экономной. Проще говоря, сбежав с родины, вы лишились права на ее читателей.

– Хорошо бы их спросить, – робко защищался я, но приезжие знали лучше.

3

Из гостей мне трудней всего было понять того, кто мне нравился больше других. В его книгах меня завораживала метафизика советской власти, которую старшие искали у Трифонова. У Маканина она, как и положено, начиналась со смерти, которая прекращала споры с властью и открывала диалог с живыми.

Познакомившись поближе, я узнал, что у Маканина все получалось и помимо литературы: кино, шахматы, рыбалка, садоводство. Водку он пил маленькими рюмками и напоминал дореволюционного интеллигента, имевшего кроме убеждений профессию. Не путая, как это случалось со мной, находчивость и остроумие с тщательно-

стью мысли, он умел быть серьезным, но не всегда, о чем можно судить по еврейскому вопросу. Его поставила ребром поэт и патриот Татьяна Глушко.

– Гласность, – писала она, – должна быть сплошной, а не избирательной. Поэтому пусть Союз писателей откроет свои архивы, чтобы все знали фамилию и национальность не только отцов наших авторов-либералов, но и их матерей.

Начать Глушко хотела с Маканина, внушавшего ей сильные подозрения. Владимир Семенович долго колебался и отнекивался, но, наконец, сдался под напором и разрешил администрации Союза напечатать свою анкету. В графе «Фамилия матери» стояло Глушко.

Математик по образованию и поведению, Владимир Семенович обладал аналитическим талантом, который выделял его из писательской массы в тревожных и незнакомых обстоятельствах.

– Власть, расчувствовавшаяся от гласности, – рассказывал он, – отправила писателей на заграничном теплоходе по Средиземному морю, но путешествие портила мучившая нас тайна.

– Какая? – встрял я, – Про этрусков? Или Атлантида?

– Ну, это вопросы для пионеров, – ухмыльнулся Маканин, – мы же пытались понять, почему порции большие, еды – вдоволь, и никто её не ворует. Почвенники объясняли это показухой Запада. К кухонному персоналу камбуза, утверждали они, приставлен особо строгий контроль, чтобы пустить нам пыль в глаза. Западники, как им свойственно, фантазировали о Западе. Он так богат, говорили они, что сколько ни воруи, все равно остается больше, чем мы привыкли.

– И кто победил в этом вечном русском споре?

– Я, – скромно сказал Маканин, – дала знать научно-техническая подготовка. Писатель ведь шпак, если и инженер, то человеческих душ, а тут нужно трезвое мышление. Еду не воруют, потому что за бортом – вода, а в каюте испортится.

– Но ведь здесь, – удивился я, – и на суше еду не крадут.

– Я знал, – мирно отмахнулся Маканин, – что эмигранты теряют способность к критической оценке действительности.

Несмотря на разногласия, мы с ним дружили, не прекращая спорить. Маканин не говорил «миру – мир». Напротив, мир ему представлялся ареной вечной борьбы, в которой каждая страна, а не одна Америка, стремится занять как можно больше места.

– Народы, – говорил он, – как микробы, распространяются по всему свету, пока их не остановят другие.

– Значит ли это, что Америка в глубине своей вероломной души мечтает захватить Канаду?

– Бесспорно, но это не злая воля, а необоримый геополитический инстинкт.

– А Мексику?

Маканин замаялся и перевел разговор на литературу. Нам обоим нравился его рассказ «Кавказский пленный». В нем матерый русский солдат берет в плен юного чеченца, чья красота не оставляет его равнодушным.

– Дальше, – рассказывал Маканин, – я хотел объяснить противоестественное влечение моего героя тем, что на самом деле кавказский пленный был переодетой девушкой, спрятавшей кудри под мохнатой шапкой. Оттягивая развязку до последнего, я закончил рассказ тем, что солдат вынужден убить свою жертву, не переставая ее любить.

– А кудри?

– Они негодились, потому что иначе вместо летальной любви вышла бы оперетта.

Рассказ покорила Америку и вышел в трех переводах. Маканина пригласили выступить в нескольких клубах Нью-Йорка и Сан-Франциско. Наслаждаясь бесспорным успехом, он удивлялся тому, что среди любителей русской словесности столько небрежно одетых молодых людей в черных кожанках на голое тело

@ Александр Генис, «Обратный адрес», 2017

Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, жизни больше, а юмора столько же. «Обратный адрес» – это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них – Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, «Новый американец» и радио «Свобода». Кочуя по своей жизни, Генис рассматривает ее сквозь витраж уникального стиля: точно, ярко, смешно – и ничего лишнего.

Михаил Юдсон

ДОМАШНЯЯ ДУША

(Андрей Грицман, «Кошка»,

изд. «Время», – Поэтическая библиотека, Москва, 2014 г.)

«Хорошая книга подобна кошке», – внушал понимавший в этом Лао Шэ. Ибо она так же вальяжно впускает нас в свое пространство и позволяет переменять подножный песок – брожение по страницам...

Читать стихи Андрея Грицмана для меня – чистая радость скитания по строчкам, неразбавленно-ключевое удовольствие двигаться вдоль звука, по гудзонному течению текста: «Скелеты разлук на холодной зонной равнине. / Дальний поезда зов между пунктами Б. и А. / В конце перегона одинокая станция стынет, / бесшумно хватает воздух ее пустая труба. / И вот туда нас тянет, словно к костру в долине. / Может, лежит там где-то брошенный нам конверт. / Падает темный свет, как у Куинджи синий. / Куст тот неопалимый где-то горит во рве». Поэтическое «где-то» у Грицмана ассоциируется с гетто, с замкнутой, зацикленной на себе зоной, с ее рвами и злыми щелями. Жидовствующая ересь поэзии, прелесть изгойства (кто остался на Трубе?) – щит от вселенского хаоса, хоть шестиклок!..

Известный давидсамойловский псалом про «потрясенное растение» как образ поэта («я буду шелестеть листом») – на страницах Грицмана перетекает в трепетание крыл слов («как стая птиц уходит на Левант...»), в ритмичный стук на стыках строк («Мы оба стоим перед выбором. / В 6.30 отходит состав. / До Делавера, до Выборга? / Взобраться в вагон, не узнав...»), в гулкую тряску жития («в шепчущей листве, дрожащей на пути его движенья: очки, бутылка водки, сигарета»), в рождественскую сказку странствия («и вдоль состава полетели ели / в какой-то свой невидимый предел»).

В прозаически-кратком обращении к читателю Андрей Грицман поясняет: «Литератор потрясенным растением быть не может, поэт может. И важно уловить в стихах вот эту вибрацию».

Конечно, мне, кропающему заметки о замеченном замечательном, приходится туго – надо держать ухо востро («Служил Гаврила камертоном»), но и от простого наслаждения грех отказываться: «Позабыв предсказанья и вести, / разглядеть слюдяной циферблат, / отраженью сказать: мы же вместе! – / и уйти в средиземный ландшафт. / Там, присев, как Спаситель, на камень, / дожевать и фалафель, и хлеб. / А они доживают пусть сами, / без меня, холодеющий век».

Хотя, признаться, наши прожаренные библейские места – тоже, чай, не сахар. Вспомним рефлексирующего белостишно принца с его «клапанами души» – каково бы ему со сплошными капланами! Бедный Нью-Йорик!..

Книга Грицмана, по сути, «Книга перемен» – в отчужденном пространстве и вечереющем времени. Музыка, ага, сфер, перекасти, угу, поле лётное. Смена вех и часовых поясов, вечное продирирование сквозь густой валежник: «движение – только в пути»; «за этой чертой только ржавые рельсы»; «в саже перрон, последний вагон в инее»; «из мытарной страны в ничейную страну переселенцем...»

Но рисуется поэтом и дивная домашняя Черта – оседлая, уютная, откуда, увы, неизбежно положено исходить: «Нет, не могила, но транзитный пункт, / где пересадки ждут наутро тени. / Растения таинственно растут / в горшках на подоконнике. / И нет живой души, лишь кошки глаз / следит за улицей, где длится суета / отъезда ли, ухода навсегда...» Некий перелом судьбы в осеннем нисане, что называется – перекрестка поворот...

А дальше последний штрих картины прощания: «Я вижу кошки глаз за гранью рамы, / и свет оставленный мелькает в ноябре».

Как на пароме Ноя, бредущие по страницам Грицмана наблюдают принцип парности: душа домашняя и душа странствующая. Кошкиглазая тихая заводь и кошка-копилка других берегов. Выпишу еще из обращения к читателям, из послания «От автора», его прозаического манифеста: «Лирический герой – это голос души... Душа живет периодами, ее реакции меняются, в связи с приобретенным опытом, порой из-за внешнего влияния. Книга стихов – это дневниковые записи души».

Вот, например, эхо из мифического канувшего, всеми фибрами меня тронувшего: «Откроют винный, в сквере снег растает»; «Попробовать вина, отведать сыра / и вспомнить о Спуманте Мандельштама...» Или приметы следующей жизни: «Здесь водка спокойно так пьется с утра, / как было когда-то в Москве»; «И вот я себе говорю: ну зачем / опять наливаешь с мениском?! / С утра ведь идти, одеваться врачом, / с душой говорить по-английски»; «Говоришь с пустыми долго о пустом»; «С кем я сегодня буду обедать? / С этим котом или с тем обормотом?» Последняя строчка мне видится программной, и предпочтения ясны – хорошо душе-кошке на домашнем коште (возможно, даже кошерном), и не шибко хочется тащиться в мир снаружи, где все серы, где чугунные дураки и железные дороги, хождения по мяукам... Короче, «который год идет в просвете дождь». Правда, «иногда к моему окну прилетает случайный эльф, / но его прогоняет прыжком моя черная кошка».

Кстати, у древних московитян, когда вместо МКАДа давеча тянулся крепостной ров, душа звалась «ка». Да-с, нашенская, близ окошка и лукошка, пушистая, домашняя, не то что у этих дикинсонов: «Но – помнишь Эмили: душа как птица!»

Отсюда со стаей читателей чинно, клином двигаюсь к поэмам, завершающим книгу. «Поэма субботы (Библейский цикл)» при встрече вызывает у меня этакое молитвенное чувство – скажу, ломая слово, востихительно! Особенно понравился «Потоп», объявший до души, успокаивающий и вселяющий: «На краю мы и ждем, на счастье, судна любого. / Густа мгла неземная, слово плещется все. / Ждем мы всю жизнь, прилетит ли тот голубь / с тонкой, прозрачной, последней веточкой в клюве». Эх, призрачность надежд и вер клювеобильных!..

А в поэме «Ветер в долине Гудзона» Андрей Грицман раз за разом возвращается на зыбкие круги свои: «Ветер в долине Гудзона, от гавани ветер и морось. / Влажный мороз, непривычный переселенцам. / Мы здесь живем, проживаем и пробуем голос, / и по ночам уплывает за дальними близкими сердце». И там же: «За рубежом светляки дрожат над Нью-Джерси, / дальним путем на север, вверх по долине. / На берегах последних мы остаемся вместе. / В небо Манхэттен плывет на каменной льдине».

Прочитую к месту Вадима Месяца: «Путь Грицмана может быть сравним с образом отрешенного путешественника, которому

наш глобализированный мир предлагает более широкие способы самореализации». Но и самосюрреализации, да-да, добавлю! Стремление к странности, талант наития, зов прозрения, улавливание глоссолалии космоса (кс-кс!), изгнание бездарно-бредового здравого смысла (брысь, брысь!) – вот стезя. Как поясняет Андрей Грицман: «Поэт знает по своему, часто горькому опыту внутренний импульс и метод создания стиха, чувство эмоциональной конвульсии».

Человеку разумному непишущему сии тонкости стилистики не осилить (лирическая кишка тонка). Вот когда у одного моего московского приятеля завелись на кухне муравьи – ну так он завел муравьеда. Логичное решение! А стихи и кошки заводятся загадочно, вне логики – тут поистине поэтика...

И домашне-мятущаяся душа поэта – кошка, которая и вне столба карабкается в небо, несколько жизней, под дождем, на раскаленной крыше, железная, чеширская-за ушком, сама по себе... И остается только вопрошать: «А душа, где она находит верное место?»

Новая книга **Михаила Юдсона**
ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ

(Сказка для эмигрантов в трех частях)

Москва, издательство "Зебра Е", 2013. - 560 с.

"Давно я не получал такого удовольствия от прозы. Тени Джонатана Свифта и Джорджа Оруэлла витают над этим текстом, одновременно смешным и страшным. Большое счастье - появление нового талантливое голоса. Спасибо, Миша, дай вам Бог удачи и в дальнейшем".

Игорь Губерман

Книгу можно заказать по телефону: 050-908-03-48
Цена 120 шекелей с пересылкой.

Давид Шехтер

ПОТЕРЯННЫЕ ЕВРЕИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Дальний Восток – это, действительно, очень далеко. Для израильтян он находится почти на конце света. До Владивостока я добирался больше суток, но трудности двух перелетов стоили того. Несмотря на середину сентября, Владивосток встретил меня и моего спутника – замечательного барда Владимира Лейкина из кибуца Манара, вовсе не золотой осенью, а настоящим летом. И продолжалось оно точно все то время, пока мы мотались по городам и весям Приморья и Хабаровского края. Ровно в последнюю ночь нашего пребывания на Дальнем Востоке хлынул сильный и холодный дождь. Бабье лето, разыгравшееся, похоже, в честь израильских гостей, закончилось.

Израильтяне – редкие птицы в этих краях. О чем с сожалением поведали нам сотрудники Сохнута, организовавшие в рамках программы “Офек Исраэли” семинар и наши встречи с местными евреями. За 9 дней нетто пребывания на Дальнем Востоке у нас с Володей Лейкиным состоялись шесть выступлений. Я рассказывал про Израиль, про ситуацию в стране, про свои поездки с премьер-министрами. А Володя пел на иврите всем знакомые песни – “Жди меня и я вернусь”, “ В траве сидел кузнечик” и другие. И рассказывал про русские корни того, что принято называть “израильской народной музыкой”. На большой экран проецировались ивритские тексты кириллицей, и зал с удовольствием подпевал Володе.

– Никто сюда особо не рвется, – посетовал один из координаторов Сохнута, – далеко, холодно и большая разница в часовых поясах. А народ жаждет общения с израильтянами.

В этом я убедился в первый же день. Из аэропорта Владивостока нас доставили в пансионат “Энергетик”, расположенный прямо на берегу Японского моря, в Муравьиной бухте Уссурийского залива. В свое время его построил для своих сотрудников один из заводов Артёмьева, и с тех советских времен в нем мало что изменилось. Дежавю возвращения в молодость было сильным. Даже туалетная бумага, смахивавшая на наждачное полотно, напоминала незабвенные совковые времена, когда ее приходилось добывать с боем, и не более трех рулонов в одни руки.

А вот люди, приехавшие на семинар из Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Биробиджана вовсе не походили на “совков”. Они живо интересовались ситуацией в Израиле и зачастую неплохо в ней ориентировались. А несколько человек сообщили, что регулярно смотрят мои выступления по кабельному израильскому телеканалу Итон ТВ. Я от души порадовался за создателя Итон ТВ Сашу Ронкина, который практически в одиночку сумел раскрутить этот телеканал, являющийся – во всяком случае для жителей Дальнего Востока – источником информации об Израиле. Об этом мне говорили не только участники семинара, но и во время встреч во Владивостоке, Хабаровске и Биробиджане.

Интерес участников семинара к Израилю был вовсе не случайным. Как сказала мне Аня Федорчук, глава представительства Сохнута в Хабаровске, практически все они находились на разных стадиях процесса репатриации. Кто-то уезжал уже через несколько дней после семинара, кто-то начал оформлять документы, кто-то находится на продвинутой стадии принятия решения.

Правда, в этих краях от принятия такого решения до его реализации могут пройти годы. Израильский консул приезжает на неделю раз в шесть месяцев. Приходит к нему на встречу человек, желающий выехать, и консул, рассмотрев документы, просит представить еще одну справку. Успеет потенциальный репатриант эту справку раздобыть за пару дней – замечательно. Не успеет – придется ждать полгода...

В ответ на эти жалобы я разъяснял – существует четкое разделение прерогатив и полномочий. Вопросами права на репатриацию занимается в СНГ исключительно консулат, и никто не может вмешиваться в его работу. Сохнут открывает “папку алии”

только после того, как желающий репатрироваться прошел консульскую проверку и получил “добро”. Указывать консулу, кому выдавать такие разрешения и когда, Сохнут не имеет права.

Окна моего номера выходили прямо на бухту. Серое море, обрамленное синими, пограничными сопками, над которыми вовсе даже не хмуро, а резво и весело ходили светло-белые облака, подходило, как и полагалось, с тяжким грохотом к изголовью. Разница во времени сшибала с ног. После завтрака, в 10 утра у меня лекция о том, почему Израиль проигрывает информационную войну, но в Израиле – три часа ночи, и мои биологические часы надрываются: “Какая лекция? В койку, спать!”

К счастью, Володя Лейкин привез с собой пачку черного израильского кофе (название не буду указывать, дабы избежать обвинения в протягивании “джинсы”). Два стакана взбодрили меня настолько, что слушатели так и не догадались, что перед лекцией я находился в полуобморочном состоянии. К вечеру, то есть ко времени следующей лекции я пришел в себя окончательно – ведь в Израиле день был в самом разгаре. А назавтра ситуация повторилась.

Только через неделю мы сумели перестроиться на местное время. И вот тут наша поездка закончилась. Вернувшись в Израиль, я вновь испытал все прелести “джетлага”. И понял, почему израильтяне избегают полосатого рейса в край уссурийских тигров. Бессонница, упадок сил и головная боль всю поездку и еще несколько дней после нее терзают путешественника не хуже тигров...

В ходе семинара я сделал интересное наблюдение. Когда я поделился им с многоопытным координатором Сохнута во Владивостоке Людмилой Уманской и с координатором в Хабаровске Денисом Брауном, они подтвердили: речь действительно идет о тенденции возврата к своим корням “потерянных евреев”. Отцы ушли от веры и культуры предков, отказались от этнической принадлежности. А дети сегодня обнаруживают свои корни и гордятся ими.

Евреи появились на Дальнем Востоке во второй половине 19 века, после возникновения Владивостока и Хабаровска. Это были ссыльные (в основном участники польского восстания), каторжники и купцы. В начале 20 века в Хабаровске действовала сина-

гога, но евреев насчитывалось всего несколько сот человек. Основная масса евреев попала в эти края после создания Еврейской автономной области. Десятки тысяч евреев поверили товарищу Сталину, что пусть и в тридевятом царстве, почти на краю света, но у них будет своя земля, свое почти государственное образование, где они смогут жить без антисемитизма, говорить на идиш и развивать свою культуру. И устремились в Биробиджан доверчивые еврейские мечтатели не только из СССР, но и из Англии, Германии, США. Вскоре почти все эти “агенты империалистических разведок” сгинули в Гулаге. Наиболее сметливые, успевшие быстро сообразить что почем, успели уехать, пока еще выпускали. Но кое-кто остался и все же выжил. Жена одного из сотрудников Сохнута в Приморье – внучка евреев, приехавших из Англии...

Строители ЕАО оказались идеологически не просто выдержанными, а морально устойчивыми и преданными ценностям марксизма-ленинизма. Поэтому, несмотря на тяжелые условия, они остались жить в этих диких краях, построили город, колхозы, заводы и фабрики. Но, несмотря на то, что говорили они на идиш, большинство практически полностью отошло от еврейства. Нечто подобное можно видеть и в израильских кибуцах. Там тоже строили (и таки да построили) социализм без национальной идентификации. Но кибуцники все-таки спохватились, да и живут они в еврейском и демократическом государстве. Поэтому сегодня в кибуцах появляются синагоги, а общее воспитание детей на принципах идей социализма давно кануло в Лету. И, к счастью, в ней утонуло.

В ЕАО ситуация была, понятно, иная. И дети основателей Биробиджана постарались уйти от своей национальности как можно дальше. Их интернационально-пролетарское воспитание в сочетании с государственным антисемитизмом, набиравшем силу в СССР, привело к тому, что второе поколение строителей “еврейского счастья” на берегах Бира уже не только идеологически отмежевалось от культуры своего народа, но и записывало себе другую национальность, женилось на неевреях. Процесс облегчался еще и тем, что постепенно евреи начали покидать ЕАО. Делать здесь было нечего, особенно людям с высшим образованием и умелым ремесленникам. Поэтому начался массовый отток евреев в Хабаровск и Владивосток. Переезд с места на место предоставлял хорошие возможности изменения национальности.

И вот это поколение, которое можно смело назвать потерянным, сегодня возвращается. Не потому, что вдруг сменились идеологические установки, которые вели его по жизни. Хотя и этот момент присутствует. Но сегодня их дети и внуки открывают для себя свои корни, приходят в Сохнут, в синагоги, начинают учить иврит, интересуются Израилем. И тянут за собой родителей, бабушек и дедушек.

По официальной переписи в ЕАО сегодня проживает чуть меньше 1700 евреев. Глава еврейской общины Биробиджана Роман Ледер сообщил мне, что знает не менее 4 тысяч евреев, но вполне возможно, что их на самом деле еще больше. Многим просто все еще не известно, кто они на самом деле.

Одна из координаторов Сохнута рассказала мне историю, произошедшую совсем недавно. Не буду называть точное место и фамилии, пусть читатель поверит мне на слово. Хотя, как говорится, все данные хранятся в редакции.

Поскольку Сохнут является официально действующей в России организацией, к нему регулярно приходят инспекторы с финансовыми проверками. После завершения одной из таких проверок главный инспектор пожелал осмотреть небольшой еврейский музей города. Ознакомившись, он сказал: “Да, вы, евреи, молодцы. Я бы тоже к вашей деятельности присоединился, если бы был евреем. Но у меня, к сожалению, только мать еврейка, а отец – чистый русак...”

Сегодня инспектор и его дети участвуют в разных программах Сохнута. А сколько еще таких потерянных евреев, которым в свое время не рассказали об их корнях, гуляет по Дальнему Востоку? В Сохнут все чаще приходят молодые ребята и девушки, совершенно случайно, по отрывкам старых писем или вдруг обнаруженным в перине документам, узнавшие, что они имеют отношение к еврейскому народу. И если в Биробиджане речь идет о почти в 2,5 раза большем числе евреев, чем по переписи, то в Хабаровске и Владивостоке масштабы еще значительно больше. Ведь еврейские инженеры переехали именно туда. Поэтому, говорили мне координаторы Сохнута, объем работы растет. Чему они только рады.

Поиски корней не случайны. Молодежь ищет лучшей доли и разлетается, кто куда может. В синагоге Биробиджана я встретил

человека, который представился так: “У меня три имени: Арье, Лейб, Лева. Как хотите, так и называйте”.

Он переехал в Биробиджан из Украины. После эвакуации с матерью и сестрой вернулся в родные края на Днепропетровщине и не нашел в своей деревне никого. Пустыня. Ни одного еврея. Ни одного дома, где можно было бы поселиться. Их дом забрали соседи и отказывались вернуть. А тут прослышали, что переселенцам в ЕАО дают подъемные и помощь на первых порах. Поехали. Жили в деревне. Все работали. А в школу он так и не пошел – находилась она в 10 километрах, а подвозки никакой не было. Приобрел специальность, женился. Переехал в Биробиджан, в деревне все-таки было уж очень скучно, да и детям своим хотел дать образование. Там и прожил всю жизнь. Отсюда проводил сына с семьей в Израиль, потом и сам уехал, когда жена заболела раком. Надеялись, что израильские врачи спасут, но было уже поздно. Повертелся, покрутился в Израиле, да и вернулся в Биробиджан, к любимой дочке. Доживает свой век с ней. Но внукам на месте не сидится, того и гляди, он вновь окажется в Израиле. Только на этот раз уже навсегда.

Ещё один рассказ я услышал от бывшего жителя Биробиджана, которого встретил в субботу в хабаровской синагоге. Ему за тридцать, и уже несколько лет он живет в Хабаровске. Вместе с ним в одном классе биробиджанской школы занимались еще 39 еврейских мальчиков и девочек. Сегодня больше половины находится в Израиле. В Биробиджане осталось несколько человек, остальные рассеялись по свету – Владивосток, Хабаровск, Москва... Сам он недавно сделал обрезание и, по словам раввина Хабаровска Якова Снеткова, активно участвует в работе синагоги.

В том, что синагога живет и действует, я убедился лично, побывав в ней на вечерней и утренней субботних молитвах. Вечером на трапезу в квартире рава собралось человек тридцать, а во время утренней молитвы состоялась церемония – 35 женщин взяли себе еврейские имена.

Синагога называется Бейт Менахем – в честь последнего Любавичского Ребе. Такое же имя носят синагоги Владивостока и Биробиджана. Остаётся лишь восхищаться самоотверженностью и преданностью своему делу молодых раввинов-хабадников, приехавших в эти места из Израиля и воспитывающих здесь детей. Я

бы ни за какие коврижки на такое не согласился. Даже за густо намазанные красной икрой. А эти ребята там живут и в действительно тяжелых условиях делают свое благородное дело. Поэтому потерянным евреям Дальнего Востока есть куда приходиться, есть к кому заглянуть на теплый огонек – в представительства Сохнута и синагоги ХАБАД. Обогреться, осмотреться и начать возвращение к своему народу.

**РОЗА ЛЯСТ
“ИМПЕРАТОРЫ И ЕВРЕИ”**

Главный сюжет книги – евреи в политике римских императоров. Суть ее – защита императорами еврейских религиозных традиций, что не мешало грабить евреев налогами и нещадно давить еврейских повстанцев. Книга состоит из научно-популярных очерков, основанных на документах и новейшей научной литературе. Каждый очерк – увлекательный рассказ из древней еврейской истории.

Издательство “Москва-Иерусалим”, 2013, 210 страниц.

Цена 40 шек.

Обращаться к автору.

Тел. 054-7231203

E-mail: isidore@post.tau.ac.il

Галина Подольская

К ЗЕМЛЕ ПОТОМКОВ АВРААМА

Марк Шагал и Хаим Нахман Бялик на корабле «Шампольон»

«Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна. Или так: несомненна, но таинственна. Ведает ею известный древним *genius loci*, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их исторической средой», – замечает Петр Вайль в своем бестселлере века «Гений места».

Архитектурный облик городов, их исторические достопримечательности, парки, площади, улицы, улочки, садики, дворики, дома, внутренние интерьеры жилья и помещений – географические реалии мира, к которым были причастны наши великие предшественники, начинают наполняться их жизнью, образуя дополнительную ауру вокруг тех мест, с которыми были связаны их судьбы.

На протяжении почти полувека Марк Шагал неоднократно останавливался в Иерусалиме. Самые выдающиеся образцы монументального искусства выполнены им здесь. Ближневосточный центр мира заставлял его вновь и вновь – зрелого, а позже и в весьма почтенном возрасте – навещать историческую родину евреев. Иерусалим стал его потребностью в образном обновлении, ощущении себя в новом мифологическом материале, эмоциональном вхождении в тему через собственную к ней причастность.

Видно, и впрямь «на линиях органического пересечения художника с местом его жизни и творчества возникает новая, неведомая прежде, реальность, которая не проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии».

Оно и понятно – ведомство художника – единственное, по убеждению Шагала, «которое, по крайней мере, способно утолить голод духовный». Не случайно новые визуальные впечатления на древней земле, познание ее традиций и законов, общение с представи-

телями разных слоев культуры стали для него дополнительным духовным и интеллектуальным зарядом.

Поездки, знакомства, субъективные ощущения от встреч, событий и явлений в какой-то момент переплавляются в мифологему и откликаются неожиданными поворотами в творчестве, являя новые грани художественности. А после уже история корректирует направленность современного культурного процесса. И всё вдруг оказывается на своем месте, в нужный час и начинает «действовать», прокладывая путь культуре будущего и волнуя новые поколения. Таково ведомство художника.

В данном случае речь пойдет о непосредственных – биографических – отношениях между «гением» и «местом» – между Марком Шагалом и Иерусалимом. Эти страницы биографии Мастера долгое время оставались в тени, хотя вторую половину его творческой жизни по сути и определило обращение к библейской истории, которая вершилась во многом в сердце иудейской столицы.

Шагал прибыл сюда, на эту землю, на французском корабле «Шампольон» – по приглашению мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа, которое оказалось весьма кстати. Шагал, уже известный в то время художник, еще плохо представлял себе, как будет иллюстрировать Библию по заказу Амбруаза Воллара. Запас его личных впечатлений ограничивался на тот момент представлением о том, как данная тема разрабатывалась в европейской культуре. Впрочем, стремительность исторических событий первой трети XX века, в водоворот которых он оказался погружен, не способствовала систематизации этих знаний.

Ближний Восток не был для Шагала тайной за семью печатями, но и не открывался в художественных образах. Не хватало осмысления темы и визуальных впечатлений, которым лишь через 15 лет было суждено воплотиться с естественностью детского рисунка. Едва ли такое можно было предугадать в век модернизма.

Итак, шел 1931 год.

Марк Шагал с женой Беллой и их пятнадцатилетней дочерью Идой впервые плыли на корабле в Палестину. Это была семья ассимилированных в общеевропейском пространстве евреев, адаптированных к российской и французской культуре. Впрочем, в той своей европейской жизни, в кругу близкого общения, они всегда на-

ходили соплеменников, говоривших на идише. Об иврите Шагал вынес из хедера только начальные сведения.

Ступив на палубу «Шампольона», никто из них, родившихся в штетле, не подозревал, что Эрец Исраэль – как называли Палестину евреи – намерен выплюнуть наследие идиш-культуры вместе с языком, объединявшем к началу XX века одиннадцать миллионов евреев. Марк, Белла и Ида следовали в страну, провозгласившую: «рак иврит!» («только иврит!»), – со всеми экспериментами словотворчества Бен-Иегуды.

Но, несмотря на категоричность установки, люди, стремившиеся в те годы в Палестину, еще плохо представляли себе, как «оживляют» язык древней Торы, и, не владея в достаточной мере книжным языком, общались на «обычном еврейском» – как называли тогда идиш.

И уж тут, конечно, гений-случай, что во время морского пути рядом с Шагалами оказался легендарный Хаим Нахман Бялик. С ним они тоже общались на идише, на котором позже Шагал запишет: «Не так давно (в 1931 году) мы вместе с Бяликом плыли на пароходе в Эрец Исраэль. Бялик – в который уже раз, я – в первый. Я взволнованно вглядываюсь вдаль, смотрю то на небо, то на море – жду, не появится ли на горизонте Земля Обетованная».

Какова же она, эта обещанная земля, куда Всевышний привел потомков Авраама, край, где «текут молоко и мед»?

Чем ближе Шагал приближался к Эрец Исраэль, тем яснее становилось, что страна, в которую он следует, – это не только библейские пейзажи. Это сионистский запал. Это национальные проблемы. Это обретение общности, частью которой является и он сам. И пассажиры на корабле – тоже частичка этого общества...

Тем временем Бялик вновь «...затеял жаркий спор, пытаюсь в чем-то убедить других пассажиров. Из-за Бялика вся эта поездка стала чисто еврейской. Я спросил, – вспоминает Шагал: “Разве это не еврейский корабль?” – “У нас еще нет еврейских кораблей!” – был ответ».

И действительно, Израиля как государства Ближнего Востока тогда еще не существовало. Но «казалось, всё море испещрено еврейскими письменами» – пишет Шагал, а Бялик, как «...некий древнееврейский пророк, расхаживает по пассажирской палубе, вещает на идише, седые волосы топорщатся, голубые глаза сверкают на фоне синих волн».

Они знали друг друга еще с Берлина, где преуспели оба.

Шагал был обязан Германии удачей своей первой выставки и появлением первых покупателей. Бялик развернул в Берлине активную издательскую деятельность. Он публикует свои стихи (в том числе переводы их... на идиш), а в 1923 году, к 50-летию, выпускает по подписке роскошное подарочное собрание собственных сочинений на иврите. Коммерческий успех этого предприятия составил сумму, достаточную для строительства особняка в центре Тель-Авива.

(Пережив в детстве нищету, Бялик всегда мечтал о своем доме. В Эрец Исраэль он выстроил, по понятиям того времени, дом-дворец – с кабинетом, комнатами для членов семьи, гостевыми помещениями, концертным салоном. В 1924 году в Тель-Авиве состоялось торжественное открытие дома поэта, а улица Алленби, на которой он стоял, была названа при жизни его именем.)

Шагал (Витебск) и Бялик (Житомир) – оба были родом из предместий царской России, не принадлежавших территории великороссов.

Оба поддерживались культурной элитой России до Октябрьского переворота.

Оба пользовались лояльным к себе отношением со стороны верхних эшелонов советской власти.

Оба покинули советскую Россию в начале 1920-х. За обоих хлопотали первые лица страны.

Оба говорили на идише. И, видимо, поговорить было о чем.

В нашей жизни нет ничего случайного. Именно такой, как Бялик – убежденный сионист, страстный проповедник еврейского искусства, но выросший из русской и европейской классики, – был идеальным сопровождающим для Шагала, никогда прежде не бывавшего в Эрец Исраэль.

Ко всему прочему у Шагала, «как у истинного детища еврейской революции нового времени <...> выработался особый взгляд на искусство, с учетом самых разнообразных эстетических традиций, что придавало его суждениям отстраненно-ироничный оттенок. <...> ...его высказывания об искусстве носят по большей части эклектичный характер, с учетом всех имеющихся направлений и стилей – можно сказать, в духе “постмодернизма”. Он явно не был реакционером, призывающим назад, к Ренессансу или к какому-нибудь

другому историческому периоду, он находился в самой гуще движения модернистов, но воспринял их идеи на свой лад: он лишь заимствовал модернистские приемы, создавая с их помощью свой собственный, оригинальный живописный язык. Поскольку история искусства представлялась ему перевернутой с ног на голову, вполне естественно, что он мог воспринимать себя как предшественника одновременно и экспрессионизма, и сюрреализма. Со временем, ощущая недостаток исторической перспективы в собственном творчестве, он берется за иллюстрации к Библии – для него это было возвращение и к детству, и к своей предыстории, как иудейской, так и христианско-европейской».

А для этого нужно было окунуться в пространственно-временной континуум – чтобы понять динамическую природу персонажей своей Библии. Их следы, оставшиеся на земле и камнях Иерусалима, помогут ему создать свою образную ретроспективу...

А пока Шагал и Бялик плыли в Эрец Исраэль на французском корабле «Шампольон», и Шагал плохо представлял себе, как выполнит заказ Воллара.

Он еще не знал, что впечатления от Земли Обетованной выльются в такой мощный энергетический заряд, которого хватит не только на книжные иллюстрации, но и на целый музей в Ницце с 250 картинами, а также мозаикой и витражами, ставший его «библейским посланием» миру.

Он еще не знал, что по возвращении из Эрец Исраэль создаст 39 гушей.

Он еще не знал, что знаменитый заказчик иллюстраций к Книге Книг, не успев завершить замысел, погибнет в автомобильной катастрофе.

Он еще не знал, что библейская тема станет его потребностью настолько, что после Второй мировой войны – уже без всяких заказов – он создаст серию из 105 офортов, позже – литографий.

Он не знал, что через какие-нибудь четверть века презентация отпечатанного с авторских досок альбома состоится в Иерусалиме.

И тогда (хотя не совсем тогда – понадобится еще две трети века) искусствоведы с удивлением заметят, что, оказывается, шагаловские «офорты и литографии к Библии по количеству превосходили знаменитый цикл гравюр на дереве Гюстава Доре. В целом же все, созданное Шагалом на данную тему, по масштабности не имело

аналогий ни в двадцатом, ни в предшествующем столетии». (Пусть и не очень корректно сравнивать традиции веков.)

И уж, конечно, художник не мог предположить, что в связи с его 125-летием в Хайфском музее Мане-Каца состоится выставка «Шагал: модернизм и Библия», которую составят его работы, «связанные с библейскими сюжетами» и «идеей возрождения еврейского народа на Святой Земле». Это «...свыше 70 его работ, собранных из других музеев страны – из Музея Израиля в Иерусалиме, Тель-Авивского музея искусств, музея в киббуце Эйн-Харод, Хайфского музея искусств, из художественных галерей и частных коллекций. Среди них – картины, переданные израильским музеям самим художником и его дочерью Идой».

Это личностное, историко-культурное, творческое взросление Шагала, знаменующее новый творческий этап, началось уже с пути к Библии и путешествия в Эрец Исраэль.

А пока во всем внимающий Бялику художник, припоминая день их знакомства и неумный монолог еврейского классика о хасидских легендах, со вздохом думал: «Это ему все было ясно, а я всего лишь иллюстрировал его книги...»

Между тем они приближались к Яффо – городу говорящих камней, что первым вырос после Потопа: по легенде, Яффо возводил сын Ноя – Яфет. После настали времена, когда порт Палестины принимал корабли торговцев со всех концов земли. И благоухали пряности, и клубились сладким дымом нарگیлы. Яффо разрушали и отстраивали. Вновь разрушали и вновь отстраивали...

Шагал еще ничего не знал о земле, на которую ступил ногою. Он приехал не иллюстрировать – на протяжении почти годового путешествия он практически не рисовал. Он прибыл обрести себя – нового – через соприкосновение со своей исторической родиной.

Мифический Антей, приникший к матери-земле...

Сведения об авторах:

- Ирина Сумарокова** – прозаик, драматург. Живёт в Москве.
- Яков Шехтер** – писатель. Живет в Холоне.
- Хава Пинхас-Козн – поэт, редактор. Живет в Иерусалиме.
- Роман Кацман** – филолог, переводчик, профессор университета Бар-Илан. Живет в Реховоте.
- Ирина Маулер** – поэт, художник. Живет в Ришон ле-Ционе.
- Денис Соболев** – филолог, писатель, профессор Хайфского университета. Живет в Хайфе.
- Ингвар Донсков** – поэт. Живет в Томске.
- Вадим Жук** – сценарист, актёр, поэт. Живет в Москве.
- Сергей Попов** – поэт, прозаик, драматург. Живет в Воронеже.
- Андрей Грицман** – поэт, эссеист. Живет в Нью-Йорке.
- Константин Кикоин** – физик, поэт. Жил в Ришон ле-Ционе. Умер 21 ноября 2016 года.
- Алексей Слаповский** – писатель, драматург, сценарист. Живет в Москве.
- Елена Константинова** – журналист, литературный редактор. Живет в Москве.
- Эдуард Бормашенко** – философ, физик, профессор Ариэльского университета. Живет в Ариэле.
- Илья Корман** – литературовед, поэт. Живет в Тель-Авиве.
- Павел Амнуэль** – писатель-фантаст. Живет в Бейт-Шеане.
- Майя Гельфанд** – прозаик. Живет в Ришон ле-Ционе.
- Леонид Луцкий** – журналист, писатель. Живет в Тель-Авиве.
- Александр Генис** – писатель. Живет в Нью-Йорке.
- Михаил Юдсон** – литератор. Живет в Тель-Авиве.
- Давид Шехтер** – журналист, писатель. Живет в Ришон ле-Ционе.
- Галина Подольская** – писатель, искусствовед, доктор филологических наук. Живет в Иерусалиме.
- Ирина Морозовская** – психолог, бард. Живет в Одессе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:

Яков Шехтер
Михаил Юдсон

Ответственный секретарь:

Михаил Сидоров

Редакционная коллегия:

Ирина Маулер (раздел поэзии), Ирина Морозовская (раздел
“Стихи и струны”), Эдуард Бормашенко,
Денис Соболев, Давид Шехтер (раздел нон-фикшн).

Компьютерная обработка:

Амнон Пасхин

Почтовый адрес:

**Michael Yudson, Journal “Article”. P.O.B. 44050,
Tel-Aviv 61440, Israel**

Телефон: 050-908-03-48 (в Израиле)

(972)-50-908-03-48 (для заграницы)

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Сайт журнала:

<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtiki>

Стоимость годовой подписки (с пересылкой):

**в Израиле – 200 шекелей,
за рубежом – 100 долларов.**

